

БИБЛИОТЕКА «ПИСАТЕЛИ-ЗЕМЛЯКИ»





Евгений Осокин

Тайна Зыбуна

Болотное
2021

ББК 84(2=411.2)6-44
О-755

Проект администрации
Болотнинского района

Книга создана при участии
Новосибирской государственной
областной научной библиотеки

Осокин Е.В.

О-755 Библиотека «Писатели-земляки»: Книга серии болотнинских авторов «Тайна Зыбуна». — Новосибирск: Издательский Дом «Историческое наследие Сибири», 2021. — 424 с.

ISBN 5-8402-0104-9

© Администрация Болотнинского района
Новосибирской области, 2021
© ИД «Историческое наследие Сибири», 2021

КРУТОЙ ПИСАТЕЛЬ ИЗ ДЕРЕВНИ КРУТОЙ

Осокин Евгений Васильевич родился 14 февраля 1926 г. в д. Крутая Болотнинского района Новосибирской области. Родители: Василий Николаевич и Агния Феофановна — крестьяне, переселившиеся в 1925 г. из д. Погорельской Красноборского района Северо-Двинского округа (затем Вологодской области). В 1929 г. родители переехали в д. Молчаново Кожевниковского района Томской области, где в 1934 г. вступили в колхоз. В семье воспитывалось 6 сыновей. В 1935 г. Евгений поступил во 2 класс Кожевниковской средней школы, в которой учился до призыва в Советскую армию в декабре 1943 г., за исключением 1940/1941 учебного года, когда ему пришлось учиться в железнодорожной школе № 15 г. Новосибирска (где в то время работали после окончания институтов его старшие братья).

С 26 декабря 1943 г. (из 10-го класса средней школы) по август 1950 г. Евгений Осокин служил в Вооруженных силах СССР в Забайкальском военном округе (Забайкальский фронт в 1945 г.) в воинских частях 06042 и 41659 в должностях курсанта, комсорга батальона, секретаря партбюро автошколы, литературного сотрудника редакции газеты. Член ВЛКСМ с ноября 1941 г. и член ВКП(б) с января 1947 г.

Как танкист, участвовал в разгроме Квантунской армии. За участие в Великой Отечественной войне награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». В 1945 г. окончил ДППШ (Дивизионная Партийная Школа). С 1946 г. учился заочно на историческом факультете Читинского государственного педагогического инсти-

туда, который окончил в 1950 г. без сдачи государственных экзаменов.

В августе 1950 г. по постановлению Совета Министров СССР был демобилизован в звании капитана и прибыл на место постоянного жительства в Томск. В октябре 1950 г. Е. В. Осокин был зачислен на заочное отделение исторического факультета Томского государственного педагогического института для сдачи государственных экзаменов. Дирекция ТГПИ обращалась в редакцию газеты «Молодой ленинец», где Е. В. Осокин работал заведующим отделом рабочей и сельской молодежи, с просьбой предоставить положенный ему как студенту-заочнику 30-дневный отпуск для сдачи государственных экзаменов. После успешной сдачи государственных экзаменов в июле 1951 г. ему был вручен диплом № 026211 и присвоена квалификация и звание учителя средней школы по специальности «История».

Прозаик, журналист. Автор повестей «Алеет Восток», «Тайна Зыбуна», «В семнадцать мальчишеских...», романа «Судьбы людские», сборников очерков. Главная тема его произведений — сибиряки с их непростыми судьбами. Очень интересен его вклад в литературную обработку легенд и сказок малых народов Севера («Легенды полуночного края», «Тумадан и Капишка»). Эта работа велась в сотрудничестве с видными учеными Томского педагогического института, профессорами А. П. Дульзоном и Я. Р. Кошелевым. Характеризуя эту работу Е. В. Осокина, Я. Р. Кошелев писал в 1967 г.: «Мне особенно по душе работа Евгения Осокина в области освоения фольклора Сибири, ее малых народностей. Легенды, поэтические представления людей об окружающем мире, наблюдения над природой и жизнью ожили в книжках Евгения Осокина. Они привлекают к себе раздумьем о смысле жизни, дружбы народов, о любви и счастье».

Член Союза писателей с 1963 г. В 1981 г. сам Е. В. Осокин писал: «За моими плечами два вуза: Читинский педагогический закончил как историк, Томский педагогический

институт — как литератор. А как стал писателем-профессионалом, понял, что и роман — это тоже вуз. Счастлив, что в Томском педагогическом повстречал Андрея Петровича Дульзона и Якова Романовича Кошелева, которые во многом определили мои литературные интересы. Ну, во всяком случае, их существенную часть». Евгений Васильевич Осокин стоял у истоков рождения Томской областной писательской организации, некоторое время был ее ответственным секретарем. Был редактором Томского книжного издательства.

Вышеприведенная биография хранится в Архиве Томского государственного педагогического университета, с которым Евгений Васильевич Осокин работал практически до своей смерти в 1997 году.

Нам мало что удалось узнать о Евгении Васильевиче к прижизненной биографии писателя, но вот интересный факт из его жизни: в 1996 году его сотоварищи по перу — члены Томской писательской организации, исключили Евгения Васильевича из своих рядов. Случай, конечно, редчайший, потому что ранее все исключения мотивировались политическими соображениями. Но в 1996 году таковых быть уже не могло — всем ходом шла разрушительная перестройка, которая зачеркнула все правила и ориентиры. По рассказам очевидцев мы поняли, что Евгений Васильевич обладал крайне «тяжелым характером», но не беремся рассуждать о правильности решения томских писателей, чтобы не пойти по пути высокоумного осуждения. Просто примем исторический факт исключительно как факт истории, который никоим образом не умаляет талант нашего писателя-земляка.

Сын Осокина — Евгений стал художником и некоторое время жил в Болотном, в бывшей школе № 72, в здании которой до школы размещался Кондукторский резерв. В этом здании, классные комнаты были переоборудованы под жилье, и в них некоторое время жили молодые специалисты. Евгений Васильевич приезжал в Болотное в 1985 году и пы-



тался решить вопрос жилья для своего сына, но в те годы получить квартиру в Болотном было очень сложно, потому что, кроме своих нуждающихся в жилье, в Болотное приезжало работать и жить огромное количество разнопрофильных специалистов, особенно врачей и работников культуры. Молодой Осокин скоро уехал из Болотного.

Надеемся, что молодые исследователи «старины глубокой» смогут найти новые следы наших земляков прославивших малую родину славными делами.

Николай Александров



Тайна Зыбуна

Мрачен Зыбун. На остатках грив, постепенно исчезающих в его пучине, только весной желтеет неистребимый курослеп. Бледная, рано вянущая зелень да ржавая вода — вот и все цвета, отпущенные природой на этот кусок земли. Зыбун растет. Сотнями болот и трясин пожирает луга, вгрызается в тайгу, наступает на озера, и они зарастают поверху, превращаясь в самые опасные трясины. Зыбун безмолвен. Зимой здесь, кажется, замирает все живое. Но чем злей мороз — тем явственней проступают в небе над ним странные кружева: не то дым, не то пар... Отблески далекого северного сияния, окрашивая горизонт во все цвета радуги, придают ночам на Зыбуне неповторимую сказочную красоту. В каждом поколении зачутымских следопытов находился смельчак, которого манили неизведанные тропы Зыбуна, раскинувшегося в центре водораздела двух великих сибирских рек, но никто из них обратно не вернулся... Много тайн хранит Зыбун. Об одних расскажет эта книга, другие еще ждут исследователей — людей пытливых, настойчивых, людей мужественных.

БЕРЕСТЯНОЕ ПИСЬМО

У большого кедрового бора, где Зыбун выходит к берегу крутонравного таежного Чутыма, раскинулся плес. Десятками ручьев шлют болота свои ржавые воды на плес, но теплые донные ключи разбавляют черные, как кофе, потоки, прижимают их к берегам, гонят вниз. У плеса, на белопесчаном яру, в урожайные орехом, а значит, богатые и зверем, годы бывает, дымится много юрт.

Сейчас осталось две. В одной летом ночует старый охотник-селькуп Нюролька, в другой живет бабушка Эд.

— В юрте я ротилась, в юрте и помирать пугу, — говорит она.

Поселение так и зовется — Юрты, или Юрты Жуванжи. Жуванжа — хант, охотник. Сын его, Санька, учится вместе с внуком Нюрольки, Хасаном, в Рыльске, за семьдесятю плесами.

— А сколько это, деда, километров? — спросил как-то Хасан.

— А шайтан мерял, да сажень утопил.

Нынче ребята впервые за пять лет ученья проводят зимние каникулы дома.

Нюролька давно обещал взять Хасана с собой на зимнюю охоту и разбудил его наутро затемно. Кедрачи, облюбованные им, были далеко. Их так и звали: Дальние борики. Охотники сюда заглядывали редко.

Густая темень, разлохмаченная редкими проблесками невидимой луны, напознала со всех сторон; шла по пятам, забегала вперед, таилась в глухом сумраке еловых лап. Светлеющее небо рвало темень сверху, а снег — снизу, но она упорно гнездилась в подлеске, в тяжелой хвое. По ночной тайге Хасан шел впервые, и малейший шорох верхового предрассветного ветерка чудился вздохами зверя — то умирающего, то переводящего дыхание перед прыжком.

Хасан и сам не заметил, когда стянул с плеча ружье, взял его на руку. Его воображение дорисовывало то шалого медведя, то рысь, изготавившуюся к прыжку... «Вот она сжалась в комок, взметнулась!» Он, Хасан, на лету перехватит ее душетом. Дед зло обернется, чтобы ругнуть его за баловство с ружьем, но тут к ногам деда упадет кровожадный хищник. Мертвым. А Хасан спокойно будет перезаряжать ружье...

Но как ни вслушивается Хасан в дыхание тайги, слух ловит только два звука:



— Шшшш... Хруп! Шшшш... Хруп!

Это размеренно спокойно шагает дед.

Шли долго: урманы* перемежались болотцами, мелко-лесьем. Подволожные** лыжи с легким приятным похрустыванием шуршали слежавшимся за ночь снежком. Повизгивая от радости, впереди серым шаром катился Музгарка. Свежело; утренние туманные сумерки оседали быстро и бесследно. Вышли к прогалине, ровной, как стол.

— Смотри, деда, это ж, наверно, озеро!

— Озеро!

— И рыба в нем есть?

— А как же. Щучье озеро, да без рыбы!

— Деда, а где Пескарево озеро?

— А вот оно и есть.

— Так это же Щучье!

— Сейчас Щучье, а было Пескаревым. Потому голимый пескарь в нем жил. А вот лет тридцать назад невесть кто пустил в него шук — расплодились они, стервы, пожрали начисто пескаря. Теперь жрут друг друга.

Нюролька вынул из-за пояса топорик, срубил березку. Тонкие сучки обрубил, а один, потолще, оставил. Получился крюк.

— Это, деда, зачем?

— Рыбу удить.

— Ну уж!

Нюролька сделал у берега прорубь, поводитил в ней березовым крюком и вытащил на лед садок. Внутри трепыхались десятка два шук-травянок.

— Ы-ы... Ты уже был здесь, — разочарованно протянул Хасан. — Деда, а это здесь нашли пулемет? — вдруг оживился он.

— Здесь. — Ссыпав травянок в лузан, Нюролька продолжал: — В восемнадцатом году наши тут одну шайку белых прижали. Награбили добра в Рыльске и бежали. Да

* Острова старого хвойного леса.

** Лыжи, обитые шкурой обычно с ног лося или оленя.

главный только ихний полковник с проводником, немым Епишкой, и ушли на Зыбун...

— Деда, а это правда, что никто с Зыбуна не возвратался?

Нюролька крикнул, сплюнул. Не любили говорить о Зыбуне в Юртах.

Начались Дальние борики. Нюролька разыскал сложенные под кедром плашки, стал расставлять их, а Хасан присматривался к деду, помогал.

Управившись с плашками, перекусили и пошли промышлять с ружьями — вдвоем с одной собакой.

Вдруг «Фурр! Пуфф!» — будто старый обгорелый пенёк с грохотом и треском вырвался из промерзшей земли и черной тенью унесся в чащу столетних елей. Даже Музгарка на какое-то мгновение растерялся.

«Глухарь!»

Хасан от неожиданности обмер.

Дуплетом, с почти неуловимым на слух интервалом, бьет Нюролька. Музгарка взвизгнул, исчез в ельнике.

— У-ушел?

Нюролька не отвечает, молча поднимает краснобрового таежного красавца из-под самого носа Музгарки. Глухарь огромный, тяжелый. Хасан прячет его в лузан. Тяжесть добычи постоянно напоминает о себе, радует. И словно теплее, уютнее становится в просветлевшей тайге.

Музгарка уже лает на рябчиков — яростно, самозабвенно. От всей своей собачьей души.

— Деда, дай я! — просит Хасан. А сам уж обходит его. Пыхтя от азарта, он бежит на лай.

— Ишь, не успеет! — добродушно ворчит дед. — Никуда они теперича не денутся.

...Зимняя ночь подкрадывается незаметно, и едва засумерничало, Нюролька облюбовал сухостой, срубил его, раскряжевал. Подтесав кряжи, положил одно на клинья вдоль другого, а между ними насовал щепы, сушняку. Получилась нодья — зимний охотничий костер, который и тепла дает много и горит всю ночь. Спи без заботы.

— Похоже, бурелом будет, — говорит Нюролька.

— Да, — солидно подтверждает Хасан, стараясь догадаться почему.

Нюролька раскидал снег, развел огонь. Пока рябчики варились, устроил навес. Хасан нарубил пихтовых лап — спать на них тепло, удобно. А на прогалинке уже легкими струйками завихрялась пороша. Лес зашевелился.

Хасан торопливо дул на ложку и, обжигаясь, ел жадно; никогда суп не казался ему столь вкусным. Поели и легли на пихтовые лапы меж нодьей и навесом. От навеса тепло отражается и греет со всех сторон. Приятно, тепло у ноги. А тайга уже заскрипела, зашуршала, запосвистывал ветер в шумливых вершинах. С глухим хрустом упал где-то сухой. Поодаль тихо стонал старый кедр.

— Придавит нас, деда...

— Чудак-человек, аль я не вижу, куда наклон. И ветер.

— А если ветер переменится?

— Наклон.

Вдруг кедр всхлипнул как-то особенно жалобно.

— У-ух! — присвистнул Хасан.

Глубоко в снежный бугор врезался кедр и будто развалился надвое.

— Деда, а де... — Испуг и изумление перехватили дыхание Хасана: бугор осел, заворочался, ожил. Хочет крикнуть Хасан и не может. Бурая лохматая голова показалась из-под дерева. — А-а!

Вот-те на! Нюролька схватил ружье, взвел курок: левый ствол всегда заряжался пулей. Хасан тем временем пришел в себя, кубарем скатился под навес, схватил топорик.

А Музгарка уже «висел» на медвежьем заду. Громыхнул выстрел. Взревел косматый и, взбивая снежную пыль, завертелся на месте. Музгарка прыгал, захлебываясь от лая и визга.

«Неужели дробь? — пронеслось у Нюрольки. — Нет, левый... — Он достал новый патрон, зарядил. Медведь стоял на задних лапах, рыча тер ослепшие глаза. — Дробь и есть».

Выстрел. Косматый обмяк. Ньюролька разломил ружье, вынул патроны: так и есть, с пулей оказался в правом стволе.

— Это ты баловал с ружьем?

— Я только патроны поглядел и обратно вставил.

— «Вставил!» Вот вставил бы тебе косматый, узнал бы, как патроны путать. Чего с топором-то?

— Я бы зарубил медведя, — искоса, с упрямством взглянул на деда внук.

— Ха-ха-ха! — схватился Ньюролька за живот. Хотя ему и не смешно, но смех трухнувшего деда — просто нервная разрядка, и, он, скрывая дрожь в руках, хохочет так, что черная с проседью голова вздрагивает. Захохотал и Хасан. Ньюролька умолк. Не годится старому таежнику скалить зубы с мальчишкой невесть над чем.

— Ладно, будет!

Закидали тушу снегом, завалили хвоей.

— Ой, сколько серы! — Хасан склонился над глубокой раной на стволе упавшего кедра. — Я, деда, сейчас, я немного отковырну. — И вдруг закричал: — Деда! Там письмо!

Ньюролька подошел. Под янтарным наплывом, верно, слова. Писано на бересте, прибитой на затесе. Со временем письмо выцвело, а с краев затянулось. Только три полоски — в каждой по несколько букв — и сохранили смоляные слезы дерева.

«...овари... ковника... ли... яд... зер...

...ил тиф... олото... на... ел... ка... ел...

тр... ша...»

Хасан уже принялся было читать письмо, но Ньюролька заторопился:

— Ладно, дома разберешь. Клади в лузан*. Спать надо.

Наутро Ньюролька разрубил тушу медведя на части. Прихватив по ноше мяса, охотники отправились домой.

* Лузан — особой формы охотничий рюкзак с несколькими отделениями для шкурок, а также продуктов.

«Зачем пропадать добру? — рассуждал старый охотник. — Нельзя зря губить зверя». Да и у Хасана уже пропал интерес к охоте. Не терпелось увидеть Саньку, расшифровать таинственное письмо. Едва вернулись — Хасана и след простыл.

— Знаешь, дед говорит, что письму этому не меньше сорока лет, — шептал почему-то Хасан, хотя Санька воспринял рассказ о нем с откровенной насмешкой.

— Ну, и что? Кому оно теперь нужно?

Но по мере того, как, расшифровывая его, ребята стали делать различные предположения и фантазировать, настроение Саньки менялось.

Берестяное письмо Хасан с Санькой прочитали так:

«Товарищи! Полковника догнали на гряде, у озера. Но нас свалил тиф. Золото спрятали на гряде, под отдельным камнем, от ельника в трех шагах...»

— Вот только в трех, тринадцати или тридцати? — усомнился Санька.

— Это смотря где лежит отдельный камень.

— Знаешь, давай спросим бабушку Эд и твоего деда, — предложил Санька. — Кто, когда проходил через Юрты. Выспросим все о Зыбуне.

— С дедом бы надо сначала. Только вдвоем бы... Он ведь проводником у партизан был.

* * *

Болото по-хантыйски — нарым.

— На полночь из Юрт пойдешь — нарым, на полдень ли — опять есть нарым, — неторопливо говорит Нюролька. — А вот Зыбун — только там, — машет он рукой в сторону юга. — Хмарь, топь. Сухой тайга совсем маленько.

Он заглядывает ребятам в глаза и спрашивает в упор, сердито:

— А вам для чо?

Так ни с чем и ушли ребята от Нюрольки.

ПО СЛЕДАМ ЛЕГЕНД

— Пойдем к бабушке Эд! — настаивает Санька.

Ну что ж, к бабушке так к бабушке.

— Ладно. Нарубим ей заодно дров. Совсем, однако, худая стала, — солидно говорит Хасан, явно подражая деду. — Пошли!

Никто не знает, сколько лет бабушке Эд.

— Шбилась я, однако, сама, — говорит она, не выпуская трубки изо рта. — Дефятой десяток, однако.

Но память у бабушки Эд — всем бы такую!

— Шама-то я, внучки, из рода Карамо, — попыхивая трубочкой, шепелявила бабушка Эд. — Кочевали мы далеко на полночь. Когда сюда пришли — не шнаю. Тавно было. На бобров шдешнее-то племя охотилось. Олешек разводило. Прогнал его наш род. Не мирно в те годы жили.

— А кто здесь жил?

— Какое племя, бабушка? — уточняет Санька.

— Этого, внучки, я не шнаю. На Сыпуне шаманы их сахоронены. Наши туда не ходят. И вам сачем? Проклятое место. Не шмейте!

— Почему, бабушка? — заискивающе ловит взгляд бабушки Эд Санька.

И а от о чем рассказала бабушка Эд.

...Давным-давно это было. Богатством у людей тогда были не олени и ружья, а огонь. Весело трещал он в юртах, обогревая людей. И однажды искра вырвалась из дерева и попала ребенку в глаз. Заревел он. Мать схватила тесло, крикнула: «Не плачь, я ему! Изрублю, залью, затушу! Я корми его дровами, а он, неблагодарный, жечь моего ребенка?! Вот ему, вот ему!» — махала женщина теслом, швыряя на огонь снег.

Покачиваясь в такт словам, бабушка Эд говорит неторопливо. В паузы скосив глаза на котел с начавшим «дымиться» мясом, она посасывает короткую самодельную

трубку. Пряди седых волос обрамляют ее коричневое морщинистое лицо.

...Ни одного глаза-искорки не осталось у огня. Потемнело в юрте, заглодало. Громче заплакал ребенок. Опомнилась мать, побежала в соседнюю юрту. Только вошла — очаг погас. И с тех пор к кому бы ни входила та женщина, огонь умирал... Упали тогда люди на колени: стали просить огонь у Молнии, у Ветра, у Солнца, у Сырой Земли... Сжалилось Солнце: нагрело Сырую Землю, подняло в небеса тяжелые тучи. Ветер пригнал их к людям Севера. И сказала тогда Молния: «Ладно, дам я людям Вечный Огонь! Только добуду его из сердца сына женщины, осквернившей Огонь».

С тех пор там, где стояла юрта той женщины, горит Вечный Огонь, но нет к нему людям пути...

Бабушка Эд закрывает глаза. Ребята вспоминают: в ясные морозные дни, случалось, было видно, как на Зыбуне столбом уходил ввысь туман. И впрямь, не то дым, не то пар. Бабушка Эд говорит: где горит Вечный Огонь, день и ночь кипит вода, и туда ушло побежденное племя.

Что же там — за сограми, за хлябью, за трясинами?..

— Нечего там, на Зыбуне, было делать, вот и нет пути! — сказал Хасан, выбравшись из тесной юрты бабушки Эд. — Мало ли всяких сказок!

— А помнишь, уже при нашей, при Советской власти, в Зачутымье скит нашли! — торопливо заговорил Санька. — Будто лет двести назад поселились первые-то люди там и все жили! Что на земле делалось — ничего не знали! Еще как-то по-церковному шпарили: даждь, днесь... Ткали холст из льна, а железа, говорят, и в помине не было. Повывелось все. Землю деревянной сохой пахали... Это точно!

Хасан тоже, еще совсем маленьким, слышал о ските, но ему до этой минуты и в голову не приходило, что на гряде могут быть люди. Он ответил не сразу.

— А знаешь, — оживился Санька, — если туда на лыжах, а? Уговори деда, пусть он попросит моего батьку рас-



сказать о Зыбуне. Он что-то знает. Мой дед ведь тоже там погиб. Говорил, он знал дорогу на Зыбун — с какого-то березового мыса.

Хасан мнется.

— А ты что? Спроси сам.

— Не расскажет мне. Еще вздует...

Жуванжа мечтал воспитать из Саньки замену себе — меткого стрелка и следопыта, а у того лишь книжки на уме, в тайгу не выгонишь палкой. К охоте не лежала душа у Саньки. Бывало, идет по тайге за отцом, а мысли где-то с героями книг.

— Ты что — спишь? — сердится Жуванжа. — Уши заткнуты ватой?

Редко удавалось Жуванже выпроводить Саньку на охоту. Да и пойдет — ни с чем вернется. «Пролежал, поди, леньтяк, где-нибудь на солнышке, аль ягоду жрал, — подзревает Жуванжа сына; сопит, сердится: — Только бы читать да слушать сказки!»

Санька втайне мечтает о путешествии на космическом корабле. А на худой конец — летать на вертолете. О том, чтобы выучить Саньку на летчика, в последнее время подумывает и сам Жуванжа. «Ведь только не выучится. Лежебока», — человек прямой и грубоватый, беззлобно думает он.

— Глист в ём, — убеждала Жуванжу бабушка Эд. И советовала: — Ты помори его да шалом медвежьим горяченьким, шалом!

— Отчего ж красный-то? Вон рожу-то наел, — возражал Жуванжа. — Леньтяк он. Поморить, однако, надо. — И он ругал учителей: — Забили парню башку: летчик будешь. Анженер будешь... А он, сопляк, и рад, уши развесил.

— Весь, говорит, сыпун оплетаю, — поддакивала бабушка Эд, — на этом, вертлявом...

— Вертолете, — подсказывает Жуванжа.

— Фот, фот!

— Я ему, стервецу, облетаю!



Санька запоем читал фантастику и занимательную астрономию, возился с летающей моделью вертолета.

Но и Жуванжа не отступается. Увещевает:

— Я, бывало, в твои-то годы...

Санька слушает, но ни один мускул не шевельнется на его полном, казалось, всегда немного сонном лице. Он не оправдывается, не спорит. Единственное оружие Саньки — молчание. Жуванжа старается задеть его самолюбие:

— Хасан, вон, и учится не хуже тебя, засони, и на охоте мужику не уступит...

Учатся Хасан с Санькой в пятом классе в Рыльске и живут в интернате. И вот как-то в каникулы Жуванжа попросил Хасана:

— Походи ты с ним, приохоть...

Хасан уговорил Саньку погонять зайцев, пострелять косачей. Есть близ Чутыма большой, километра на четыре, осиновый, или заячий лог. Договорились, Хасан пойдет с одного конца, Санька — с другого. Но снег рыхлый, лыжи оседают глубоко. Не хочется Саньке идти, продираясь сквозь подлесок. Залез он на сучковатую сосну, уселся поудобнее, так чтобы сучья не мешали стрелять, и стал ждать. Но зайцы почему-то не бежали. Хасан задержался.

Посидев с час, он замерз, слез, побегал вокруг сосны, забрался снова, а ни зайцев, ни выстрелов... Задумался: а не махнуть ли в березник за косачами? И вдруг совсем близко на полянке увидел лисицу. Лиса «мышковала». Припадая к земле, замирала, игриво взвивалась, зарывалась мордой в снег; рыжий пушистый хвост ее отражал то настороженность, то наслаждение хищницы мышинным мясом. Холодным пламенем рдел на снегу ее пушистый мех. Но стрелять Санька не решается — далековато. Авось еще подпетляет...

Страхнув с ветвей веер золотистых снежинок, застрекотала сорока.

«У, чтоб тебе! Прорвало!»

Лиса подняла голову, подозрительно повела носом и вдруг метнулась вбок. Санька нажал спуск. Огненный ком

перевернулся в воздухе и распластался. Санька заскользил вниз, перехватывая сучки через два на третий, поцарапал кожу на руке. Когда подошел, понял: можно было не спешить. В зубах хищницы завязла мертвая мышь...

Только перекинул Санька лису через плечо (чтоб виднее было!) из ельничка вышел Хасан уставший и сердитый.

— Ты чего не... — начал он и осекся.

— Понимаешь, водить меня за нос вздумала! — кивнул Санька на лису. — Пришлось задержаться.

Хасан молча потрогал мех, осмотрел лапы.

— Ты что, думаешь, из чьего-нибудь капкана вынул? — подозрительно взглянул на него Санька.

Шли молча. Хасан раздумывал, где бы около Юрт найти косачей, а размечтавшемся Саньке не терпелось домой. Однако он не выдержал.

— Мне только неохота этим делом заниматься, — с небрежным равнодушием заговорил он. — А так... слышал? С одного выстрела, с ходу подковал.

Хасан не ответил. Санька еле сдерживал готовый прорваться поток слов. Стоило Хасану спросить его о чем-либо, и он подробно, забыв о своем «с ходу», рассказал бы, как сидел на дереве. Но Хасан ни о чем не спрашивал. И Санька изредка ронял небрежно:

— Вздумала водить меня за нос! Вот пойдем на Зыбун...

Чутьем Хасан понял: в Саньке просыпается охотничья страсть.

Увидев Саньку в окно. Жуванжа выбежал из избы, обрадованно, с неуклюжей мужской игривостью толкнул сына в грудь.

— Во, молодец! А то...

Подмигнул Хасану и вдруг нахмурился, кашлянул.

— Сам?

— А то кто еще!

Жуванжа пригласил Хасана в избу. «Сейчас и расскажем!» — решил Санька. Жуванжа потчевал ребят вяленой нельмой, горячим чаем. Разговорился.

— Не знаю, может, сказка, — предупредил Жуванжа. — В детстве слышал. Старый эвенк говорил, обычно был такой. Увозили на Зыбун умершего шамана два молодых охотника и две девушки. Жена шамана с ними. Обратное, однако, никого не было. Мой отец ушел с кем-то. Не вернулся! Всех забрал Нуми-Торум, Хозяин неба. Ладно. Пусть сказка. А где ж они?.. Собирался я сам на Зыбун, как подросток, — продолжал Жуванжа. — Да все не до того было. Потом медведь помял. Плохой ходок стал. Недавно летчика просил. Маленько крюк на вертолете делал. Есть острова. Лес есть. Там, тут, — тыкал Жуванжа пальцем в сторону юга. — Нужна дорога. Ай, сколько леса при сплыве гибнет! Ищи, парень! — хлопнул он Хасана по плечу. — Найдешь — дорогу построят!

— И найдем! — горячится Санька.

— А зимой... Разве нельзя сходить на Зыбун на лыжах? — с подчеркнутой простецой удивляется Хасан.

Нахмурился Жуванжа, запосасывал потухшую трубочку. Потом достал табак, набил трубочку снова, закурил, обвел внимательным взглядом притихших ребят, словно решая: стоит ли говорить об этом?

Вот что рассказал Жуванжа. Услышал он как-то, до войны еще, куропатки на Зыбуне лают. Собрался, пошел. Верно, есть. Одну, с краю, добыл, дальше идет. Опять есть. Загорелся. А отчего не пробежать по Зыбуну: что там, за хлябью, за трясынами?

Пошел. Ходко идет, поет про себя. И вдруг будто кто придержал за ноги: стой, не ходи! Заскрипел, зашуршал снег под лыжами, потянулись по лыжне борозды. Снял Жуванжа лыжу, а она обледенела. Вот-те на! Намокла где-то, отсырела и враз прихватило ее морозом. Повернул Жуванжа обратно. Переступая с ноги на ногу, пошел к Юртам напрямик. Задумался, загляделся, чуть не сполз в воду, одетую плотным серым, как грубая вата, туманом. Попятился Жуванжа. Испугался. Побрел назад. Свернул на старую лыжню: дальше, зато безопасней. А ноги свинцом нали-

лись, лыжи дерут снег, что терки. Сел Жуванжа, срезал с лыж кисы* вместе со льдом...

Еле выбрался. Закаялся ходить на Зыбун и зимой, и летом.

— Топь, хмарь, — пояснил он. — Ни днища у ней нет, ни крышки...

ПОКА ЖУВАНЖА КОЛЕТ ДРОВА

— Сань. Вставай!

Между русской печью и столом, где разложены горячие хлебы, снует маленькая женщина. Это Санькина мать, Марфа.

Санька слышит голос, но молчит, старается вспомнить какой-то интересный сон. Ах, да... золото! Они с Хасаном нашли его. Рыли землю ножами, руками, целый день вытаскивали цепочки, кольца, деньги. Санька припоминает: какие они? Нет, деньги — он это хорошо помнит — бронзовые, обыкновенные пятаки с серпом и молотом. А какие они, золотые-то?

Этого Санька не знает. Он хочет еще раз посмотреть клад, долго лежит с закрытыми глазами и незаметно засыпает.

Отец Саньки спозаранку ушел пилить, или, как говорит мать, резать дрова. Хотя лес рядом, но так уж заведено, что дрова в Юртах заготавливают весной и летом на весь год. Обычно выходят все от мала до велика. Ребятишки укладывают дрова в поленницы, Нюролька и Марфа пилят, Жуванжа колет. «Коммуной» веселее.

Но сейчас Санька с Хасаном отдыхают. Они недавно вернулись из школы-интерната.

— Побегайте. Ишо хватит и вам делов, — с напускной суровостью сказал на другой же день после их приезда Жуванжа.

* Шкурки с ног лося, которыми оклеиваются охотничьи лыжи.

Просыпается Санька от неприятного ощущения скатывающейся от виска к носу капельки пота. День разгулялся такой, что на душе легко и радостно. Тут уж не до сна. Он даже не сразу вспомнил, что на Зыбун его не отпускают. Санька вытирает лицо рукавом и спускается в погреб. До чего ж приятно в такую жару пить бросающее в дрожь молоко! От стен погреба несет сыростью, холодом. Санька посидел, остыл, сунул в карман на всякий случай несколько прошлогодних морковок и отправился к Хасану — напрямик через огород и коровник, в котором сделан лаз. Сначала заглянул в юрту. Пусто. Нечастый гость в это время — солнце — греет так добросовестно, что идти в избу Саньке не хочется, и он свистит. Ждет. Хасан не появляется. Санька влазит на завалинку, смотрит в окно. Точно! Удрал. Санька идет к Чутыму. Так и есть. За яром, в заводи, Хасан верхом на коряге.

— Ха!

Хасан не оборачивается. Его рука с огромным удилицем взлетает вверх, и Санька видит, как над водой трепещет окунишка. Сняв рыбу с крючка, Хасан тихо отвечает:

— Чо?

Санька садится на песок. Хасан снова закидывает удочку. Река спокойна. Почти безоблачное небо отражается в воде, и Чутым кажется глубоким-глубоким, бездонным. Парит.

— Искупаться бы! Хасан, здорово, а?

Санька ежится, будто уже залез в воду, засучивает штаны, расстегивает единственную оставшуюся у рубашки пуговицу. Но купаться здесь опасно: ил, коряги, ямы. Да и вода еще очень холодная, Санька достает из кармана штанов брусочек листовенничной серы, стирает о рукав налипшие песчинки и бросает в рот.

— Ха-асан...

Саньке хочется сказать, что отец не пускает его на Зыбун, надо посоветоваться, как быть, но он вдруг заколебался: стыдно, столько было разговоров, планов и... да и, мо-

жет, он еще убедит отца. Все равно идти еще нельзя, пусть болота подсохнут.

— Что? — наконец откликается Хасан.

— П-шли в лес. Зоить соочьи гнезда! — не переставая жевать серу, говорит Санька.

Предложение соблазнительное. Хасан ненавидит сорок. Куда ни пойдешь в лес, а они уж тут как тут: «Чел-ловек идет! Чел-ловек идет!» Леску с удочкой он отгрызает и сует в карман.

Лес рядом. Кедровые островки иногда перемежаются молодыми соснячками, а дальше от Чутыма — осинниками, зарослями старого тальника и черемушника или, местному, сограми. Километрах в двух от Юрт начинается Зыбун; здесь он клином врезается в прибрежную тайгу. Сначала ребята идут по берегу: теплее, солнечней, «проторней».

Корни кедров висят над водой. Сквозь прошлогодние иголки и листья пробивается зелень, на полянках краснеют шаррики огоньков, синеют «кукушкины слезы».

— Хасан, смотри, вон! И вон!

— Это дроздиные. А маленькое, вон то — зябликов.

— А давай переменяем им птенцов, — предлагает Санька.

Дрозды не умеют считать. У них можно взять половину яиц — и не заметят. У малиновок, бывает, исчезнут два-три яйца — они даже не обратят внимания. Но тронешь гнездо зяблика — родители улетят, бросив не только яйца, но и крошечных беленьких птенцов не гибель.

Это Хасан знал и даже не подходил к их гнездам.

— Не трогай, пошли! — тихо говорит он Саньке.

Гнезд много, но ребята ищут сорочьи, ястребиные, а они в таких местах, что не скоро доберешься. И комары донимают. Они тучей летят следом.

— Вон! — Хасан показывает Саньке на согру, где чернеют два больших гнезда из прутьев и палок. Обычно сорока строит несколько гнезд. Одно — настоящее и сделано

«на совесть», другие — кое-как, для отвода глаз. Заметив опасность, лесная сплетница стрекочет, садится в пустое гнездо. Хасан не раз попадался на ее уловки и сейчас осведомляется у Саньки:

— В какое села? В ближнее?

Но Санька жует морковь и только мычит, потом показывает, куда села сорока, рукой.

— Тогда лезь к тому вон, на березе, — распоряжается Хасан.

Но березу окружает непролазная чаща. Вдобавок в распадке еще не высохла вода. Санька мнетя, машет рукой.

— А ну ее!

— Эх, ты! А еще — на Зыбун! Ты думаешь — что? Мне хотелось посмотреть, можно ли с тобой на такое дело.

— Сравнил! Зыбун — и какое-то паршивое гнездо. А если найдем золото — напишем письмо самому Хрущеву и попросим наделать вертолетов для охотников.

— Все одно. Важен факт! — солидно говорит Хасан.

— Важно зачем! — возражает Санька, шлепая себя по лбу. Из-под ладони на кончик носа брызнула капелька крови. — Чтобы было настоящее дело, а не сорочьё! Да я сдохну, а на Зыбуне побываю! И если хочешь — без тебя. Понял?

— Ну, ладно, давай подумаем, что надо к походу, — миролюбиво предлагает Хасан и садится на поваленную ветром старую сосну. Санька ложится на спину.

— Ружья с патронами...

— Сухари дня на два, три. Соль. Коробок спичек.

— Есть, — подтверждает Санька. Хасан — «начальник», он и в школе член Совета пионерской дружины. Санька — «завхоз» экспедиции. — Только спичек надо коробка три. И один завернуть так, чтобы и в воде не отсырели!

— Организуй!.. Так, ножи, котелок прихватим, две ложки...

— Сала бы взять соленого. И нельмы вяленой, — Санька даже облизнулся.

— Тю, нельмы! Окромья сухарей и соли, в тайгу разве что берут? Ружье прокормит! Накомарники надо будет не забыть, вот что?

— Мы ж не в тайгу. Мы на Зыбун.

— Все одно. Там что, дичи нет? Помнишь, где куропатки лают? Все на Зыбуне!

— Но ведь охота сейчас запрещена, — выкладывает Санька главный свой довод. — На всякую дичь.

Он уже похрупывает сочными лентами сока, который лежа снимает ножичком с растущей рядом с валежиной сосенки. Сок холодный, сладкий.

— Нам можно. Мы, если хочешь знать, как научная экспедиция.

— Ну, а когда отчалим? Все одно надо подождать, пока подсохнут болота и ягода поспеет.

— Ясное дело!

...Вверху тихо ворчат угрюмые ели. На чистинке быстро-быстро лопочут осинки. Лесной главврач-дятел постукивает деревья: тук-тук... «Где что болит»? А от Чутыма, из старого березняка, доносится «ук!», «ук!». Это Жуванжа колет дрова.

«Э-эй!... Эг-гей!... А-тта!» — вдруг доносится до ребят с Чутыма.

— Идем туда!

Они побежали, как всегда обгоняя друг друга.

— Смотри! — запыхавшись, остановился Хасан, когда в просвете между сосен засинела вода. — Смотри!

По Чутыму во всю ширину его плыли зверьки, трубой подняв вверх рыжие пушистые хвосты. Еще бросок — и ребята съезжают с песчаного яра к самой воде. Только теперь они заметили какого-то охотника на резиновой надувной лодке. Вот он догнал одного зверька, легонько стукнул его веслом-лопаткой по голове, схватил за хвост и еще раз ударил о весло. Бросил в лодку и поплыл за белками к берегу, крича:

— У, чертенята!.. Эгей! Я вас!

— Да это ж Володька Око! — узнал Хасан.

— Володька! — крикнул он.

— Око за око! — заорал Санька.

В Рыльске Володька учился первый год. Геологоразведочная партия, которую возглавляет его отец, Максим Око, готовилась к летней разведке верховья Чутыма. Странная фамилия — Око — доставляла Володьке много неприятностей.

В первый же день после уроков Володька догнал Саньку, остановил.

— Хочешь, намылю шею?

— За что?

— За просто тек! — отрезал Володька, и не успел Санька раскрыть рта, как в глазах его замельтешили искры.

На Санькино счастье сзади шел Хасан. Отшвырнув сумку, он, как рысь, прыгнул на Володьку, стиснул шею. Володька — на голову выше Хасана, сильный — рванулся, повел плечами, и ноги Хасана поднялись, описывая круг. Но Хасан все же удержался. Тогда Володька через плечо закинул одну руку за спину и, пригнувшись, перебросил Хасана через голову. Не успел Володька отцепиться от свалившегося в снег Хасана, как Санька метнулся ему под ноги. Володька упал, а Хасан уже на ногах.

И вот забияка уже отплеживает набившийся в рот снег, мямлит:

— Ст-таюсь...

— Сдаются а честном бою. Понял? — петушится Санька, сидящий ка нем верхом. — А сейчас, если хочешь знать, мы с тобой, Око-белобоко, можем что хошь сделать!

— Я больше не трону.

— Никогда?

— Н-никогда.

— Никого?

— Н-никого.

— Честное-пречестное?

— Ну, что я, трепач?



— А за что Саньке закатал? — вступил в допрос Хасан.

— А что, — захныкал Володька, — я рассказывал, как слюду на Алтае нашел, а он Всевидящим Оком меня обозвал...

— Ну и что? Всевидящее — это разве обзывает? Чтоб никого интернатских не трогал! Понял?

Володька понял, и сейчас он остановился, раздумывая: «А не повернуть ли подобру-поздорову обратно?» — и стал подгребаться к берегу.

— Ты как очутился тут?

— А вы как? — не меньше ребят удивился Володька.

— Мы — понятно. Мы живем здесь, в Юртах.

Володька начал рассказывать, что база геологов теперь за поворотом, на берегу Чутыма, и он на целый месяц приехал к отцу, но ребята его уже не слушали. Не каждый день в Юртах увидишь переселение белки. Об этом Хасан, к примеру, слышал только от деда.

— От чертянята! — восхищался он.

— И почему хвосты они так?

— Если белка замочит хвост — утонет, — пояснил Хасан.

— Почему?

— Не знаю.

— Наверно, оттого, что он станет очень тяжелым, — предположил Санька. — Вон какая метла!

— А чего им приспичило? Не горит же! — недоумевал Володька.

— Значит, неурожай орехов будет в Зачутымье: Белка она такая: заранее все узнает.

— Это точно! — согласился Володька. — Папа говорил, что на Зачутымские кедровники шелкопряд напал.

— Значит, конец кедрочам. Этот начисто сведет, — авторитетно подтвердил Хасан и вдруг насел на Володьку. — Ты чего браконьерствуешь?

— Подумаешь! Одну пришиб... А то станешь рассказывать, что ловил их за хвост и в лодку, — не поверят. А теперь спросят: «А ты ловил?» — «Ловил!» Пускай не ве-

рят, а я ее за хвост — и в лодку! — захлебывался он от радости.

— Слушай, Хасан, а почему белка идет прямо на Юрты? Ведь там, за нами, Зыбун? — спросил взобравшийся на яр Санька.

Хасан не ответил; пригласив Володьку в Юрты, он помог ему взвалить на голову лодку, сам взял весла.

Санька повторил свой вопрос близ Юрт и, не ожидая ответа, вскочил на пень, азартно крикнул:

— Смотрите! Смотрите!

Да, белка уходила на Зыбун. Почему? Зачем?

— Вот бы за ней следом, а? — произнес Хасан.

— Рано. К осени ближе — болота подсохнут..

— Чо рано? Грязь не сало, высохло — отстало.

— А что тут геологи ищут? — сорвался наконец вопрос, давно вертевшийся на Санькином языке.

— А все! Экспедиция комплексная, — важно пояснил Володька. Он с минуту помолчал, потом не удержался, бросил небрежно: — Кое-что уже наклеивается. Папа срочно на Черный Чутым уехал... Там у нас главный геолог работает. Не старый, а седой весь, — невольно перешел на шепот Володька. — Ог-громадный такой.

— Не бреши, — вяло протянул Санька. — Главному геологу в Москве дел хватит. Поедет тебе он сюда! Как же!

— Тю, знахарь! Главный геолог есть в каждой партии. — Володька даже приподнял над головой лодку, чтобы лучше видеть Санькино лицо.

— Тогда никакой он и не главный! — ничуть не смутился Санька.

Володька уже раскрыл было рот, как Хасан прыгнул вперед, крикнул:

— Смотрите!

Из старого скворечника, почему-то забракованного даже воробьями, выглядывала усатая мордочка белки. Санька обнаружил двух белок в сенах: они воровали сухие грибы и ягоды. Видимо, зверьки, подчиняясь приказам ин-

стинкта, решили отдохнуть и основательно подзаправиться перед походом на Зыбун.

Под честное-пречестное слово о соблюдении тайны ребята показали Володьке письмо на бересте, решили расшифровать еще раз.

— Мы установили: письмо написано в 1918 году, — сказал Хасан. — А тогда на Зыбун удул жандармский полковник.

— Обождите, не подсказывайте, — остановил его Володька. — Я сам.

По Володькиному толкованию письма выходило, что на гряде надо идти с какого-то березового мыса. И дело не только в золоте. Володька пояснил:

— Ведь они, наверно, оставили письма родным, оружие — свое и взятое у белых. Может, даже пулемет или наганы есть. Точно?

— Вот здорово!

— Надо, одним словом, найти дорогу на гряду, — глубокомысленно изрек Володька.

— Сначала надо разыскать березовый мыс. С него...

— Мыс — это чепуха! Раз мыс — значит, это на краю тайги. От Щучьего озера пойдем к Зыбуну — и порядок! — глотая от нетерпения слюги, воскликнул Санька.

— Значит, говоришь, беляками командовал полковник?

— Да, хапнул золота и хотел скрыться. Но его догнали партизаны. Настичь-то настигли, только сами сгнули. Тиф свалил. Понял?

— Ну и ждем сегодня! Я б это дело, — Володька даже сплюнул сквозь зубы. — Такое дело, а они... в сорочьих гнездах шарятся!

— Еще б недельку-две, — начал Хасан.

— Вернется папа, и мне уже не смотреться. Поняли? А сейчас я запросто. Съезжу, одену кожанку, прихвачу консервов, свой рюкзачишко замету — и обратно. К вечеру мы уже будем... — Володька присвистнул. — Поняли?

Хасан и Санька молчали. Слишком неожиданный оборот... Конечно, к походу все готово, и все-таки ребята колесились.

— Настоящие дела так и делаются! Без лишнего трёпа, — продолжал Володька.

— А что? — заглянул в глаза Хасану Санька. — Он будет у нас главным геологом.

— Ну, давай! — тяжело, с придыханием выдавил Хасан Володьке.

Все притихли. Володька соображал: о чем бы спросить, что выяснить? Из лесу отзвуком далекого эха доносилось равномерное «ук!», «ук!». Жуванжа колот дрова.

* * *

Не успел Хасан перекусить, примчался Санька. Сообщил, что спрятанные им сухари исчезли. Санька высказал предположение, что его приготовления заметила мать.

— А где прятал? Может, мыши, крысы? Они ведь доберутся — не столь съедят, сколь переносят.

— Н-не знаю. На чердаке прятал, — совсем приуныл Санька.

— День туда, день обратно. Там день, — загнул Хасан три пальца. — Ладно. Обойдемся! На мясо нажимать будем. Возьмем два ружья.

— Патроны вот только у меня заряжены давно, могут осечки быть.

— Ладно, я возьму про запас пистонов. Если что — перезарядим.

...Володька и впрямь выглядел, как заправский геолог: легкая кожанка на «молниях», непромокаемая с накомарником кепка, новые яловые сапоги. Настоящий брезентовый рюкзак с кармашками. На «кавказском» ремне болтались алюминиевая фляжка и кожаные ножны, из которых торчала самодельная ручка из цветного плексигласа.



Не было у него лишь ружья.

Хасан первым делом ухватился за нож.

— Покажи!

Володька попытался оттолкнуть Хасана, но тот уже выдернул нож, взмахнул и... вернул обратно. Нож оказался столовым, тупым. Хасан подумал было предложить ему охотничий нож деда, но по лицу понял: обидится.

— А что во фляжке? — булькнул Хасан.

— Да так... граммов двести, — подмигнул Володька.

— Водка?

— А что? Это для дезинфекции ран и царапин. Я и бинт, и йод взял.

Хасан стал еще раз проверять, не забыли ли чего.

Санька притих в сторонке, помрачнел: в мыслях он сейчас стоял перед отцом.

Вспомнилось обидное «леньтяк». И он тут же, пожалуй, впервые мысленно стал возражать отцу.

«...Пойдет тебе, ежели кто ленивый, на Зыбун! Ленивый, он и над книгой уснет. А я их перечитал — на коне не увезешь. И спросит — любую расскажу...»

— Ты чего, Сань? — начал было Володька и — осекся, понял состояние товарища: шутки — шутками, а когда впервые самостоятельно решился на такое — задумаешься. Мало ли.

До сих пор Володька особенно как-то и не задумывался, какие трудности и опасности ждут их на Зыбуне, просто плохо представлял, куда, где и как придется идти.

— Ребята, а не найдется ли ружья и для меня?

— Ты чо? — удивленно посмотрел на него Хасан. — Да мы и второе-то берем уж так.

Володька нахмурил брови, стал суетливо проверять карманы...



РАННИЙ ГОСТЬ

Чуть свет прибежал к Жуванже Нюролька.

— Наш не у тебя ночует? — И заметив, что Саньки тоже нет в избе, присел на край лавки. — На плесе где разве зорюют? Все с удочками возился...

— А чо имя? — потянулся невыспавшийся Жуванжа. — Запалят костер, напекут в золе окуней. Ночь не в ночь. Чо имя... А у меня спина к дождю, видно, ноет.

Жуванжа прожил нелегкую жизнь; не раз мяли ему бока медведи. Однажды он напоролся на двоих в одной берлоге. Раненая медведица содрала со спины кусок кожи с ладонь вместе с мясом. Спасли собаки, повисшие на медвежьем заду. Зверь, огрызаясь, обернулся, и это стоило ему жизни. Для верности три раза по самую рукоять всадил ему Жуванжа свой нож. Еле добрался до дому, долго лежал в больнице. С тех пор стал побаиваться медвежьей охоты в одиночку, и к перемене погоды побаливала спина.

— Дождь, обожди, пригонит! — говорит он о ребятах спокойно, с усмешкой.

Жуванже не было и шестидесяти, а выглядел он, пожалуй, не моложе Нюрольки, хотя тому шел семидесятый. Охотничье счастье ни разу не изменяло Нюрольке. Семьдесят медведей убил он за свою жизнь. А глухарей, охоту на которых особенно любил, бывало, добывал по сотне за зиму. В последнее время, однако, и он стал сдавать: поседел, хуже видели глаза.

— Это ладно, если так, — вздохнул Нюролька. — Да ведь с рекой не шути. Всяко может.

Волосы у Жуванжи редкие, и он расчесывает их только по большим праздникам. А в будни, умываясь, смочит водой, пригладит ладонью — и ладно. У Нюрольки — волос копна: и зимой, бывает, ходит без шапки. Тряхнув волосами, черными, как смоль, с проседью, он по привычке пропускает бороденку свою через кулак.

— Ладно, коли дождь... Обождем, буди.

И уходит.

А дома Нюрольку ждал гость — охотовед Степан Мажоров. Сообщил: собрался на пенсию и в последний отпуск надумал проехать по Чутыму, посмотреть места.

— Приглянется — годок-два поживу охотой. Чего без дела-то сидеть? Лодка моторная есть, купил.

Нюролька поддакивал, торопил жену. Лыстило старику, что не к бригадиру Жуванже, а к нему завернул охотовед. Пропустив бороденку через кулак, хитровато скосил глаза на стол.

— Давай-кось, чем бог послал.

Когда вышили, Нюролька вспомнил о Жуванже: нехорошо — не пригласил, не известил о приезде начальства.

— Старуха, сходи-ка за ём.

— А где внук? — заинтересовался Степан.

— Пропал. Оба с Санькой, его, Жуванжи, сынишкой. Вторые сутки нету. И где пропадают — ума не приложу.

«На Зыбун ушли! — сообразил Степан. — Хитрит старик. Однако отчего же не пошел сам?»

— А что это, слышал я, за письмо на бересте, где оно? — просто спросил Степан.

— А, — махнул рукой Нюролька. — Какое письмо, ежели без мала сорок лет прошло? Баловство одно.

— Интересно все-таки, писали люди...

— Писали да сгинули и косточек не найдешь. Не только что... Отец Жуванжи уходил с кем-то — мы у Пескарева озера были, — пояснил он. — Опять же двое наших догоняли какого-то полковника. Тоже никто не вернулся. Может, их письмо... Значит, с восемнадцатого года.

«Все ясно, все ясно, — твердил себе Степан. — Значит, на Зыбуне и шарятся ребята!»

— Да-а, — протянул Степан. — Ушли от вас люди на Зыбун — обратно не вернулись. И никто палец о палец не ударил, не подумал поискать! Эх, вы!

Нюролька не подал виду, что его обидело обвинение Степана.

— Жуванжу медведь помял в те поры, — зажав бороду в кулак, ответил он.

— А ты что? Ведь не кто-то — единственный сосед пропал, товарищ.

— Ранен я был, — не сразу ответил Нюролька. Сердце старого таежника уловило фальшь в осуждении и необычный интерес к столь давнему прошлому. — Если б, как сейчас, — вертолеты были... — возбуждаясь, заговорил он громче.

— Что, так никто и не ходил на розыски? — прищурился Степан и отвел взгляд.

— Лежал я, — повторил Нюролька. — Оно, может, что и запамятовал. Однако кто мог? К Пескареву озеру-то я вел...

— Ну и без проводника бы можно. Люди ведь...

— Зыбун опять же. Зачем зря голова терять?

— Это ты прав, — миролюбиво закивал Степан. — Не до поисков мертвых в те годы было.

С приходом Жуванжи разговор пошел живее, но все на темы, мало интересующие Степана.

— Слушай, а ты не собирался с Хасаном на Зыбун? — вдруг спросил Жуванжа Нюрольку.

— Да я ополоумел — летом на Зыбун? — Только сейчас до него дошел смысл вопроса. — Неужто на Зыбун укатали? Вчера бы — настичь можно. А мне, старому дураку, и на ум не пришло.

Нюролька охал, качал головой. Жуванжа вспомнил о письме на бересте: «Разобрали-таки, наверно... А Санька-то, Санька — ну, варнак!»

Разговор с Нюролькой и Жуванжой окончательно убедил Степана: надо попытаться счастья. И немедленно!.. Тогда он уехал бы отсюда ко всем чертям. Поди, не меньше пуда унесли Куперины серебра и золотишка!

Многое из событий тех дней стерлось в памяти, но все до мелочей помнил Степан, как много суток подкарауливал он Купериных в Сухом болоте, да так и не дождался.

«Сцапали их, голубчиков, туземцы, — сокрушался он, услышав несколько выстрелов. — Гребанули золотишка!»

Были у Степана основания не попадаться на глаза «туземцам», и он тогда не вернулся в Рыльск. Три дня добирался из Сухого болота до жилых мест в соседнем крае. Сначала уехал на Амур, потом еще дальше — на Камчатку...

Грамотешка у Степана была так себе — «гимназия на дому», но торговать умел. Знал толк в мехах. И хотя охотоведом работал немного, директор Рыльской охотничье-промысловой станции говорил о нем с гордостью: «Степана у меня не проведешь». Жил безбедно, хотя все сорок лет мотался по стране — от Камчатки до Урала и от Тувы до факторий на Таймыре. Была у Степана и семья, да жена умерла, а дочь вышла замуж. Вот и потянуло в родные места. «Мало ли что было, — рассудил он. — Было, да быльем поросло...» Никто, однако, не помнил бывшего купеческого приказчика Степана Мажорова, никто не узнал. Он решил дотянуть до пенсии в Рыльске и тогда уж махнуть куда-нибудь на юг. И вдруг случайно узнает от Саньки, часто забегавшего в контору станции, что с Зыбуна никто не возвращался. «Значит, так и лежит золотишко сверкающими горками. Или, зачуйв погоню, господа Куперины сбросили мешавший груз в укромное место и начали отстреливаться. А мертвые, они молчали. Так золотишко и осталось где-нибудь в кустах неподалеку от скелетишков господ Купериных. Откуда было знать туземцам о золоте?» И, взяв отпуск, Степан Мажоров приехал в Юрты.

ТАЕЖНОЙ НОЧЬЮ

Пока шли охотничьими тропками, Володька то и дело вырывался вперед. Заметит куст красной смородины, прыгает, кричит:

— Чур моя! Чур моя!

На нем хотя и потертая, но кожаная куртка, яловые сапоги. Хасан с Санькой в свитерах, в броднях. Кепку Хасан не нашел, идет в одной тубетейке.

Когда начался «целик» — пришлось идти через многовековые останки деревьев, то задубевших в воде, то до трухи сопревших. Володька даже перестал озиаться по сторонам, плелся сзади. Сорвавшись со скользкой валежины в яму с водой, зачерпнул в сапог. Пройдя с полкилометра, начал просить:

— Хасан, а Хасан? Давай посидим — я подсушу портянку.

— Да ты очумел? — урезонил его Хасан. — Тут без огня за день не просохнет. Вот выберемся на мыс...

— Хлюпают, — ныл Володька.

— Ты и не выжал? — остановился Хасан.

— Ты что, оглох, не слышишь хлюпа? Тебе хорошо в броднях...

— А чо там копался! Ты же все ноги погровишь! Ходок! Скидывай.

Володька сел на кочку, стал разуваться. Чтобы не снимать с плеч лузана, Хасан прилег на спину. Санька рвал черемшу. Совсем рядом по сухостойной сосне вниз головой бежал поползень — в голубой рубашке с красным галстуком. Нос — как штык, извещает лесную братию:

— Твуть! Твуть!

Тут, мол, тут. Слетайтесь! Прыгает, сует нос в каждую дырочку. Не спрятаться, не уйти от костяного штыка врагам леса — короедам, усачам, пилильщикам.

— Твуть! Твуть! — разносится по тайге веселое, призывное.

— Ой! — вскочил Володька, растирая ягодицы. — Кто-то цапнул.

Хасан поднялся.

— А ты б еще вон на ту кочку сел. Да штанцы снял.

За соседней кочкой оказался муравейник. Ребята с любопытством наблюдали, как эти сильные и умные санитары леса со всех сторон тащили пищу, различные стройматериалы: кусочки коры, сухие стебельки трав, всевозможных погибших козявок.

— Ноги завернул в сухие концы? — спросил Хасан.

— В сухие.

— Пошли! Мыс надо засветло найти. На нем и заночуем.

Но сколько ни искали березовый мыс, с которого ходил на Зыбун Жуванжа-дед, ничего похожего не было. Кое-где березник чуть вдавался в Зыбун, но сразу же за окружающими его тальниками начинались непроходимые топи.

Правда, километров пять назад ребята встречали большой мыс, но сплошь еловый и на край его не пошли. Между тем солнце уже садилось, да и Володька вовсе выбился из сил. Решили найти сухостой для костра и ночевать. Горечь первой неудачи скрасило то, что совсем неожиданно Санька, срезавший пихтовые лапы для подстилки, спугнул рябчика. Солнце уж село, но в прогалинках, на фоне неба, было еще видно, и Хасану удалось его подстрелить. Проголодавшийся Санька заплясал от радости и вызвался кухарить.

— Ну вот! А ты говорил — возьмем мяса! — старался говорить как можно равнодушнее Хасан. Но и он этому рябчику радовался больше, чем медведю, убитому с дедом.

* * *

Хасан любит костры. В искусстве разжигать их тягаться с ним не может даже Нюролька. Для этого мало опыта. Нужна романтика. Страсть молодого сердца.

Конечно, всякий настоящий таежник разожжет костер в любую погоду, и если нужда заставит, то и без спичек. Но как будет он гореть — с шипеньем и едким дымом или с веселым треском, с пляской искр — это не всякий охотник скажет заранее. И уж вовсе обремененный заботами таежник не станет задумываться, отчего и как пахнут костры. А каждое дерево, сгорая, дает свой неповторимый запах и аромат. Не оттого ли так вкусна рыбацкая «уха с дым-

ком»? Но ведь дым дыму рознь. Мало приятного, к примеру, в едкой горечи сгорающей осины. Самый заядлый рыбак обычно мечтает найти в сыром тальнике занесенные половодьем, сухие сосновые сучья, березовые поленья, не подзревая, что вкуснее всего и душистей уха, сваренная на костре из тонких прутьев полусухого тальника. Он и сырой горит превосходно, с веселым треском.

Дегтем пахнут жаркие сучья березы, смолой — фейерверочный костер из тяжелых сосновых лап, из желтых иголок и старых шишек. А сколько чудесных ароматов исходит от лесных кустарников и трав, которые пучками бросает Хасан на красные язычки огня! Туда же летит и чага — грибовидный нарост на старых березах. Дыма сгорающей чаги боятся комары.

У такого костра можно молчать часами. Даже живые, искрометные охотничьи байки как-то меркнут перед живой поэзией ночного костра, поддерживаемого искусной рукой таежного романтика.

Санька с Володькой легли спать, лишь разжевав все косточки бедного рябчика. Хасан примостился у костра на колодине; сидел, опершись на руку, смотрел в огонь и думал... Что если не найдут они этот мыс? Вернуться или все же рискнуть?

Косматая темень подбиралась к самым языкам огня. Лишь сзади маячил похожий на чугунную трубу двухметровый кусок гладкоствольной пихты, да чуть поодаль, когда из-под верхнего бревна вырывались золотые паруса, из темноты выступали меднокованные пластинки корабельной сосны. На фоне сизого столба дыма видно, как толчется и пляшет, предвкушая пир, неистребимое комариное племя.

— Жжжж-ж-ж...

Ни тише, ни громче. Хоть всю ночь обкуривай их дымом, лови, дави в тысячу рук, все так же будет гудеть воздух.



Дым и жар их все же отпугивают; они храбро пикируют лишь на открытую шею Хасана. Он передвигает тубейку с одного уха на другое, поднимает воротник свитера, глубже втягивает голову в плечи и прислушивается к звукам ночи. Но тайга затаилась. Только где-то далеко ухает филин, да изредка всхрапывает Санька. Охотясь с дедом, Хасан, обычно намаявшийся за день, всегда укладывается первым. Теперь не спалось. Воображение рисовало то облезленного на человека медведя, то голодную рысь, и Хасан-охотник мысленно спорил с Хасаном-мальчиком, доказывая, что все звери боятся человека и особенно у огня.

«А если придет кто?» Хасан-охотник соглашался, что сейчас им никакой зверь не страшен. Но почему на охоте мысли об этом даже не приходили в голову? Хасан стал доискиваться источников своей тревоги. Зимой кто попало по тайге не шатается. Не очень-то пошляешься по снегу, да в мороз. А вот летом, бывает, случается... Но все-таки главное, понял Хасан, то, что и они сейчас идут не на охоту, а искать золото, разгадывать тайну гибели людей. А кто знает, когда и как они гибли?

Хорошо Саньке с Володькой: спят себе, а тут беспокойся о них, думай!

«Нет, надо все-таки уговорить деда! — решил Хасан. — Вот ведь не нашли без него мыса? Не нашли! Так и другое... Вернемся и уговорим. Ведь не просто — тайна! И письмо опять же...»

И неожиданно страхи рассеялись. Все ясно и просто: они только переночуют в тайге и вернутся. А ночевать — что? Не привыкать. Тайга человека любит. Сначала Хасан хотел разбудить Саньку — пусть теперь он подежурит, а потом подумал: костер не погаснет, а к огню какой зверь сунется? Привалившись спиной к Володьке, Хасан уснул в обнимку с ружьем.

Тихо потрескивал костер.

Медленно светлело таежное небо.



ТАЙНА ИСЧЕЗНУВШЕГО БЕРЕЗНИКА

Утром Хасан заговорил о возвращении. Санька не поверил. Разлохмаченный, с пятнами от высохших грязных брызг на лице, но превосходно выспавшийся, он кривлялся от избытка-энергии, пел, как эвенк, о том, что видел. Хасан не удивился, если бы он сейчас заорал, как однажды на пионерском сборе: «Каррамба! Я вождь исчезнувшего племени гип-гип!»

Бывает, привяжется к тринадцатилетнему человеку какое-нибудь мудреное слово, и, смотришь, он весь в его власти.

— Каррамба! — И одобряет он что-либо и осуждает, грозит и подает сигнал помощи...

Книжные болезни эти, бывает, проходят лишь с возрастом, с годами...

Саньку в классе звали Гипотезой.. И не потому, что он любил читать научно-фантастические повести, а просто понравилось ему это мудреное слово, и он начал вставлять его кстати и некстати. А однажды объявил всему классу:

— Есть такая гипотеза: пятого урока не будет. Немка заболела.

Незаметно сгреб учебники — и ушел. Когда начался следующий урок, в класс пришел директор — поругал, почему не ушли в перемену — будете, мол, теперь шуметь по коридору, мешать другим. Тут и выяснилось происхождение Санькиной «гипотезы»: объявить классу о конце занятий ему поручал директор.

— Эй, ты, Гипотеза! — взял его назавтра в оборот весь класс.

— Ходячая!

С тех пор Санька и стал Ходячей Гипотезой..

— Обратно? — растерянно заулыбался и Володька, щуря удивленные глаза.

Хасан обернул все в шутку: солнце так щедро оделяло землю приятно ласкающим теплом, что от ночных стра-

хов не осталось и следа. Теперь Хасану было стыдно даже вспоминать какие-то доводы против похода, но он все же спросил:

— Слушайте, а что станем делать, если не найдем березового мыса?

— А ну-ка, где письмо? Еще посмотрим, — попросил Володька.

Он посидел над ним с минуту-две не больше, шлепнул себя по лбу:

— Олухи мы! Да яснее ж ясного: это они сообщают, что золото и оружие спрятаны на каком-то еловом мысу, а мыс — на гряде!

— Ну вот! Значит, мы правильно прочитали! — обрадовался Хасан.

— А на гряде мы вовсе не знаем дороги, — вздохнул Санька.

— Рванем напрямик! — ничуть не задумываясь, с жаром заговорил Володька. — Полезем через топь, если надо — поплывем через озера! А по готовым тропкам теперь и сопливые девчонки ходят, где хочешь!

— Пошли хоть на этот еловый мыс! Все меньше брести по болоту, — тоном, не допускающим возражений, сказал Хасан; обиделся, захотелось назло сказать Володьке: «Лезь!» Небось сразу скис бы!

Близ елового мыса наткнулись на старый затес.

— Смотри, партизанский затес! — обрадовался Санька. Он уже орудовал ножичком, отколупывая серу.

— С чего взял, что партизанский? — Хасан уже чувствовал внутреннюю потребность охладить пыл своих слишком опрометчивых спутников.

— Очень просто! Зачем оставлять затесы жандармам? Чтобы быстрее догнали их? А партизаны шли без проводника. Тятю медведь помял, а твой дед был ранен.

«Ишь, ты! И верно, — удивился Санькиной сообразительности Хасан. — А ханты по затесам не ходят, хант — «человек тайги».

Мыс вдавался в Зыбун на километр — полтора. За ним шло сравнительно сухое болото.

— Пойдем? — кивнул на Зыбун Володька. — Вырубим по шести и...

— Нет, надо найти березовый мыс, с которого ходил Санькин дедушка, — не сдавался Хасан. — Может, партизаны потому и не вернулись, что пошли здесь.

— Как раз вернулись! Они же в тайге погибли! Заболели тифом, — поддержал Володьку и Санька. — Тогда, в двадцатом, и муж бабушки Эд умер от тифа.

Хасан стоял на своем. Тут надо разобраться. Прошло почти сорок лет — мало ли что могло случиться! И пожар мог быть, и... — Хасан вспомнил, как они с Санькой где-то недалеко от Щучьего искали Пескаревое озеро, не зная, что Щучье и называлось тогда Пескаревым. И тиф их, ясное дело, свалил не вдруг. Мало ли куда могли пойти?

— Обождите подсчитаем, сколько ельнику лет, — предложил Хасан. Он разрыл в нескольких местах зачем-то землю.

— Слушай, Хасан, а если так: «**З олоото наш ел. Зака пална еловом мысу в трех шагах...**». Видишь? — совал ему Санька замусоленную копию письма. Хасан посмотрел, рассмеялся:

— Грамотей! Закопал, а не закопал.

— А вдруг это партизан сделал ошибку? Ведь мог он ошибиться? Мог? — стоял на своем Санька. — Что, это зря все «ел» да «ел»? Ясно, в ельнике...

Хасан прервал его.

— Пятьдесят лет назад, когда тут проходил дедушка, этот мыс был еще безлесным, а лет сорок назад здесь рос молодой березник, — сказал он изумленным ребятам. — Это, ребята, точно. Потому что березы немного старше елей, но они уцелели только с края, а в ельнике все погибли...

...Вот что произошло на мысе.

В десятых годах, в то время, как здесь впервые проходил отец Жуванжи, мыс уже заняли семена елей. Но на окраине тайги росли и березы, и осины. Из каждой сережки

осины вылетали сотни белых парашютиков — семян. Вслед за ними целые облака березовых семян приносил сюда ветер. На влажной почве осинки и березки росли быстро, целыми стайками поднимаясь вровень с елками. Но осины и березы светолюбивы и в тени елей они быстро чахли, гибли.

Борьба, однако, продолжалась. Молодые ели боялись ветров и холода. И едва наступала осень — множество елочек с корнем повыдергали свободно гулявшие на Зыбуне ветры, а остальное довершили ранние морозы: влажная земля трескалась и рвала слабые корни. Березки и осинки, которых не сразу и заметишь в буйной поросли травы, победили. Их веселые и поначалу, казалось, разрозненные стайки, поднимаясь, смыкались все теснее, в дружный хоровод. Они лет десять радовались солнцу, торопливо тянулись навстречу свету и теплу. Таким, березово-осиновым, и видели партизаны этот мыс, далеко вдающийся в Зыбун. Он как бы показывал: «Гряды — там! Иди, придешь!»

Гордо шумели юные победители листвой, прикрыв ею от ледяных ветров новые поколения елочек. Под листовым шатром достаточно елям и тепла, и света. И вот быстрорастущие ели, обогнав в росте березы, через тридцать лет, к пятидесятому году, заглушили их, лишили пищи и, главное, света. А осинки и вовсе плохие бойцы: вечно дрожат, робко машут хрупкими руками, словно заклиная ели не трогать их. Минуло еще десять лет, и хилые березки и осинки погибли. Лишь кое-где, по краям мыса, они еле проглядывали в мрачной стене елового леса.

Довольные собой, приятно возбужденные своим открытием, ребята выбрались на опушку, присели отдохнуть.

* * *

— Что же все-таки означает это «ка» и второе «ел»? — вслух размышлял Санька. — Искать, песка, леска, мыска... Слушайте, а вдруг они так и писали: «Надо идти с елового мыска»?

— А что тогда означает второе «ел»? «От ельника в трех шагах» не подходит. Ельник большой, — пояснил Володька.

— А если так: «...золото зарыто в конце елового мыска...» под какой-то приметной елью. Толстой или сухой.

— Все равно не получается. Если их тиф свалил на гряде, то через болото они не перешли бы. И опять же перед «ка» и «ел» стоит «зер». А на мыске нет озера.

— А озеро ли это? — включился в спор и Хасан.

— Зер... Зеркало, зерно, — опять забубнил Санька. — А если это фамилия партизана?.. «Зернова свалил тиф, через Зыбун его и золото не перенести. Он останется на еловом мысу, а я пойду к Пескаревому озеру...» Вот и «ка»: пес-ка...

Володька вскочил, потянул из рук Саньки копию письма.

Завязался спор не на шутку. Чтобы избежать ссоры, Санька притих.

— Тут мы ни до чего не дотолкуемся. Надо искать гряду, — заключил Володька. — А то у тебя выходит, что партизан товарища бросил, а золото понес. Да еще сам и пишет об этом. Ерунда у тебя получается.

...И вот Хасан, «начальник» экспедиции, вскакивает и командует:

— На Зыбун ша-а-гом марш!

— Ур-ра! — не раздумывая, кричат в ответ «завхоз» и «главный геолог».

...В небе — ни облачка. Только на синей зубчатой стене зачутымских кедрочей пасутся пушистые белые барашки; теплый южный ветерок тихо гонит их по-над Чутымом в голубую даль. Где-то в вышине радуются лету и солнцу жаворонки. И только далекий, скрипучий голос вечно чем-то раздраженного коростеля как бы фальшивит их виртуозные жизнерадостные трели...

А НАЗАД ТОМУ СОРОК ЛЕТ...

Мало кто в дореволюционном Рыльске не знал немого Епишку, саженого детину, работника известного на всю Сибирь купца Куперина.

Однажды в сарай, где работал и спал Епишка, зашел молодой куперинский приказчик Степан Мажоров. Стараясь не коснуться липких стен, он поманил Епишку пальцем.

— Хочешь, Епифан, в сукне ходить и французские булочки кушать?

Епишка помычал, жестикулируя и, наверное, догадавшись, что Мажоров все равно ничего не поймет, закивал головой.

— Иди за мной. Да не рядом, ты! Сзади иди.

И Епишка покорно поплелся вслед.

А накануне произошло вот что.

Вызвал Степана к себе на дом «сам», сказал ему.

— Изволил я усердие твое заметить.

— Премного благодарен вам, Порфирий Евграфыч! — склонился Мажоров.

Куперин предложил приказчику пробраться в верховья Чутыма и на его малые притоки, собрать с туземцев «ясак», поторговать.

— Только смотри, — предупредил Куперин. — Финтить станешь — под землей сыщу! Слышал, небось, о полковнике Куперине? Брат мой. Вся губернская полиция в его руках. Смекаешь? И он тоже в моем деле участие имеет. Это понял?

— Как не понять, ваше степенство! Да я жизни своей не пожалею...

— Вот, вот! И что он или я в этом деле — ни гу-гу!

Куперин взял с Мажорова расписку и, кроме подписи, заставил его приложить палец.

— Линии на ем — не перестряпаешь, — не стеснясь, рассуждал он. — С собой Епишку возьмешь. Этот не разболтает!

Куперин подал Мажорову сверток, пояснил:

— В мундир унтера его оденешь. С двумя Георгиями!.. Что хошь говори, что хошь делай, а пушника чтоб была. Понял?

...В первую же ночь, нагрузив лодку охотничьими припасами, спиртом да яркими безделушками подешевле, Степан и Епишка отплыли в верховья Чутыма. Завидя стойбище у Зыбуна на Белоярском плесе, Мажоров помог Епишке натянуть тесный мундир унтера и выстрелами известил о прибытии «властей». Сойдя на берег, зычно потребовал ясак. Нюролька, тогда еще молодой, лучший в округе медвежатник, отец Жуванжи и несколько подкочевавших с севера эвенков робко жались друг к другу. От крестов и пуговиц Епишкинского мундира, надраенных суконкой, отражались, рассыпаясь лучами, десятки маленьких солнц.

— Брони бог...

— Слышали? Война с германцем идет? Самый главный сказал: «Иди на войну или пушнину дай». Поняли?

— Брони бог, зачем война?.. Бери пушнину.

Епишка, вскинув ружье «на плечо», словно окаменев, стоял в трех шагах сзади. Целый день потратил Мажоров на обучение «унтера», но цели достиг: Епишка внушал страх перед грубой, безжалостной силой, глухой ко всему на свете... И если шкурки ложились к ногам скупно, Епишка стрелял в воздух, а Мажоров повторял:

— Ясак! Ясак! Нет пушнины — садись в лодку! На войну!

Затем Степан выносил из лодки бидон со спиртом и короб с безделушками: раскладывал ленты, зеркала без оправы цветные кисеты и наливал охотникам спирт.

— Пейте! Огненная вода снимает все болезни, все горести-печали. Пейте!



После угощения начиналась «торговля»...

Нелегким был путь по многочисленным речушкам — притокам Чутыма, но, вспоминая сейчас об этом, Степан остро, с болью в сердце чувствовал, что те дни были лучшими в его жизни. Он почти не спал сам, измотал Епишку, как одержимый рвался все дальше и дальше. Успех пьянил, и он ни до, ни после этого не чувствовал себя таким счастливым. Лодка уже еле вмещала мешки с пушниной. Только начавшиеся по ночам заморозки заставили Степана повернуть обратно. Но было уже поздно. Пришлось зимовать вдали от жилья, там где застал ледостав. Только лоси спасли их с Епишкой от голодной смерти и от холода. Степан охотился. Епишка свеживал туши, носил мясо, строил из шкур чум...

Затем Степан отправил Епишку к жилью, добывать оленью упряжку. Немой ушел и не вернулся. У Степана вышли спички.

Приходилось день и ночь поддерживать костер. Однажды, уже весной, он пошел в тайгу и вернулся к покореженной огнем куче шкур вместо чума. На Чутыме стояла наледь: еще неделя — и лед тронется. Но Степан не стал ждать, отправился по берегу реки пешком. Недели через три, когда большая вода уже скатилась, Степан добрался до Юрт и здесь от отца Жуванжи узнал о том, что круто изменило всю его жизнь: еще полгода назад в России свершилась революция.

Жуванжа рассказал ему: рано утром через Юрты на Зыбун прошли двое. Явно второпях бежали из Рыльска: один даже без фуражки, повязан чем-то и очень смахивает на купца Куперина. Жуванжа до этого видел Куперина давно и лишь один раз, но охотничий глаз зоркий. Степан решил, что, видимо, Куперин, опасаясь за свою жизнь и солидные капиталы, бежал вместе с братом, жандармским полковником, и конечно, не с пустыми руками.

— Проведешь? Ружье отдам! Трехствольное — вот!.. Нельзя упускать этого кровососа!

«Но как же решились идти через Зыбун без проводника Куперины? — подумал Мажоров. — Не обознался ли Жу-

ванжа?» Степан вышел из юрты, чтобы наедине спокойно обдумать план своих действий.

...Эти минуты и сейчас, спустя сорок лет, Степан помнил до мельчайших деталей. Едва вышел он на берег, как увидел километрах в полутора лодку и в ней человек пять с винтовками. «Партизаны! — решил он. — Гонятся за Купериным! Надо немедленно уходить! Надо увести Жуванжу! Без проводника они не смогут преследовать Купериных, и все золото их достанется ему, ему одному!»

Он так и сделал. Но на Зыбуне Мажоров с Жуванжой никого не встретили. Жуванжа уверял: Куперины не могли прийти на гряде раньше их. Они разминулись где-то в пути. В сограх это просто — готовых троп нет.

«Что ж, теперь он справится один», — решил Мажоров и здесь же, на краю гряды, покончил с Жуванжой, а труп бросил в кусты. Чтобы Куперины не вышли позади него, он прошел за кедрач и там, в Сухом болоте, залег.

И все зря!

И сейчас, вороша в памяти события тех дней, Мажоров презирал себя за слабость, за трусость (чего он боялся, скрываясь в Туве, на Камчатке?). Надо было вернуться в Юрты! Сразу проверить, что за выстрелы слышал он, лежа в Сухом болоте? В конце концов, он мог убить и партизан — ведь их на Зыбун уходило только двое!

Мажоров наметил план действий, нашел удобное место для засады. Потом задумался: а если ребята выйдут в другом месте? Или, по неопытности, утопят золото где-нибудь в трясине? Взвесив все, Мажоров решил догнать ребят и последить за ними. Раз они сразу пошли на Зыбун, значит, золото там! И они нашли не «пустое» письмо, как уверяет Нюролька, а точный план. Не случайно скрыли содержание его даже от родителей. Ушлый пошел нардец!

Пожалуй, всего вернее опередить их и отправить к протцам в сограх у гряды. По плану он найдет золотишко и без них. Уж теперь-то он не упустит случай! Золото само плывет в руки...



ПРИШЕЛЕЦ ИЗ АФРИКИ

Щурясь от яркого солнца, Володька озирался по сторонам, оборачивался к Саньке, тяжело хлюпавшему сзади.

— Это что! Вот в горах...

Или:

— Да не брызгайся ты!

Он почти на голову выше Хасана и видит, что осоку, растущую обычно на кочках, неподалеку разрезает поло-са пырея. Значит, там суше. Но просто сказать об этом ему не позволяет сознание воображаемого превосходства. «Таежники! — думает Володька. — Чуть было не струсили...» И он придумывает, как бы задеть самолюбие Хасана, порисоваться перед Санькой.

— Лево руля, начальник! — командует он.

— Почему?

— А потому! Надо чувствовать землю и нюхом, и ногами, — и он первым сворачивает к пырею. Действительно, здесь оказались остатки узкой, но длинной гривы. Не было ни воды, ни кочек.

— Ты смотри, Хасан, и верно! — простодушно восхищался Санька. — Вот это нюх!

На гриве присели отдохнуть. Санька снова забубнил:

— Ка, пока рука, Ока... Слышишь, О ка?

— Я говорил: наш дедушка тоже погиб где-то в Зачуты-мье. Бежал из ссылки и погиб...

Санька достал бересту, повертел ее в руках и сказал:

— Почему с обеих сторон этого «ка» стоит «ел»? И перед «ка» ясно видно полукруглую вмятинку на бересте. Тут было «О» и не простое, а заглавное. Видишь? — поднес Санька бересту к лицу Хасана.

И вот он, отодвинувшись на всякий случай от Володьки, читает письмо по-новому:

«Пол **ковника**догна лина гр **яде** за о **зером**, но меня свал **ил тиф**. З **олото** взял О **ка**, а меня зав **елв** тайгу и

бросил, — скороговоркой выпалил Санька. — Я не ел трое суток...»

— Я тебе дам Оку! — вскочил Володька.

Он рванул Саньку за плечо так, что тот слетел с ног. Между ними тотчас встал Хасан.

— Ты чо? Волчьих ягод объелся? Забыл?

— А что он тут сочиняет? Мой дедушка был большевиком, а не бандитом! Поняли?

— Там же ясно: Ока завел, не ел трое... — упрямылся Санька.

Володька опять рванулся из рук вцепившегося в него Хасана, и Санька примолк. Потом примирительно протянул:

— Ну, ладно, уж и нельзя...

— А что ладно?

Санька, не ожидавший такой горячности от Володьки, опешил.

— Достань! — поддержал Володьку Хасан, кладя ружье и рюкзак на плотный ковер пригнутого пырея. Сел. Рядом с ним на корточках опустился и Володька.

Санька достал бересту. Беззвучно пошевеливая губами, Володька вглядывался в нее и карандашом вносил в свою копию какие-то еле видимые закорючки. Санька с тревожным любопытством косил глаза то на бересту, то на Володькино лицо, Хасан невозмутимо жевал зеленую былинку.

— Трепло ты, вот кто! — прервал затянувшееся молчание Володька. — Во-первых, если бы было «я не ел трое суток...», то в письме это «ел» и «тр...» стояли бы рядом, а тут видишь какой между ними пробел? На целых два слова! И «ка». Разве оно стоит рядом со словом «золото»?... Ты посмотри, Хасан.

— Ну, ладно, Санька прочитал не так. А ты как? Ты что предлагаешь? — И он поднялся, положил бересту в свой рюкзак.

— А я считаю, что сначала надо найти гряду. А там я прочту, не беспокойся!

Гривка кончилась у кустов, в середине которых стояло целое озерко воды. В таких местах после половодья остается много рыбной молоди: щурят, налимов. Нередко попадаются и рыбы покрупнее.

— А давайте посмотрим, может, кто есть? — предлагает Санька. — Тогда взмутим воду и...

И тут Володька вмешался по-своему.

— Вот и пойдй с ними на серьезное дело. Им бы рыбку в мутной водичке ловить!

Кусты обошли. За ними начался зыбкий, качающийся под ногами мох.

— Фур-рс! Фур-рс! — засвистел воздух. Это взлетела пара серых куропаток. Хасан не успел даже сдернуть с плеча ружье, как они исчезли. По краям омшаника густо белела, местами еще вовсе зеленая, клюква. Моховое болото тянулось, видимо, не на один километр, и обходить его — собьешься с пути не хуже, чем в тайге.

— Пройдем!

Но ходьба по омшанику выматывает быстрее, чем грязь и кочки. Это оттого, что нервы и мускулы постоянно напряжены, каждый шаг делается с опаской, осторожно. Поначалу изредка встречались и карликовые березки, черемухи, даже кедерки. Хилые, невысокие, они тем не менее плодоносят. На кедерках зеленеют по две-три шишки, а черемухи густо обсыпаны коричневатой ягодой. Середина болота была чистой, ровной. У последнего деревца ребята присели, сняли рюкзаки.

— Перекусим? — предложил Санька. — Я почищу и обсушу.

— Уже? Быстро ты оголодал! — усмехнулся Володька, хотя у самого тоже посасывало под ложечкой.

Хасан молча достал сухари и банку консервов. Санька выудил из кармана луковицу, Володька — запылившийся кусок сахара. Все разделили, съели.

— Пойдем напрямую? — спросил Санька у Хасана.

— Давай! Где наша не пропадала! — разошелся заморивший червячка Володька и ткнул Хасана в бок. — Ты что все отмалчиваешься? Думаешь, все пооткрыто до нас?

Хасан кисло улыбнулся и принялся вырубать из ствола черемухи палки.

— Мне и своих двоих хватит, — и тут не удержался от искушения поострить Володька. Но уже через минуту он пожалел о своей опрометчивости. Мох прогибался, сквозь него быстро проступала вода; шумно бурлили, вырываясь из-под ног, пузырьки воздуха.

— Са! Ха! — Володька помахал над головой руками, будто ловил невидимые сучья и шлепнулся на бок. Левая нога его провалилась в трясину. Хасан скинул рюкзак, положил на него ружье.

— Крек-с! Крек-с! — вдруг где-то совсем рядом раздался скрипучий деревянный голос. Володька вздрогнул и уже не сводил немигающих глаз с лица Хасана. Он боялся прорвать слой торфяника, лежал неподвижно, ожидая помощи. На свою палку Хасан оперся коленом, а Володьке протянул Санькину.

— Держись!

Оправившись от испуга, Володька ждал, что вот-вот Хасан начнет высмеивать его («Чего же сейчас не отказался от палки?»), но и Хасан, и Санька, казалось, уже забыли об этом. Хасан насвистывал, подражая какой-то птице, Санька жевал серу. А идти Володьке стало намного тяжелей: в сапогах хлюпала грязная вода. Он крепился, старался не подавать вида, но солнце уже припекло по-настоящему, и лицо будто обрызгалось соленой росой. И ноги заплетаются.

— Уже расписался? — искренне удивился Санька.

Несмотря на добродушный тон, слова Саньки кажутся Володьке жестокими, ранят его обидчивое сердце, но он только сопит и время от времени начинает моргать: часто-часто.

— Черт его... пот одолел. Как в Африке.

— А знаешь дергач пешком из Африки к нам придрапал, — вдруг говорит Санька, и Володька пытается понять по тону голоса: сказано это просто так, без задней мысли, или в укор ему, Володьке?

— Не бреши хоть! — угрюмо тянет Хасан. Видимо, и он устал.

— Голову наотрез! — неожиданно горячится Санька. — У самого Бианки читал. Летает он вроде курицы, а бега-ет — на коне не догонишь. Понял?

— Крекс-крекс! — раздалось где-то совсем рядом. «Ага, это и есть дергач», — понял Володька.

— Слышишь? А попробуй найди его?

Говорить не хочется и ему. Во рту сухо, в горле першит. Но болотная вода кишмя кишит всякой тварью.

— Сдохнуть лучше!

Чем, мол, пить такую жижу.

Солнце почти над головой. Ни облачка. Мелкой рябью ввысь медленно уходит теплый воздух. И хоть бы одна бы-линка дрогнула! Бодрый голос дергача (или тут много их?) преследует, звучит как вызов.

— Крекс-крекс...

— Хлюп-с, хлюп-с, — несется в ответ. Из каждого сле-да, бурля, вырывается болотный газ. Володька безучастно смотрит, как лопаются пузырьки, Санька про себя считает шаги.

Хасан молчит. И, не оборачиваясь, идет вперед.

Володька вдруг чувствует, что ему легче, он усваивает какой-то ритм ходьбы. Начинает втягиваться.

Из травы вылетел кулик. Санька, несший ружье в руке, выстрелил ему вдогонку, и кулик перекувыркнулся в воздухе и упал. Санька метнулся к нему. Крылья его, как два надломленных ветром паруса, взлетали вверх и тихо падали; очевидно, он пытался взлететь и не мог. Санька на бегу выстрелил еще раз и промазал. А до кулика оставалось три-четыре шага. Санька в азарте (не до перезаряжания!) рванулся к нему, надеясь добить стволом ружья, и с раз-

лету провалился в трясину. Хочет Санька вскрикнуть и не может; раскинув руки, он запрокидывает назад голову, надеясь увидеть ребят, но трава скрывает от него горизонт до самых облаков. Трава и небо — спокойное, равнодушное. А ноги сковало холодом: вода внизу ледяная. Санька раскрывает рот, хватает воздух.

— Ой! ой! ой!..

* * *

Поиски ребят начались на следующий день. Накануне вечером У Нюрольки снова появился Мажоров; вызвал его из избы, где мать Хасана, Фатима, стряпала, на улицу.

— Смотри, на Чутыме нашел. Прибило к берегу, в кусты.

Нюролька не сразу узнал кепку Хасана. Вертел в руках, словно надеялся: вдруг окажется не его? Но нет, внукова кепка. Фатиме он сказал, что сходят на рыбалку, а сам с Жуванжой проехали у берегов Чутыма вниз по реке, но никаких признаков гибели ребят не обнаружили. Тогда они поднялись выше по течению и встретили Володькиного отца, ехавшего в Юрты. После разговора с ним сомнений не осталось: ребята ушли на Зыбун. И втроем. Отец Володьки вернулся к палаткам, а Нюролька с Жуванжой стали собираться на Зыбун пешком.

— А где же Степан? — хватился Нюролька.

— Сказал, к Пескареву озеру схожу, может, там они, — сообщила плачущая Фатима. — Просил обождать. Ребята, мол, не без припасов пошли, да и с ружьем — не оголодают. Да что-то не верю я ему. Уж шли бы сами.

— «Не верю!» — хмыкнул Нюролька. — А какой ему резон врать-то. Раз искать обещал, значит, искать и станет. Что ему ищо-то в тайге делать?

Но больше всего он, конечно, надеялся на самих ребят, на Хасана. Не маленькие! А и хлебнут горького — поделом. Вперед наука!

Но успокоение не приходило. Мужики-охотники не возвращались с Зыбуна, а что ребятишки? Если шестов хороших не вырубил, то перетонут в первой же трясине. Будут спасать друг друга и все утонут...

Не прошло и получаса — Нюролька собрался и вышел из дому. Но сначала он решил завернуть к Пескареву озеру, обойти его: вдруг и в самом деле ребята там? На худой конец — найдет Мажорова, вдвоем и на Зыбун идти сподручней.

А Мажоров в это время уже шел по свежим следам ребят...

* * *

Саньку спасло ружье. Орудя им, как палкой, он держался, пока Хасан не кинул ему свой шест. Выбираясь, Санька извалялся в грязи и вымок по самую шею, а главное, когда вылез, — обнаружил, что патронташа на поясе нет. И сколько потом ни шарились, не нашли. Кулик же, придя в себя, так и уполз куда-то в траву.

— Лучше б сразу промазать! — сокрушался Санька, стряхивая с рук и ног ошметки тины Ружье Санька передал Володьке, а сам на ходу отжимал свитер. Лицо и руки его расписали ржавые подтеки.

— Как вождь из племени фур-фур, — снова донимал его насмешками Володька. — Не хватает только кольца в носу...

...Вечером Володька «возлежал» на ложе из срезанных ножом кочек, обсасывал косточки бедного дергача, подстреленного Хасаном и сваренного Санькой, и философствовал:

— А он это правильно, что сюда, в Азию, притопал. В Африке разве его съели бы с таким почетом? Для пигмев* это и не дичь вовсе. Им подавай гишпопотама...

Никто ему не ответил.

* Пигмеи — одно из племен Конго.



...Рядом дотлевали хилые талинки.

«Ук! Ук!» — услышал Володька. Но увлекшись, он не обратил на это внимания. Но вот звук повторился: «Ук!» По началу Володька, не задумываясь, решил: Санькин отец колет дрова. И только спустя минут пять сообразил: до Юрт не меньше десяти километров. А лес сильно заглушает звуки. Рубили километрах в двух, не больше. Володька попытался сориентироваться: в какой стороне деревня? Получалось, Юрты на северо-западе, а рубили на юго-западе, совсем в другой стороне. Он разбудил задремавших было Хасана и Саньку, и ребята долго прислушивались к звукам ночи. Володька прижал, залил водой дымившие остатки костра и по просьбе ребят повторил, что за звуки и через какие промежутки он слышал. Хасан взял топор, взмахнул: «Ук!» Ук!» И пояснил: «Это кто-то с двух сторон подрубил деревцо». «Ук!» — это обрубил ветку. Значит, решил Хасан, кто-то вырубил шест. Но зачем это понадобилось делать ночью? Не пойдет же разумный человек по Зыбуну сейчас!

— Вырубали таганок — варить ужин, — заключил свои предположения Хасан.

Но кто? Значит, на гряде живут люди!

— Постой, — ввязался в разговор Санька. — Если там уже гряда, то зачем им таганок? У них же дома или юрты есть...

— Ну мало ли! — отмахнулся от Саньки Хасан. — Рубили и не на гряде. У какого-нибудь озера рыбаки ночуют. Поняли?

КОГДА ЕСТЬ БУЛАВКА

Долго не спал в эту ночь Хасан. Оказалось, просчитались во многом. Не учли, что аппетит будет зверским, а вторых, гряде ребята надеялись найти в первый же день к вечеру. Но вот кончился второй, а грядой и не пахнет. Сухари таяли на глазах: добавить хотя бы хлеба на Володьку впопыхах забыли. Правда, он захватил три банки консер-



вов и полукилограммовую пачку сахара, но из них — свиного печеночного паштета — создали, как полагается, НЗ*.

— А, настреляю завтра куликов! — неожиданно для себя вслух произнес Хасан.

— Ты чего? — привстал уже задремавший было Санька.

— Говорю, поищу завтра куликов.

— Озеро бы найти! — мечтательно протянул Санька. — Настоящее, с рыбой. Там и кулики. И утки...

Непередаваемой трелью раздался безмятежный всхрап Володьки.

— Хасан, а Хасан? — приглушенно зашептал Санька. — А вдруг на этой гряде живут разбойники? Ружье-то теперь у нас, считай, одно.

— Скажешь тоже! Что они тут жрать будут? Разбойники на лесных дорогах были, а тут кто ходил?

— Ну, просто живут, сеют хлеб, рыбачат, а кто зайдет — ужокают.

— Не сочиняй.

— Найдем — всю-всю гряду облазим! — размечтался Санька. — Ведь, если где золото и оружие спрятано, его так просто сейчас не найдешь. Позаросло все...

— Сухарей вот только у нас мало. И с мясом, видишь, — ерунда получается. Может, все-таки лучше вернуться? — неожиданно для Саньки начал он.

— «Забоялся», — решил Санька и неуверенно протянул:

— Засмеет он нас. И в школе...

— Шалопутный он, это верно. Только бы на смех кого поднять. А чо он тогда сам не взял сухарей? Не к мамке пошел!

— Хасан, а Хасан? А если мы найдем много золота, то могут на него специально в Рыльске построить вертолетный завод? Мы так и скажем: искали золото, чтоб больше построить для Севера вертолетов...

— Могут...

* НЗ — неприкосновенный запас.

— Ну вот! А ты говоришь — вернуться!

— Тише! Спи. Завтра видно будет.

Но через минуту-две с юга на север волнами прокатился гром, и Санька опять приподнялся.

— Хасан, а Хасан, а если дождь? И без костра ничего? Зверь не...

— Спи ты! Какой на Зыбуне зверь? А от дождя — не сахарный — не растаешь. — И, помолчав, успокоил: — Над нами, видишь, небо чистое — значит, стороной пройдет.

...Раньше всех проснулся бодрый, улыбающийся Володька.

— Эй, вы р-р! — зарычал он так, что Санька вздрогнул и вскочил, ошалело озираясь. — Вы где — в походе или на даче?

— Чо ты орешь! — протер глаза успокоившийся Хасан. И переспросил: — Где?

Он впервые слышал это слово — «дача».

— Эх, хлопцы! — вместо ответа потянулся Володька. — И жрать же я хочу! Слушай, начальник, давай срубим банку из НЗ. Все равно гряды скоро, а там дичи нащелкаешь.

«Вот и заговори с ним о возвращении, — невесело подумал Хасан. — По ему и до гряды три шага, и рябчиков там навалом...

— Да вы что оба скисли?

Хасан с Санькой молчали.

— Все-таки что на завтрак?

Санька с затаенным любопытством ждал: сейчас Хасан взорвется. Володькина безалаберная беззаботность и смешки над другими давно уже злили не по годам рассудительного, но горячего Хасана. Однако он сдержался. Только решительней и тверже обычного, совсем как настоящий начальник, сказал:

— Во-первых, с сегодняшнего дня ремешки будем подтягивать. И до завтрака по холодку пойдем искать гряды.

Неожиданно и для Саньки, и для Хасана Володька, казалось, даже оживился.

— Искать, так искать. Нечего тянуть резину, — встал он. — Раз на Алтае мы целые сутки одну ягоду ели.

— Подумаешь, сутки!

Санька облегченно вздохнул «Хороший все же парень и не неженка! — подумал он о Володьке. — И весело с ним». Однако Хасана Володькина решимость не обрадовала: «Он думает, гряда вон, за согрой. Добежал, набил рябчиков — и вари да загорай на солнышке». Но винил он за непредусмотрительность все же только себя. И чем беззаботней вел себя Володька, тем большую ответственность за судьбу похода чувствовал на себе Хасан. А ведь он так надеялся на Володьку! Все-таки сын старого геолога и, говорит, был в настоящей экспедиции...

— Ребята! — вскочил Санька. Его слегка веснушчатое лицо расплылось в улыбке, брови удивленно поднялись. — Ребята, у меня есть булавка!

Хасан, приятно вздрогнувший от ожидания, что Санька по меньшей мере увидел дорогу к гряде или охотничий лабаз с едой, сплюнул с досады, а Володька, как балаган-ный зазывала, развел руками:

— Граждане, внимание! Фокус Саньки Жуванжи: суп из булавки!

Санька слишком обрадовался своей идее, чтобы обидеться.

— Мы сделаем крючок и наудим карасей.

Это уже что-то.

— Хэ! — вспомнил Хасан. — Да у меня же есть удочка! И с леской! Помнишь, — обернулся он к Саньке, — мы пошли зорить гнезда, я ее с удилица снял и...

Никто его уже не слушал. Володька, сунув отощавший рюкзак под мышку, брел к кустам, близ которых поблескивало небольшое озерко.

«Легко сказать — наудим, а сколько времени прова-ландаешься? — с каким-то усталым безразличием брел сзади всех Хасан. — Сегодня уже начнут искать», — подумал он о матери, о деде, о Жуванже.



* * *

Есть такое крылатое насекомое — поденка. Три года — тысячу дней и ночей — проводят личинки поденок в темных глубинах озер, копошатся в иле, едят зеленую вонючую тину. И вот наступает день, когда они, обретя крылья, взвиваются над озером. Дикая, пьянящая радость обуревают поденок, и они пляшут, кружатся в воздухе до тех пор, пока одна за другой мертвыми не попадают на воду, на листья кувшинок, на землю. Тогда за их легкие трупики с веселым бульканьем возьмется рыбная мелочь, всякая хищная живность болот.

На поденку и решили ребята ловить карасей. Озеро оказалось нешироким, но длинным и кривым. Почти сплошь оно было затянуто ряской — плавучими зелеными лепешечками с продолговатыми выступами: стебельками и веточками. Листьев у ряски нет. Размножается она до изумления просто и быстро: отломится от стебелька-лепешки лепешка-веточка и станет из одного растения два. Попробует рыбак бороться с ряской — разгоняет, рубит ее веслом, да только поможет ей. Еще быстрее и плотнее затягивает она озеро. А опустятся утки — прилипнет ряска к лапам, перелетит с ними на другое озеро...

Много раз — и в траву, и на «чистинки» забрасывали удочку ребята, но поплавок, где касался воды, там и замирал.

— Нажрались они поденок, что ли?

— А давайте на личинок комара попробуем? — предложил Хасан.

И Володька и Санька посмотрели на него с удивлением: чего чудит человек? Какие личинки? Где их возьмешь?

— Смотрите! — склонился Хасан к застойной воде у самого берега так, словно собирался пить.

...Вьются, спуют взад-вперед волосатенькие червяки и чуть различимые в ржавой воде куколки с рожками. Это личинки и куколки комаров — страшного врага таежного края.

— На них разве только гольянов... — неуверенно протянул Санька.

— А что — озера с гольянами на Зыбуне должны быть.

Меж тем Володька поймал стрекозу и какого-то жучка. Для приманки для верности стрекозу насадили целиком.

— Сразу не дергать! — через каждые две-три секунды предупреждал Санька Володьку. Но поплавок мирно покоился на лепешечке рыски. Саньке вспомнилась щедринская сказка о карасе. И он, перевирая события и присочиня, рассказал ее.

Володька понял с его слов лишь одно: и в литературе карась известен как ленивая, трусливая и вообще глупая рыба.

— Это уж точно, — поддержал его и Хасан. — Чуть где-то стук-бряк — он мордой в ил, в тину. А после грома так сутки или двое и не вылезает из ила. А ночью слышали как грохотал?

— Всю жизнь дрожит, жрет тину, а для чего? Поденки вон хоть на один день взлетают к солнцу, радуются так, что себя не помнят...

Володька выдернул удочку. Стрекоза зацепилась за рыску и осталась на ее лепешечке.

— Сорвалась?

— По-моему, карась не лучше рыски, — с философским спокойствием заключил Володька, сматывая удочку.

Ребята ненавидели карася. И презирали рыску.

ЧЕЛОВЕК ИДЕТ К ЦЕЛИ

Бывает, люди долго поднимаются в гору; идут по каменистым тропам, а то и вовсе без дорог, поддерживая друг в друге силы словами: «Это последний перевал. Преодолеем — и все...» Однако с вершины этого перевала им открываются не только новые горизонты и дали, но и новые, более трудные перевалы. Цель по-прежнему где-то впереди. И пойдешь ли ты упрямо к цели, к главному перевалу всей



твоей жизни или разобьешь свою палатку у одного из первых, уже решается и сейчас, когда тебе лишь четырнадцать лет. На пути человека жизнь ежечасно ставит большие и малые «перевалы» — через одни ты проходишь, даже не замечая их, у других, бывает, пасуешь, ищешь причин для остановки. И причины находятся...

Совершенно не думая об этом, и Хасан, и Санька, и Володька, каждый по-своему, испытывали это «чувство перевала»: все они за каждой согрой рассчитывали, наконец, увидеть гряду, лес, озеро с холодной и прозрачной водой. И еще что-то таинственное, волнующее... Надежды, однако, не сбывались. Но росло и упорство: «Сколько шли, мучились — и зря?» — думал один. «Дома все равно попадет, но меньше, ежели гряду найдем», — рассчитывал другой. «А что скажем на пионерском сборе?» — волновало третьего. И никто не хотел первым заговорить о возвращении. Никому не хотелось оказаться слабее или трусливее других. Вот почему время близилось к обеду, а никто из ребят не заговаривал даже о завтраке. Каждый, пока были силы, старался отдалить нелегкое решение, каждый надеялся, что цель — рядом, надо только сделать к ней еще один шаг, еще шаг, еще...

Будь любой из троих один — давно бы вернулся. Не будь у них определенной конечной цели — они вернулись бы и втроем. Но все складывалось так, что они не могли остановиться на полпути: их было трое, трое пионеров, умеющих ценить и жар костра и тень походной палатки, — разных и в чем-то схожих. И у них была цель. Самими открытая, выношенная, своя, может быть, первая настоящая цель в жизни.

А идти становилось все тяжелее. Перебрались через одну трясику, а за согрой, тянущейся по краю неширокой гривки, уже виднелась другая — с поблескивающими лунками полузатянутых тиной, мхом и резунном озер. Опять начали доносить комары. Володька совсем скис.

Гривка тянулась круто в сторону, и он предложил пройти по ней, поискать дорогу посуше. Убеждал:

— Хуже этого некуда.

Прошли с километр по-за кустами меж сухих кочек, темневших на земле, как бородавки, И Санька вдруг крикнул:

— Смотрите, пихта!

Невеселое дерево — пихта. Она любит таежную глушь, сырость. Неужели столько времени они петляли где-то по краю Зыбуна, близ тайги?

— Придется залезть, — вздохнул Хасан. — Может, тайгу с нее видно?

Санька уже сбросил рюкзак, сдернул бродни. В чем чем, а в лазанье по деревьям нет Саньке равных во всем Рыльске. Не успели Хасан с Володькой напиться пахнущей прелыми листьями и глиной воды, как Санька добрался до вершины. Слегка, ради шика раскачиваясь, выкрикивает:

— Есть! Лес! Близко!

* * *

Степан Мажоров без труда обнаружил следы ребят. Пройдя за ними немного, он понял, что если пойдет напрямик, через затопленные водой пади, которые придется перебрести, то выиграет не менее суток. Так он и сделал.

Подыскав место, где он ляжет в засаду, Степан осторожно подрезал ветки кустарника, мешавшие стрельбе, и отправился на охоту. До ребят, прикинул он, далеко, выстрел не услышат. А консервы Степан решил приберечь: вдруг ребята проплутают, и не один день придется ждать их, не разводя костра, с минуты на минуту? Несколько раз Степан намеревался отойти подальше, однако ноги сами заносили его то вправо, то влево, и он весь день прокрутился около скрадка. У первой же ямы с водой он развел огонь и сварил суп из мясных консервов с гренками вместо хлеба. Потом долго сидел у костра, думал о своей нелепо сложившейся жизни, вспоминал о том, что пережил он в этих краях сорок лет назад...

Только предгрозово́й ветер, пахнув прелой листво́й, вернул его к действительности. Оба патрона в стволах ружья были заряжены дробью. Мажоров вынул их и вставил новые, заряженные пулями.

А на гриве, куда вышли ребята, наперебой лопотали осинки, качали головами одуванчики. Речными волнами заперекатывался желтый ковер лютиков, или, по-народному, куриной слепоты. В лица пахло холодком, свежестью, запахом дальних лесов. Солнечные полосы блекли, растворялись в сумраке одна за другой.

— Шалаш давайте! — воскликнул Хасан, ломая все, что попадетс́я под руку: и тальник, и вереск, и можжевельник. Санька надламывал и склонял навесом густую поросль ивы.

— Зачем? — усмехнулся удивленный суе́той ребят Володька. — Встанем все под пихту. Вон кака́я!

Не отрываясь от работы Хасан крикнул:

— А молния...

Он не договорил. Где-то в стороне Юрт с грохотом рванули небесный шелк, и ломкий зигзаг белого огня расколол почерневший северо-запад. Володька рванулся с места, вошел в азарт.

— Давай, давай!

Волнами — одна другой темнее — набегали тени. Налетел, тряхнул ветвями ветер и на свинцовую лужу за пихтой легла желтая пороша рыжих иголок. По лютиковому коврику пробежали редкие крупные капли...

— Лезь! — командует Хасан. Володька кряхтит, лезет первым. Санька еще волокет охапку ивовых веток. Бросает сверху, кричит:

— Чур, мне в середку!

Ребята жмутся друг к другу; тучи рвутся, трещат по всем швам. Лужа похожа на опрокинутую терку. Уже не капли, а водяные шнуры падают, разбиваясь о землю. Навстречу им взлетают фонтанчики грязных брызг, и десят-



ки ручейков, соединяясь в потоки, подхватывают иссеченные грязноватые лепестки лютиков, перекатываются через опципанные стебли одуванчиков. Пышный белый наряд их, перемешанный с ржавым торфом, грязью, стекает в болото.

Навес уже не спасает; холодные струйки текут на лица, за воротники. Ребята ежатся, толкают друг друга. Хасан заворуженно следит за пляской фонтанчиков-брызг, за веселой работой ручейков. Санька прилаживает над головой свой рюкзачишко. Володьку одолевают мысли одна мрачней другой.

До чего же слаб человек! Под дерево не стань — звезданет молния. Кругом вода, и каждая лужица кажется бездонной трясиной. Побежишь — так и смотри, ухнешь — досыта наглотаешься грязи, вонючей тины. Да и выберешься ли? Может, заплутали уже. Приешь все, что есть, а дальше?

...Но гроза прокатилась. Ветер быстро разогнал остатки туч, и солнце засучив рукава-лучи, с таким жаром взялось за дело, прихорашивая землю, что Володька невольно забыл о своих страхах.

От его лица и кепки струился пар. Он победно оглянулся вокруг. Молния? Не становись под высокое дерево. И дома на печи кирпич может на голову упасть. Трясина? А не беги по ней, не трусь. Кончился дождь — смотри. На то глаза. Без глаз и на городском асфальте живо свернешь шею. Заплутаешь? Есть звезды, деревья. Умеешь читать небо или землю — выйдешь. Не умеешь — молчи, учись, выведут. Трое — не один. А с голоду с ружьями в тайге мрут только в сказках.

На траве, особенно на цветах, сверкают, прозрачные капли. Володька сразу ощутил на лице грязь — следы болотных брызг. Раскинув над лютиками ладони, он быстро свел их в пригоршню.

— С ума спятил? — остановил его Хасан. — Кто же умывается водой с куриной слепоты?

— А что?

— Каждый вечер слепнуть будешь, вот что!

Володька не поверил. Но умываться не стал.

— Пошли! Нечего терять время, — нашелся он. — Мы у цели...

Хасан молча согласился. Гривка заметно расширялась, стали попадаться островки молодого пихтача, затем потянулись заросли вереска.

Лес оказался старым кедром.

— Ура! — вопил Володька. — Я же говорил!

А Хасан приуныл: «Заплутали, — решил он. — Дали крюк по Зыбуну и вернулись в тайгу же. Только куда? Где мы теперь?»

— А может, это и есть та гряда? — неуверенно высказал затаенную мысль Санька.

Теперь это была уже высокая сухая елань. Кое-где на несколько метров поднимались холмики — то сплошь затянутые мхами, то скрытые порослью кедра.

Решили позавтракать на ходу, всухомятку, чтобы быстрее добраться до кедрача, разлаписто темневшего километрах в двух.

— Кедрач! Видите? — захлебывался Санька, то и дело вспоминая отца, бабушку Эд, интернат. — А где кедрач, там и зверек, и птица. Сюда и уходила белка. Значит, это и есть та гряда!

И все-таки Хасану не верилось: отчего же не могли добраться другие? Оттого, что ходили в одиночку?.. Хасан мысленно оглядывался назад: где и почему могли гибнуть другие? Но размышление об этом сразу привело к догадке: а разве кто-нибудь мог идти точно там, где прошли они? Ведь они брели без троп, полагаясь лишь «на нюх», на чутье. Долго блудили, петляли. И, может, именно это спасло их. Они случайно нашли тот единственный, прерывистый путь к гряде. Но тогда обратно не выйти: ведь следы, и без того запутанные, окончательно уничтожили дождь и ветер. Мысль эта настолько удручала Хасана, что он не решился высказать ее товарищам. Ведь это он повел их на верную гибель...

НАД КИПЯЩИМ ОКЕАНОМ

Да, это и есть таинственная гряда; теперь уже никто не сомневался. Было видно, что она круто расширяется, достигая у горизонта нескольких километров. Часть ее и рядом с кедрачом оставалась голой.

— Камень и песок. Диабаз, — определил Володька. То и дело на пути встречались ломаные выступы каменных глыб, то замшелых, с пучками хилой травы, выбивающейся из трещин, то отполированных до блеска. — У какого дерева могли они зарыть золото?

Никто ему не ответил.

Голые плешины, покрытые лишь желтыми кедровыми иглами, местами перехватывались зелеными поясками можжевельника, папоротников, да изредка у сгнивших валежин голубели круглые наросты мхов. И лишь в низинках — впадинах, куда обильно стекала дождевая вода, буйно выбивалась вверх, к солнцу, трава, густыми гнездами всходила кедровая поросль. По краям гряды робко жались друг к другу тонкие осинки; грубые листья их при малейшем дуновении ветерка начинали тихо роптать на свою судьбу.

— Лопочут, — прошептал Хасан, словно боялся спугнуть их веселую стайку.

И опять долго шли, утихомирившие величием вековых кедров, усыпанных шишками.

— Как гранаты-лимонки.

Это говорит Володька. Лет пять-шесть назад он, бывало, в десятый раз рассказывает сверстникам содержание фильма, в котором есть повод для любимой, коронной фразы: «Тут матрос ка-ак выхватит гранату-лимонку». Девочки шести-семи лет жмутся в страхе, а Володька вскакивает, повторяет движение матроса...

— Еще без орехов они, — после паузы шепчет Володьке Хасан.



Тихо на гряде Хорошо, видно, сторожат покой ее сотни болот и трясин Зыбуна. Внимание, слух у ребят, однако, напряжены. Ружье Хасан несет на руке. Сильнее всего на свете ему сейчас хочется услышать испуганные хлопки крыльев куропатки, увидеть беззаботно прикорнувшего под кустом зайца. От предвкушения свежинки он то и дело глотает слюнки. Но дичь нужна Хасану не только для еды. Она нужна и «для авторитета», который поставил его во главе «экспедиции». С минуты на минуту он ждет ехидное Володькино нытье. Но тот молчит. Рот его полуоткрыт, на носу нависла капелька пота. Ему тяжело.

— Пшена надо бы взять, вот что! — начинает на этот раз Санька. — И мяса б сухого. Где вот она, твоя дичь? Не привязал!

Молчит Хасан. Что на это скажешь? Пустынно, грустно на долгожданной, не раз в ребячьих снах исхоженной гряде. Только изредка вспорхнет с пути какая-нибудь невзрачная пичужка, пересядет на ветку чуть повыше. Хасан следит за ее беззаботными кокетливыми прыжками, запрокидывает голову.

— Б-бах! — гулко разносится по лесу.

— З-зачем ты ее? — опешивает Санька.

Но на плешину под кроной кедра падает не пичужка, а... белка.

— А ее зачем? — теперь уже интересуется Володька.

— Варить станем.

— Варить? Белку?

— А что? Не ел? Пальчики оближешь!

— Да ее ж не едят!

— Скажешь тоже! — И уже тише добавляет: — Мало ли что... Чем питается белка? Не падалью? Нет. Орехом, грибами. Самый чистый зверек. И мясо у нее, точно говорю, очень вкусное. Один эвенк говорил...

— Тогда надо настрелять белок больше! — загорелись глаза у Володьки.

— Настреляешь! — усмехнулся Хасан. — Не очень-то настреляешь ее в это время да еще без собаки. Это уж так... случайно.

Тут же разожгли костер. Суп из белки, в самом деле, оказался вкусным. Жаль только, маленькая она...

Теперь ребята идут по краю гряды. Здесь больше света, солнца и вероятности поднять зайца или куропатку. Шагаются и дышится легко, ноги то мягко погружаются в мох, то похрупывают сухими иголками. В осинничках густо растут душистые кусты иван-чая, огненные сгустки «татарского мыла». И Зыбун отсюда кажется уже не страшной хлябью, а цветущим лугом. Изредка Санька находит разноцветные сыроежки и по-братски делится с Володькой. Ни белых грибов, ни масленников еще нет. Рано.

Хасан изображает из себя сытого... Ему неудобно: ведь это по его вине не взяли ни сухого мяса, ни вяленой рыбы.

— Смотрите, озеро! — вдруг закричал Санька, взобравшийся в поисках сыроежек на холм повыше. — Прямо на гряде!

Озеро в каменных разломах и совершенно чистое. Ни травинки! Ребята спустились к воде. Санька зачерпнул... Горячая!

Это уже что-то. Не белка в супе и не кедрач, которого немало и в Причутымье.

— Здо-орово! — восхищается Володька.

— А помнишь, Санька, — говорит Хасан, взбираясь на замшелую каменную площадку, чуть не нависающую над водой. — Помнишь, бабушка Эд говорила: «Не то дым, не то пар». Значит, ключи на дне озера такие бьют, горя...

Жуткая оторопь охватила Хасана; он чуть не запнулся за отбеленный временем череп, мертвым оскалом зубов впившийся в землю, видимо, надутую ветрами на камень. Рядом, в буйно разросшейся меж ребер траве, лежал второй огромный скелет. Одежда истлела, и остатки ее размыли дожди, разнесли ветры. Лишь на позвоночнике того, что поменьше, чернел тоже сгоревший от времени застегнутый,

однако, как положено, ремень, да в ногах торчали подошвы кованых сапог.

— Р-ребята, — еле выдавил Хасан.

Хасан и Санька смотрели на скелеты с пяти-шести шагов, лишь Володька как ни в чем не бывало обошел их, поковырял носком сапога землю, даже сострил:

— Без белья, а в портуpee!.. Да идите вы ближе! А то дрожат, как осиновые листья. Они?

— Кто? — шагнул вперед Санька. — Дед наш погиб где-то здесь.

— Тут эти... Епишка и полковник.

— На черепях у них не написано, — окончательно освоился Санька, хотя за нарочитым ухарством слов угадывалось волнение и до конца не исчезнувший страх.

— Смотри, пистолет! — склонился Володька к скелету поменьше.

Металл уже произвела ржавчина, однако можно было ожидать худшего. Видимо, его много лет предохраняла деревянная кобура, трухлявые остатки которой под ним еще лежали.

— Возьмем, отчистим, точно? — предложил подскочивший Санька. — В музей сдать можно. И фляжка! Смотри, Хасан, стеклянная фляжка!

— Бандитский пистолет — и в музей! — наконец пришел в себя и Хасан.

— А ты откуда взял, что бандитский?

— А оттуда, что тот вон, длинный, — немой Епишка. Говорят, он метров двух был. Видишь? Его полковник забрал в проводники.

Володька, до сих пор молча осматривавший скелет, вдруг воскликнул:

— А их убили не партизаны!

— А кто же еще?

— Если б партизаны, то оружие и патроны они бы взяли. Что-что, а уж оружие...



Володька обшарил все вокруг, кое-где разрыл землю, постоял и высказал такое предположение:

— Было у полковника золото или не было его, он все равно не доверял Епишке, батраку, боялся его. И про себя он, конечно, давно решил: как пройдут Зыбун — пристрелит проводника. Зачем ему свидетель? Да и с едой, может, было туго. Когда Зыбун остался позади, он, наверно, не мог и спать, думал: «А если этот немой надеется сделать с ним то же самое? Вон какая туша — навалится и... Может, он вовсе не немой, а неизвестно кто». Одним словом, полковник не выдержал и в затылок его... Видите, дырки в черепе?

— А кто ж полковника кокнул? — с недоверием прищурился Санька, уже невозмутимо нажевывающий серу.

— На костях у него следов пули нет.

— А в сердце костей не бывает.

— Ты думаешь, он сам себя? Этого не могло быть, — авторитетно заключил Володька.

— А я и не сказал, что сам! — горячо запротестовал Санька. — На ремне Епишки — видите, он расстегнут! — и висела эта фляжка со спиртом. Полковник снял ее, отвинтил — видите? — и тут же хлебнул. Все же проводника своего убил, не собаку. Хлебнул спирту, да тут и трахнулся чуть не на Епишку. Спирт был отравлен... очень таким ядом... Иначе он хоть отполз бы от мертвого Епишки. И фляжка — видите — так и валяется под ним.

Но тут сразу и Хасан, и Володька засыпали Саньку вопросами. А где же тогда золото? И откуда у него яд, да еще такой сильный? Кто ему дал, где когда, зачем? Знал ли он, что спирт отравлен?

— Этого я не знаю, — откровенно развел руками Санька.

Хасан с удивлением посмотрел на Саньку и, пожалуй, с уважением за это необъяснимое умение его фантазировать так, что не хочешь, а веришь. И даже когда чувствуешь, что вранье, хочется верить. Или придумать что-нибудь о том же самому. Нет, не зря Саньку назвали Ходячей гипотезой!



Неожиданная находка отодвинула, было, озеро на второй план. Теперь, когда история гибели полковника была установлена Санькой и принята Володькой и Хасаном, все тотчас вспомнили об озере. Но Володьку уже не манили тайны Зыбуна.

— Поись бы чего, — жалобно протянул он.

Остро ощутил голод и Санька. Договорились сначала пойти добыть что-нибудь поесть. Хасан распределил обязанности. Он пойдет на охоту. Володька с удочкой отправится на ближнее «холодное» озеро, а Санька к лесу, разведет костер и на всякий случай сварит грибовницу.

— Долго, — вздохнул Санька.

Володька грустно посмотрел на Хасана.

Хасан почесал затылок. Все ясно! Все «за»!

И ребята мужественно съели последний сухарь. Остался НЗ — печеночный паштет — да немного сахара и соль.

* * *

Приближение грозы заставило Степана искать убежища в кедраче. Дождь начавшийся неожиданно, захватил его в пути. В одну минуту он промок до нитки и хотел вернуться — теперь, мол, все равно, но до кедрача добежал, чтобы обдумать все спокойно под защитой могучих кедровых лап. Ход его мыслей был, примерно, таков.

Гроза захватила ребят где-то на Зыбуне; возможно, они заплутали надолго. Во всяком случае сейчас по моховым болотам и трясинам идти нельзя, пока не рассосутся, не испарятся дождевые лужи. Это задержит ребят на сутки, не меньше. Зачем ему сидеть в сырой ложбине, мокрым? Чего доброго, еще схватишь воспаление легких. Он решил развести костер, обсушиться, сварить обед. Чтобы дым не был виден с Зыбуна, когда гроза кончилась, Степан ушел на западный склон гряды, за кедрач. Здесь он сварил суп с консервами. Солнце, тепло костра да сытная горячая пища

после трехдневной еды всухомятку и холодного душа разморили усталое тело Степана, и он так уснул, что не услышал даже выстрела, которым Хасан убил белку. Впрочем, до ребят было не меньше двух километров, а в лесу, особенно днем, звуки далеко не распространяются.

Степан проснулся лишь под вечер. Голодный, но готовый бодрствовать хоть всю ночь.

* * *

Вечером Санька подозрительно часто и долго пробовал грибницу — на соль, на готовность и просто так, вкусна ли. На второе и третье предполагался чай...

К НЗ, однако, не притронулись.

— Я слышал, что глубоко-глубоко в земле огромная-огромная жара, такая, что даже металлы и камни кипят, — заговорил вспотевший у костра Хасан. Санька понял, к чему он клонит, перебил:

— А знаете, вдруг с миллион лет назад был здесь горный хребет, вроде подводного хребта Ломоносова*, а потом он осел, опустился, как Атлантида**, и осталась над землей только самая верхушка его. А оседая, разломился он, и по трещинам пошел вверх пар, горячая вода. В земле воды этой — реки. И может, когда-нибудь откроют на земле еще один, подземный, кипящий океан...

Он говорил, глядя куда-то поверх голов ребят, словно и впрямь видел все, о чем рассказывал.

За дровами идти никому не хотелось. С горем пополам вскипятили чай. Медленно, молча тянули пахнущую прелыми листьями воду.

— Надо бы весь сахар в НЗ, — запоздало посоветовал Володька. «Ну что бы взять кусок вяленой нельмы!» — думал Санька.

* Подводный хребет в Ледовитом океане.

** По древнему преданию, огромный остров в Атлантическом океане, населенный культурным и могучим племенем атлантов, который в результате землетрясения погрузился в океан.



— Мяса бы сухого, — вздохнул Хасан.

— Давайте рассказывать анекдоты, — предложил Володька. Он озорно и весело заглянул в лицо одному, другому. — Чай с анекдотами! Здорово!

— Я не знаю анекдотов, — смутился Санька. — Но запоминаю их, — поправился он.

Солнце тихо сползло за согру, золотя лишь верхушки ив. Припорошенные золой, медленно дотлевали угли. Остатки чая остывали в кружках.

— Ребята! Вспомнил! Летчик рассказывал, — вдруг воскликнул Санька и от волнения даже разлил чай. — Слушайте. «Однажды самолет догнал маленький зеленый вертолет, сбавил скорость и говорит ему:

— Эй, братец, кто ж так изуродовал тебя? Чего доброго, орел примет тебя за жирную стрекозу и проглотит.

Самолет захохотал, но вдруг почувствовал, что горячее кончилось. Он сделал круг, другой и врезался в болото. Повис над ним вертолет и спрашивает:

— Что ж ты, братец, при твоей красоте и скорости сел в вонючую лужу?

Но никто ему не ответил: внизу лежала лишь грудa металла...»

Мечтая стать летчиком, Санька не в первый раз выказывал свое преклонение перед вертолетами, но почему-то только сейчас Хасану показалось это нарочитым, рисовкой: подумаешь, летчик нашелся! Где-то в глубине души давно жило чувство обиды за тайгу, за профессию отцов и дедов, неуважение к которой сквозило в Санькином увлечении. Поначалу Хасан намеревался было рассказать веселую историю о трусливом медведе, но это новое чувство воскресило в памяти полузабытую притчу о куропатке, изменившей своему племени.

Сумерки сгущались. Все быстрее прорезывались в небе звездочки. Приглушенной и все-таки громче обычного зазвучал на притихшем болоте неунывающий голос Хасана:

— В сетях, растянутых для просушки, рыбак поймал куропатку. Заплакала она и говорит: «Не убивай меня, и я заманю в твои сети очень много куропатою». Рыбак ответил: «Я хотел освободить тебя, в это время люди не ловят полезных птиц. Но ты сейчас умрешь, потому что ради спасения собственной шкуры предаешь свое племя». И рыбак свернул ей шею...

— Крекс! Фур-с-с! — донеслось из-за согры.

— Дергача кто-то спугнул, — прошептал Володька.

— Это он сам... набрел на куропатку, наверно.

— А знаете, по-моему, здесь надо спать по очереди, — и Володька наговорил такого, что все притихли, боясь проронить слово.

Тянуло сыростью, прохладой. Где-то тихо булькала вода. Теперь разговаривали только шепотом. Бросили жребий. Кому за кем дежурить. Первому досталось Володьке. Он взял Хасаново ружье и отполз в ближайший куст, замаскировался. Прислушиваясь к звукам, — а жизнь окружающих гряды болот не замирала всю ночь, — крутил головой, вглядывался в наползающий с Зыбуна туман.

Костер давно погас, и лежать было зябко, по телу пробегала дрожь. Володька ерзал, сжимался, дул на стынущие пальцы. Хорошо еще, что кожанка предохраняла от сырости.

В эту ночь он впервые пожалел, что пошел на Зыбун. Он и раньше думал не о золоте — просто увлекал сам поход в компании сверстников, вольная, полная приключений жизнь под открытым небом. Теперь Володька думал только о возвращении домой. Он не признался бы в этом даже самому себе, мысленно спорил то с Хасаном, то Санькой, но все его существо хотело сейчас одного — скорей бы кончалась ночь. Завтра же они отправятся обратно...

Мажоров не спеша собирался, прислушиваясь, не выдают ли себя ребята стуком или криком. Спустился ниже, навстречу ползущему с болот туману, с наслаждением

умылся росой, обильно оседающей в венчиках лютиков. Затем проверил, не выкатились ли пули — одна, он помнил, сидела некрепко — и, стараясь не брякнуть котелком о ружье, отправился на поиски ребят. Он пересек гряды поперек; здесь она была еще неширокой — километра полтора, но никаких следов ребят не нашел. Рассудив, что на ночь они должны остановиться где-нибудь на опушке леса, он отправился по краю гряды, чтобы по-за сограм пройти за озеро к ельничку.

Едва он вышел из кедрача, как до него донесся и стук — кто-то брякнул котелком — и голос. Говорил один, — монотонно, как шмель. «Сказочками пробавляются», — решил Мажоров. Мысленно он уже не раз расправился с ними, и сознание того, что сейчас, через несколько минут, он пристрелит ребят, не волновало. Он раздвигал кусты, высматривая свои жертвы, как азартный охотник — зверя и птицу. Большую поляну, «чистинку», он обошел стороной, по-за согрой. Ступал осторожно, стараясь не хрустнуть сучком. Однако едва добрался до вереска, окружающего ельничек, за которым сидели ребята, как вокруг стало твориться что-то необъяснимое. Степан знал: после грозы небо очистилось, и ночь, ожидал он, будет лунной и звездной. Но едва солнце закатилось, как землю стала окутывать такая мгла, что не только заозерные холмики, но и деревья в двух шагах уже не различались. Мажоров брел на ощупь в ельник, выставив перед собой ружье и отводя ветви кустов свободной рукой. Что же случилось на гряде? — запрокинул он голову, всматриваясь в небо. Протер глаза и понял: куриная слепота! Он перестал видеть ночью. Мажоров знал: нужны витамины А и В₂. Но где взять их? У него ничего нет, кроме сахарей и консервов...

Мажоров, как заяц, забился под куст и лег.

Вспомнилось, как он ночевал на Зыбуне с Жуванжой. Проводник нарезал ножом кочек, настлал их рядами, развел костер. Тепло, удобно. Однако утром Степан еле встал: ноги ломило, болели плечи и руки.

— Жуванжа, донеси и мой мешок — что хочешь, куплю, — попросил он проводника.

— Припасу дашь? — оживился тот. — Ружье молчит. Шибко худо...

Все пообещал ему тогда Степан: и дробь, и порох. Знал: не охотиться больше Жуванже, не виться дымку над его чумом.

И теперь страх охватил Мажорова: не судьба ли привела его через сорок лет к могиле убитого? Суждено ли обратиться ему отсюда?.. Но он подавлял, глушил страх торопливым шепотом:

— Но ведь золото! Столько золота! Не было в Рыльске человека богаче Куперина...

ГИМН ГИПОТЕЗЦЕВ

— А ну-ка, где письмо? — чуть свет разбудил Хасана так и не уснувший в эту ночь Володька.

— Какое письмо? — не сразу пришел тот в себя. Затем достал аккуратно завернутую в тряпочку бересту. Хотя ребята сняли три копии, но копии копиями, а при чтении письма на месте все важно: какой где пробел между буквами и вообще... Взглянул и ясно. А то с копией гадай: так — не так...

Володька начал рассуждать:

— Допустим, партизаны нашли полковника и Епишку, когда оружие поржавело... Пусть, просто забыли его. Но почему они спрятали золото на гряде? Они должны были понести его с собой в отряд. Точно?.. Тогда зачем они пишут о гряде, озере, каком-то ельнике?.. Выходит, они его все-таки где-то закопали. Ребята, а может, они указывают ельник на берегу Щучьего озера?

— Тогда оно называлось Пескаревым, — вставил Хасан.

— Они зарыли его, когда их совсем свалил тиф. Зарыли где-то у озера, — предположил Санька.

Володька подал Хасану свою копию с текстом, подписанным к сохранившимся на бересте буквам простым карандашом.

«То **варищи!** Пол **ковникане** догнали. На гр **яде** у о **зера** нас свал **ил тиф.** Б **олотом** вышли **набольшой еловый** мыс. По **кабудем** в **ельнике**, на **тропе.** Ждем помощи. Если что — про **щайте...**»

— Ну, и так далее. В конце они наверняка указывали, где, если не поправятся, оставят оружие и, может, письма родным. Поняли? — с победоносным видом посмотрел на товарищey Володька. Купца с полковником и Епишкой, сами видели, нет. Скелета-то два. Значит, никакого золота и не было.

Весь поход в глазах Саньки как-то принизился и обесцветился.

— А может, попробуем? У ближнего дерева? — не сдавался он. — Помните, толстый-претолстый кедр на отшибе стоит...

Без энтузиазма воспринял Володькино толкование письма и Хасан. Все, конечно, подходит, да только письмо получилось какое-то неубедительное и очень уж спокойное. Неинтересное. Возвращаться, не копнув нигде земли, не хотелось.

— «олото» надо читать не «золото» а «болото». Ну и пусть! Точно? Что золото? Подумаешь! — разошелся Володька. — Мы открыли целую Зыбунью с горячей водой! Это, может, важнее всякого золота. Возьмут и проведут по нашей гряде дорогу в Зачутымье. Даже железную. Парников здесь настроят — целый совхоз. И, может, санаторий. А что? Думаете, зря в Зачутымье нефть ищут? Ничего не зря! Она есть, только папа не знает, где точно...

Ну и мастер же на фантазии Володька! Санька даже рот раскрыл, размечтался. Словно волшебник, Володька пересадил Саньку с одного ковра-самолета на другой и вот летит он с ним в будущее своей Зыбунии...

Однако сколько ни сиди, ни мечтай, а домой возвращаться надо. И чем быстрее, тем лучше. Володька так и сказал:

— Пока не поздно, давайте сматывать удочки.

Но как только разговор зашел о возвращении, тотчас нашлись неотложные дела. Во-первых, надо дать гряде название.

— Так и назовем — Зыбуния, — предложил Санька. Он уже проголодался и спешил.

— Чушь! — безапелляционно заявил Володька.

— Ничего не чушь! Есть же такой остров в Тихом океане — Океания?

— Океания — это звучит! И она обитаема.

— И ты сочини новую гипотезу: столько-то тысяч лет назад здесь от горячих ключей было тепло, как в Африке, и жило могущественное племя гип-гип или там-там...

— А что? И это надо проверить.

— Знаете? — осенило Хасана. — Назовем гряду Гипотезией! А, Санька?

— Поставим у озера флаг, — подхватил Володька, — зароем под ним фляжку с письмом: когда, кем открыта, и все такое.

— Напишешь! Бумаги-то нет! — буркнул Санька. Он решил, что те просто вышучивают его.

— На бересте! Пошли!

Обняв Хасана и Саньку, Володька потянул их к озеру. Он запел, импровизируя:

Всегда идем,
Всегда втроем.
Мы все изроем,
Мы все откроем,
Мы все найдем!
Всегда идем,
Всегда втроем...

Санька подтягивал. Ему даже расхотелось есть.

— Знаете? — остановился Володька, когда ребята взобрались на самый высокий холм у озера. — Это будет гимн Гипотезии!

Взгляд Саньки упал на кости, белевшие в траве на соседней каменистой площадке. Нет, он не хочет оставлять здесь свой скелетишко.

— Поись бы...

Его уже не вдохновлял даже гимн гипотезцев. Что это за страна, которая не может накормить трех своих открывателей! Не достойна она ни флага, ни гимна!

— Надо идти обратно, — уже тоном старшего сказал Хасан.

— С одной банкой? — обернулся к нему Санька. — Голодовки пионерскими ступенями не предусмотрены.

— Это что, острота? — разулыбался Володька. — Когда съедем консервы — будем петь гимн Гипотезии:

Всегда идем,
Всегда втроем...

Впрочем, открытие новых земель необязательно. Даже пионерам третьей ступени. Я закрываю Гипотезию!

Володька вошел в свою роль...

* * *

Внешне, казалось, поведение и отношения ребят остались прежними, и все-таки каждый чувствовал, что во многом друг на друга, да и на самих себя они смотрят иначе, чем несколько дней назад. Хасан Саньку и то видел другим. Вспомнив о совместной охоте, он теперь поверил, что Санька может стать хорошим охотником, но только наверняка не захочет. Выучится на летчика. Хасан легко представил Саньку даже в космосе. Володька, конечно, станет геологом. А вот для него, Хасана, жизнь тайги полна волнующих звуков и запахов, маленьких тайн, и разгадывание их увлекает, радует. Каждый шаг в тайге — новая страница огромной и вечно живой книги. А наука, техника — это

что-то тоже хорошее, но для разума, а не для сердца. Мир техники для сердца Хасана оставался немым....

— Что это? — остановился Володька. — Гудит что-то.

Санька зажмурил глаза, прислушался.

— ЛИ-четыре. Идет на нас, — прошептал Санька, и ребята невольно присели.

— Это, наверно, папа возвращается с Черного Чутыма, — предположил Володька.

— Ну да! — рассмеялся Хасан. — Черный Чутым вон где, а это какой-нибудь...

Но какой — не все ли равно?

— Всегда идем,

Всегда втроем, —

снова начал было Володька. Его никто не поддержал. Петь не хотелось. Хотелось есть.

НА МУШКЕ ЗАУЭРА

Степан всю ночь пролежал в кустах. Ребят он услышал сразу, едва над кустами взошло солнце. «Нашли! — решил он. — Прыгают! Как телята... дорвавшись до свежей травки», — подумал он, торопливо вынося вперед лежавший у ног «зауэр три кольца». Вызванный в воображении образ телят как-то расслаблял, напоминая собственное детство, и Мажоров нахмурился, скривил губы, потом выругался — нехорошо и зло.

Санька и Володька обнялись и, раскачиваясь в такт словам, пели:

...Мы все изроем,
Мы все откроем,
Мы все найдем!

Войдя в ельник, Володька попросил у Хасана ружье, сказал:

— Мне всегда везло, авось хоть зайчишку...



Хасан молча снял ружье с плеча, облегченно вздохнул. Ребята примолкли. Затаил дыхание и Степан. В наступившей тишине явственно донесся гул мотора: по краю тайги от Юрт шел вертолет. «Значит, ищут их, сопляков», — понял Степан.

Заметили вертолет и ребята.

— Слушайте — приостановился Володька, — а вдруг это все-таки нас ищут? Ведь мы же никого не предупредили!

Санька, приложив ладонь ко лбу, внимательно следил за просветами в пихтаче, в которых медленно проплывал вертолет, похожий на обьевшуюся стрекозу.

— Подумаешь, генерал! — не оборачиваясь, съязвил он. На вертолете искать его будут! Наши и без предупреждения знают, где мы. — И вздохнул: — Вот вздуют только, когда вернемся...

— Знают — потому и ищут нас здесь, — упрямылся Володька. — Давайте запалим костер!

Последняя фраза, сказанная погромче, донеслась до Мажорова. Он понял, что надо во что бы то ни стало помешать этому: дым сразу привлечет внимание летчика. Он решил: как только ребята остановятся — выйдет из засады и перестреляет их в упор там, где они попытаются разжечь костер. Неожиданное препятствие ожесточило Степана, и он взял ружье наизготовку и стал осторожно пробираться вперед.

Наконец, меж кустов и елей Степан стал видеть ребят: то одного, то другого. Еще немного и... но почему их трое? Кто третий? Откуда? Степан растерялся: чтобы убить третьего, понадобится перезарядить ружье. А Степан теперь даже не знал, сколько ружей у ребят. Определить это, когда сквозь кусты и подлесок угадываются лишь силуэты, почти невозможно. «Но ведь пока перезарядишь, третий, если не растеряется... Хасан не растеряется. Итак, первым Хасана, вторым — будет видно. Схватится за ружье Санька — его...»

Первым, с ружьем наизготовку, шел кто-то незнакомый Степану. Как ни сдерживал себя Мажоров, мушка плясала. Он ничего не мог поделаться с руками. «Надо было перезарядить ружье патронами с картечью. Тогда бы не промахнулся», — с запозданием сообразил Мажоров.

Хасан шел последним. Ружья у него не было. Это уже лучше. Ребята удалялись, и кустарник скрывал то одного, то другого.

Степан понял: не только появление кого-то третьего, на нервы, видимо, подействовали и вертолет (а вдруг летчик услышит выстрелы?), и ружья, взятые «на руку». Раньше он рассчитывал, что в крайнем случае двумя пулями покончит с Хасаном, а если и Санька не струсит, успеет перезарядить... Теперь дело осложнилось. Но главное — эти руки! Несмотря на судорожные усилия, он никак не мог побороть в себе чувство страха, боязнь промахнуться. Промахнись он один раз и... Он ничего не может поделаться с руками! Даже когда ребята прошли и он ни в кого не целится! Только сейчас Степан понял, как трудно стрелять по людям, которые тоже с ружьями. Трудно стрелять, когда ты можешь не стрелять, не рискуя своей жизнью. И как он сразу не догадался зарядить ружье картечью!

— Трус и дурак! — ругал он себя и, пригнувшись, стал торопливо перезаряжать ружье.

«Мы все изроем,
Мы все найдем», —

вспомнил он. «Найдем!» Нет у них золота. Не нашли они его!.. Надо осторожно поговорить с ними — что, как — и поискать самому! Теперь они все равно не уйдут от него!

— «Найдем!» — прошептал. — он. — Я вам найду!

* * *

...Санька предложил развернуться в цепь, набрать хоть грибов. И едва Володька свернул в чащу ельничка, как чуть не из-под самых ног его вырвался косач. Да как-то

странно: чуть отлетел, упал, приподнялся снова и понизу потянулся в кусты — будто тетерка, уводящая от гнезда. Володька выстрелил вслед ему раз, другой, и косач упал. Не успел рассеяться дым, а руки ребят уже тянули косача в разные стороны.

— Ого!

— Справный?

— Я говорил!

Тут же разложили костер. Санька пошел искать воду, Хасан ощипывал птицу, Володька переживал удачу, подбрасывая в костер сучки.

— Я говорил!

Только звякнули о котелок ложки, из ельничка вышел Мажоров. Хасан и Санька не раз встречались с ним в конторе охотничье-промысловой станции.

— От дразня! Ну дразня! — шел он, качая головой. — А их ищут — с ног сбились! — Он чавкнул, облизнул губы, глотнул слюну, не сводя глаз с котелка.

— Дядя Степан, садитесь за компанию! — пригласил Хасан.

— Не откажусь, не откажусь! — еще говорил он, а ложка, невзвесть когда появившаяся в руке, уже булькнула в котелке.

Давясь непрожеванным мясом, хехекнул:

— А я, хе-хе... приплутал. Спасибо, ребятки. Не я вас, а вы меня, хе-хе...

В душе же Степана, словно зверь, издыхая в судорогах, все кипело и клокотало. Вот так всю жизнь хочешь «бах! бабах!», а получается «хе-хе...»

Он ненавидел сейчас весь мир, все живое.

КТО КОГО?

А Хасан и Санька обрадовались Мажорову. Разговорились. Все-таки пожилой, опытный человек, а главное — знакомый. Только Володька, видевший Степана впервые,

насторожился. Зачем занесло его сюда? Искать нас пошел? Брет! А когда из разговора Степана с Хасаном Володька почувствовал, что и в Юртах он появился непонятно зачем, подозрение сразу переросло в убеждение. Он уже не спустил с Мажорова глаз, прислушивался: нет ли еще кого с ним? Не прячется ли кто поблизости?

«Значит, кто-то — Санька или Хасан — болтнул ему о куперинском золоте! — решил Володька. — Вот и потянуло. Как медведя на мед».

Между тем Санька с Хасаном, перебивая и дополняя друг друга, рассказали о своих зловключениях и переживаниях. Не умолчал Санька даже о том, что утопил патроны.

— Ничего бьет? — взял Мажоров двухстволку Хасана. Повертел в руках, разрядил, заглянул в стволы. — Доброе ружье. — Снова зарядил, аккуратно положил туда же. Вздыхнул:

— У меня тоже шестнадцатый. Жаль, не подойдут и мои патроны к Санькину ружью... — И с необычным для него оживлением бодро воскликнул: — Да, покажите-ка эту бересту!

— Я сжег ее! — не дал Хасану рта раскрыть Володька.

— Сжег?

— Растопки не было, а все сырое... А что с нее?

Мажоров сделал вид, что поверил, а про себя решил: значит, какое-то указание на то, где спрятано золото, в письме на бересте есть.

— А знаете, чьи вы нашли скелеты? Братьев Куперинных! Один был богатейшим купцом, другой жандармским полковником, Поняли?

«Никакой, значит, то не Епишка», — подумал Хасан о длинном.

«Все ясно! — понял Володька. — Он знает побольше нас!»

Мажоров рассказал, что один охотник-хант, умирая, поведал ему тайну бесследного исчезновения Куперинных в ту ночь, когда власть в Рыльске перешла к Советам.



Мажоров повел ребят к озеру. Несмотря на необычную для его шестидесяти лет оживленность, шутки, он не выпускал из рук ружья, не стоял и не сидел спиной к ребятам. И сейчас идти старался сзади всех или сбоку. Володька пробовал отставать, Мажоров тотчас находил предлог и сворачивал в сторону. Неясно было Володьке только одно: отчего это? Осторожность, ставшая привычкой, или Мажоров догадывается, что ребята не доверяют ему? Если последнее — развязка наступит сегодня же ночью.

На ремне Мажорова, в матерчатых чехольчиках, болтались легкий топорик и военного образца малая саперная лопата.

«Нас искал!» — невесело усмехнулся Володька, и сердце его билось все взволнованней и тревожней.

По озеру пятнами пробегала мелкая рябь, словно ветерок — легкий, освежающий — пробовал, не тверда ли вода, не горяча ли...

Ребята приостановились, залюбовались озером.

— А ну, хлопцы, — за дело! Куперины, подыхая, могли зарыть золотишко рядом. Человек — животное такое: пока не отдаст концы — все на что-нибудь надеется.

Он подал Володьке заостренную осиновую палку, Хасану — свою лопатку, а Саньку заставил отгрести землю.

До Володьки, занятого своими мыслями, только сейчас, наконец, дошло, что он говорит «Куперинь». «А что — вдруг полковник бежал не с Епишкой, а со своим братцем, купцом?.. — подумал он. — Тогда, конечно, золота тут может быть столько, что...

— Живей, живей, шевелись! — прервал его размышления сипловатый басок Мажорова.

Володька старался разгадать, как может поступить Мажоров и как лучше от него избавиться? Допустим, найдут они золото. Мажоров заберет его и скроется, уедет куда-нибудь, может, даже за границу. Но попытается ли он разделаться с ними! По лицу Хасана, его увлеченности Володька видел: он все еще верит Мажорову.

— Н-нашел!! — заикаясь, обрадованно заорал Санька. — Дядя Степан!

Мажоров, забыв о предосторожности, бросил ружье и обоими руками принялся разгребать землю. В трухлявых остатках кожи и бумаги тускло блеснула золотая монета. Под ней — несколько серебряных и медных, ставших совершенно зелеными.

Больше ни золота, ни серебра не оказалось.

«Ясно! — понял Мажоров и потянулся к ружью. — Здесь сгнил лишь кошелек господина полковника». А вслух сказал:

— Ройте, ройте глубже!

— Поись бы, дядя Степан, — жалобно протянул Санька.

«Пропадешь с ними! — все мрачнее становилось на душе Володьки.

Мажоров каждому обвел лопаткой по участку земли, распорядился:

— Перекопать все на полметра. После этого будет завтрак. Поняли? А деньги возьмите себе. Можете считать их трудовыми.

И он отправился за своим рюкзаком, сказав, что по пути насобирает грибов.

— Работайте на совесть. Золото разделим поровну. Поняли? — И, перехватив взгляд Володьки, добавил после небольшой паузы: — Или сдадим государству. Потому — деньги это народные. Поняли?

Мажоров не рассчитывал, что золото может быть зарыто где-то здесь, но он решил: добром или худом, а намучает ребят так, что они сами будут проситься копать там, где надо... И, довольный собой, отправился в кедрач.

Едва Мажоров спустился с приозерного холма, Хасан схватился за ружье, ойкнул и растерянно взглянул на Володьку.

— Что? Что? — привстал Володька и вдруг рывком обернулся, одновременно падая на землю: он решил, что сзади в него целится Мажоров.

Санька осторожно переводил взгляд с Володьки на Хасана и тоже начал оглядываться: нигде никого. Что с ними?

Володька понял, что попал впросак. Он сконфуженно поднялся и, объясняя свое поведение, полез в штаны:

— Какая-то жужелица ка-ак цапнет! Вот здесь... — и он усиленно начал тереть мягкое место. — Я подумал — змея!

— Ребята, — зашептал Хасан. — Я потерял бойки!

— Оба? — враз спросили Володька и Санька.

— Ну, уж это треп! — не поверил Володька и взял у Хасана ружье. — Не разыгрывай!

Бойков не было.

— Один, это точно, держался на честном слове, — пояснил Хасан. — Деда давно собирался в Рыльск отвезти ружье к мастеру... А второй сидел крепко.

Володька взял Санькино ружье, осмотрел, как крепятся бойки.

— Чепуха! Второй не мог сам выпасть!

— Да честное слово, ребята, не разыгрываю! — чуть не всхлипнул Хасан.

— Тогда этот Мажоров — неизвестно кто. Поняли? И неизвестно зачем здесь. Это он вынул! Я заметил: смотрел в стволы, а правой рукой ковырялся.

— Не сочиняй, — скривившись, протянул Санька. — Не знали б мы его — другое дело.

— А что ты о нем знаешь?

Да, знал о нем Санька немного. И верно: друг он или враг?

— Почему у меня не потерялись? Потому, что потерялись патроны. И он знает: патронов двадцатого калибра у нас нет и твое ружье вроде палки.

— Две гильзы-то есть.

— А что гильзы?

В душе Хасан тоже не верил Володьке, но исправный боек действительно не мог выпасть сам. А может, это Володька подшутил и теперь разыгрывает их? С чего бы он

так мотанулся? И отвернулся! Прыснул со смеху и отвернулся, разыграл укус!

— Ну, ладно, хватит дурить, — шагнул Хасан к Володьке. — Где бойки?

— Какие бойки? Ты что?

— А то! Еще «не разыгрывай!» Я же видел — ты сам вынул! — напропалую врал Хасан.

С Володьки сразу слетела игривость, и он понял, что если уж Хасан потерял голову, значит, дело худо.

— Да вы что, ребята? Мне не верите? Может, я заодно с Мажоровым?

Не верить было нельзя; для таких шуток сейчас не время.

— А что делать?

Володька достал складешок и стал разряжать патроны Хасана. На недоуменный вопрос Саньки Володька, наконец, впервые без иронии, объяснил, что у него, Саньки, осталось две гильзы двадцатого калибра. Их он и зарядит. Один — дробью, а другой, на всякий случай пульей.

— Лучше картечью! — предложил обрадовавшийся Санька. Даже веснушки на его носу, казалось, стали светлее.

— А есть?

Хасан молча подал новый патрон.

— И чтоб при Мажорове ни гу-гу о том, что Санькино ружье заряжено, — предупредил Володька. — С картечью будет в правом стволе.

— И о бойках будем молчать, — предложил Хасан.

— Почему? — не понял Санька.

— Скорее выдаст себя.

— Это точно, — согласился Володька. — И следить за ним надо всем. И чуть что — не трусить!

«Ежели ты не струсил — никто не струсит!» — хотел сказать расхрабренный Санька, но вовремя сдержался: все-таки это Володька догадался перезарядить патроны.

— А знаете? — Володька даже улыбнулся своей мысли. — Точно: это нас ищут на вертолете, потому Мажоров

и боится заставлять нас работать силой. Потому и хитрит. И ничего он с нами не сделает. Поняли? Давайте потребуем у него консервов на дорогу, заплатим ему за них — и пойдем...

— Чем? У нас с Санькой нет ни копейки.

— Да, верно, — вздохнул Володька. — Денег и у меня нет. А за так он и сухаря не даст...

— Слушай, да перестань ты сочинять про человека! — не вытерпел Хасан. — Зверь он какой, что ли? Собирает — уши вянут!

Но Хасан говорит это уже без прежней запальчивости, а так, на всякий случай. Но примолкнувшего Саньку слова его заставили задуматься. Поначалу ему нравилось приписывать Мажорову черт знает что, а возражения Хасана только подливали масла в огонь. Это было вроде игры, хотя временами он искренне верил в свои и Володькины подозрения. Но едва Санька осознал, чем все может кончиться, играть этим не захотелось. Не до таких шуток, когда нет еды и два патрона на оба ружья. Вот почему после доводов Хасана он невольно стал искать в поведении Степана не то, что вызывает подозрение, а доказательств правдивости его рассказа. И странно: доказательства сразу нашлись. В хорошее-то верить куда приятнее...

Он поделился своими мыслями с Хасаном.

— Я так и думал. Наши попросили его, а он и попер. Ему что тайга, что Зыбун, — хмурясь для солидности, говорит Хасан. — Чудной!

* * *

Поиски ребят на вертолете спутали Мажорову первоначальный план. Поразмыслив, он решил, что убивать ребят из ружья не следует. Где ни спрячешь трупы, их нетрудно найти. На след могут пустить собаку-ищейку. Все-таки трое ребят — не трое телят. Огнестрельные раны не скроешь, подозрение падет на него, это ясно. Значит, надо покончить

с ними как-то иначе. Как? Решение пришло до изумления простое, едва он увидел ярко-красную с белыми точками шляпку мухомора. Но мухоморы не годились. Их знают все, а главное, они недостаточно ядовиты. Мажоров вспомнил, что где-то недалеко он видел много бледных поганок. Их яд убивает наверняка. Несколько ложек грибницы с отваром из бледных поганок хватит, чтобы убрать сопливых кладоискателей с дороги и остаться вне подозрений, даже если станет известно, что он был на гряде. Скажет, что не нашел их. Он даже бойки из Хасанова ружья вставит на место. И ребят так и оставит близ котелка с этим варевом. Все решат, что это дело рук неопытного в грибах Володьки. Да и мало ли: в сумерках, мол, с голодухи не разобрались — и вся недолга...

Найдя еще несколько молодых толкачиков и дождевиков, Мажоров сварил грибницу, пригласил:

— Присаживайтесь. Устали, небось? — И предупредил: — Грибов мало, супец жидок. Но есть надо, иначе не дотянем. Ешьте, я не работал, так что схожу еще за дровами, вскипячу чай. Мне оставите.

— И это все? — кивнул Санька в котелок.

— Разделим банку консервов. Но кто плохо будет есть суп, второго не получит.

И ушел.

На этот раз не только Володьку — даже Саньку удивило то, что он, отправляясь за дровами, прихватил не только ружье, но и рюкзак.

Хасан попробовал рассеять их сомнения:

— Ружье — понятно: вдруг косач, заяц... Р-раз! — и в рюкзак, — попытался он даже пошутить, помешивая дымящуюся грибницу ложкой, чтобы скорее поостыла.

— Или не доверяет нам консервы. Мол, навалимся, съедим без него, — предположил Санька и первым полез в котелок.



ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Добравшись до Щучьего озера, Нюролька дважды обошел его — по берегу и поодаль, но никаких следов ребят не нашел. Места тут нехоженые, дикие берега озера захламлены стволами давно упавших деревьев, и Нюролька устал. Присев на зеленую замшелую колодину, стал думать, что делать дальше. Неожиданно рядом, в двух-трех шагах, он увидел прибитую какой-то гильзой старую бересту. В свертке оказался кожаный кисет с письмом Максима Око... жене.

— Максим Око? Отец, однако ж, Володьки — поразился Нюролька. — Ишь, варнаки, придумали! Игрушки им! — вдруг озлился он на ребят и решил, что разминулся с ними на пути к озеру. Он даже не стал дочитывать письма: не силен был в грамоте Нюролька и письменные буквы разбирал с трудом. Кисет с письмом, однако, сунул в карман и про себя решил, что непременно выпорот Хасана.

Но и в Юртах ребят не оказалось. Ничего не дали и поиски на вертолете. Летчик, отец Володьки и Жуванжа совещались у юрты бабушки Эд.

— О чем они спрашивали вас, бабушка? — допытывался Максим Максимович.

— Я коворила им: не шмейте! Проклятое мешто! Ушли... Вот! Всех забрал Нуми-Торум. Не хотите туда. Нихто не вернется!

Бабушка Эд закрывает глаза и, посасывая трубочку, тихо раскачивается из стороны в сторону. Максим встает; к ощущению постоянной болью отдающейся в сердце тревоги за сына примешивается еще нетвердое чувство надежды: «Смелые ребята! Ничего не испугались. Такие не должны пропасть. Вот только кто этот Мажоров? Что надо на Зыбу-не ему?»

— Значит, смотрел гряду? — прервал его, размышления Нюролька.

— Над самой пролетали. И по краю...

* * *

Письмо оказалось подлинным. Только писал его... дед Володьки, погибший в 1918 году.

Максим Максимович рассказал об отце, участнике баррикадных боев на Красной Пресне, отправленном вскоре на каторгу в Сибирь.

— А вот где, когда и как погиб он — никто не знал. Было известно лишь, что он бежал с каторги, воевал с Колчаком. «А почему у нас такая смешная фамилия — Око?» — не раз спрашивал его Володька. Однако он так и не объяснил ему, что Око — это подпольная партийная кличка его деда. Максим знал о терзаниях Володьки из-за этой действительно необычной для русского фамилии. А не открывал ему тайны происхождения ее из-за боязни, что он будет бравировать этим, рассказывать историю ее кстати и некстати. Говорили, что отец Максима любил пословицу: «Зуб за зуб, око за око». И вот однажды ему выписали новый, конечно, как тогда говорили, липовый паспорт на имя Максима Око. С ним он встретил революцию, женился...

Текст берестяного письма оказался самым обыкновенным:

«Т **оварищи!** Пол **ковника**и Епишку наш **лина** гр **яде** мертвыми. О **зерова** свал **ил тиф**. Через б **олотонес** **насебе**. Забол **елсам**. По **каесть** силы, буду д **елать** затесы, **тропу** потерял. Если что — про **щайте...**»

* * *

Санька с жадностью набросился на грибницу, хлебнул и — сплюнул.

— Эх, тяпа он, растяпа! А посолить-то забыл! Где соль?

Хасан достал соль и, размешивая, обратил внимание на необычный для грибницы из толкачиков цвет отвара.

— Слушайте, ребята, — склонился Хасан над котелком. — Сварены одни толкачики и дождевики, а навар не

такой, не светлый, да и очень уж густ. И грибов-то кого? Мало. А навар? — заговорил он так, будто с ним спорили.

— А что он мог? — принялся помешивать, грибницу и Володька. — Отравы какой подсыпал?

— Скажешь тоже! — усмехнулся Санька.

— Вот что! — осенило Володьку. — Пошли обратно, домой! Пока он ходит — мы уже будем на Зыбуне, за сограми...

Но никто ему не ответил. Да и сам он понял, что идти с одним НЗ и двумя патронами — безрассудно. Но и времени терять нельзя.

— Надо попробовать добыть белок, — предложил Хасан.

— Чем?

— Будем разряжать мои патроны. Пистоны у нас тоже есть. Еще штук десять.

— Да, выстрелить — выстрелишь, а снова зарядить он не даст. Отберет письмо и заставит копать силой.

— Тогда зачем ему нас травить? — облизывался Санька, не отрывая глаз от котелка. — Ведь золото мы еще не нашли!

Никто не ответил Саньке: кто знает, что у Мажорова на уме?

— А давайте отольем супу во фляжку! В Рыльске попросим проверить, — предложил Володька.

Но как быть с водкой? Решили ее не выливать. С водкой и грибница дольше сохранится.

— А что скажем Мажорову? — и на недоуменные взгляды товарищей Володька ответил: — Если грибница отравлена, а с нами ничего не случилось, он поймет, что мы его обманули. Слушайте и учитесь! — встал Володька и вылил остатки грибного супа на песок. — Вы ругайте меня, скажите, что я, растяпа, обжегся и выронил котелок. Все разлил. И мы съели последнюю банку...

— А если дядя Степан станет проверять?

— «Дядя, дядя», — не выдержал Володька. — Серый волк ему племянник. Ползет по рюкзакам нахально — ты,

Санька, бей его прикладом, а я палкой. Ты, Хасан, схватись за его ружье...

Когда Мажоров вернулся, голодные желудки помогли Хасану и Саньке разыграть бурное возмущение Володькой.

— И банку НЗ открыл он! — разошелся Хасан.

— Съели НЗ? — Да как ты смел? А обратно думаешь идти? Или я буду тебя кормить? Молокосос!

Не выпуская ружья, Мажоров без стеснения, впрочем с подчеркнутой небрежностью обшарил карманы Володьки, отнял фляжку. Мысль направить злость юртинцев против Володьки понравилась Степану, и он не стеснялся.

«Ухватится за Санькино ружье — тресну его по затылку прикладом, — решил про себя Хасан, мысленно примеряясь, куда и как будет удобней ударить. — Втроем-то мы его живо!»

Мажоров взболтнул фляжку.

— Что в ней?

— Смотрите, — буркнул Володька.

Мажоров отвинтил пробку, понюхал: «Вино! Вот-те и молокососы! С настоечкой шарятся!»

— А вот с вином ходить тебе еще рано, — и он прицепил фляжку к своему ремню.

— А ну, копать! — приказал Мажоров и отошел, сел под куст.

Володька, похудевший сильнее всех, уже пошатывался от голода и усталости. Руки, не привыкшие к физической работе, поламывало в суставах. Но на открытый «бунт» и он не решался.

* * *

Вечером, едва начинало темнеть, Мажоров торопливо уходил спать почему-то в кусты, хотя, по его же словам, комары там, как звери. Утром он появлялся чуть свет. Сегодня, несмотря на то, что солнце уже поднялось над лесом, Мажоров не появлялся.

«Отчего бы это? — задумался Володька. — Уж не сбежал ли он, украв берестяное письмо?»

Он разбудил Саньку, кинулся к рюкзаку. Поиски письма прервал явственно доносившийся гул вертолета. Он вылетел из-за кедрача, шел низко, вдоль гряды.

— Санька, стреляй! — зашептал Володька.

— А Степан?

— Оставишь один патрон! Управимся! — поддержал Володьку и Хасан.

Санька побелел, руки его задрожали.

— А где он?

Только сейчас ребята заметили, что Мажоров лежал под кустом метрах в двадцати. Ружье валялось рядом. Володька вырвал у Саньки ружье и выстрелил. Летчик, видимо, и без того заметил людей, стал быстро снижаться. Мажоров не шелохнулся.

Вертолет сел, и из кабины вылез отец Володьки.

Хасан кинулся будить Мажорова: окликнул его, потом заглянул в лицо и понял: Степан мертв. Рядом валялась раскрытая фляжка...

* * *

Бездымными холодными кострами догорало северное лето. Что ни день — все ярче пылали осины, бесконечным хороводом окружившие тайгу. А Зыбун и редкие еще не сожранные им луга напоминали бескрайнюю палитру, на которой вслед за зелеными мешали только блеклые коричневые краски. Ржавели на притаежных озерах стальные пики камышей, осыпались нежные бутоны кувшинок. Только корзинки ядовитого веха да розовые початки водяной гречихи еще скрашивали озерный пейзаж. Не сдавался осени лишь курчавый вереск: кажется, он зеленел пуще прежнего и наперекор осени озорно смеялся лилово-розовыми султанчиками.

...Заплакал от радости Нюролька. Жизнь его напоминала чем-то непокорный осенним сиверам вереск. С семи лет начал он промышлять вместе с отцом. Без промаха бил зверя. А ни юрты доброй, ни достатка в пище не было. Случалось, до нитки обирали стойбище царские чиновники, купцы. Вот почему почти никто из рода карамо, с которым кочевал Нюролька, не доживал до сорока лет. Человеку тайги — обильной и щедрой — всегда грозила голодная смерть. Болеть нельзя — Шаман не накормит, не вылечит. Шаман сам ест за чужой счет. А больной человек не выследит зверя, не принесет мяса. Больной человек может и промахнуться. А промахнуться человеку тайги нельзя.

— Худо будет. Беда, — говорит Жуванжа. — Нельзя ранить медведя, нельзя ранить лося, звереет зверь. И надо беречь припасы — порох, свинец. Нужда учила бить хозяина тайги одной пулей или ножом, учила бить белку в глаз. Нужда учила и уменью добывать зверя и птицу без ружья — силками, плашками, кулёмами. Дешевле! А труд человека тайги — не в счет.

И только одному не учила нужда — радоваться жизни, улыбаться. Вот почему и сейчас, когда глаза Нюрольки смеялись, блестели молодо и весело, лицо оставалось хмурым: морщины щедро изрезавшие его, не перечертишь... Следы былого на лице не сотрешь, а вот сердце, даже самое зачерствелое, изрубцованное, отходит. Добр был Нюролька.

И эта доброта помогла ему понять ребят, с уважением отнестись к их затее.

Не выпорол, вопреки ожиданию, и Жуванжа Саньку. Однако сами ребята были недовольны результатами своего похода. Кто же из Купериных погиб на Зыбуне — полковник или его степенство купец первой гильдии? Ведь от этого зависели окончательная разгадка тайны берестяного письма и выполнение посмертной просьбы Максима Око-старшего.

...Ответ пришел оттуда, откуда его никто не ждал.



Во время капитального ремонта детского сада рабочие нашли в стене тайник. В нем, в пачке чистых паспортов и выцветших долговых расписок, лежала и та, с отпечатками мажоровских пальцев. Тут же валялись горсть патронов от нагана, бутылка с английским ромом.

Прибывший на место происшествия начальник ремонтной конторы вспомнил, что особняк до революции принадлежал купцу Куперину. В найденном сейчас тайном сейфе Куперин хранил как-то компрометировавшие его документы. Ром также оказался особым... Одну чайную ложечку его влили в рот кролику и тот сразу издох. На пути к богатству его степенство Порфирий Евграфыч не очень разбирался в средствах...

Событие это само по себе прошло не особенно замеченным, но оно помогло восстановить недостающие у ребят звенья. Выяснилось, что Порфирий Куперин эмигрировал в США. И не без капиталов. Стало ясно, что золота на гряде и не было. Брат его уже не застал Порфирия дома, едва унес из Рыльска ноги и погиб с Епишкой на Зыбуне.

А осенью гипотезцам, как теперь звала тройку путешественников чуть не вся школа пришло письмо из Сибирского отделения Академии наук СССР.

«Дорогие ребята! — писал вице-президент Академии наук СССР М. Лаврентьев. — Большое спасибо вам за письмо. Горячие ключи на Зыбуне убедительно подтвердили недавно выдвинутую учеными гипотезу о том, что в Западно-Сибирской низменности на глубине полутора-двух километров находится целое море горячей воды. Эта вода, ребята, будет служить человеку и поможет преобразить природу и экономику нашего сурового, но богатейшего края...»

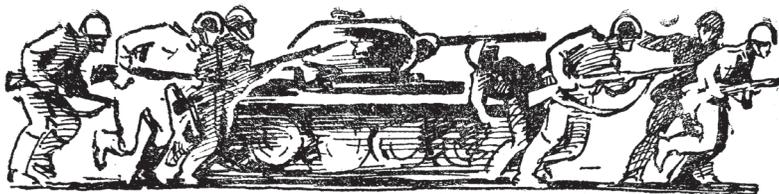
Так маленький камень, упавший с вершины скалы, увлекает за собой другие, все большие.

Так в горах рождаются грозные обвалы.

Так, с малого, в жизни начинается все... А у Саньки, Хасана и Володьки все только начиналось...



Падение Номура



ПРОЛОГ

...Ветер то притихнет, то рванет с вершины сопки снег, перемешанный с песком, мутным шлейфом развернет его по склону, покрутит на месте и швырнет небрежно на шершавый наст под амбразурой.

В земляном блиндажике стоят у пулемета двое в покорбившихся полушубках. У сержанта Долинина обветренное, грубоватое лицо, рядовой Каратаев пониже и не успел обветреть, щеки в редких корявинках; слегка потемневшего пушка над верхней губой еще не касалась бритва.

Ветер швыряет снег и песок в амбразуру — за воротник, в глаза. Сухой, обжигающий щеки, он дует из Гоби — мертвой пустыни, как говорят о ней учебники географии. Но сержант знает: там, в сопках, в песках, десятки тысяч людей строят подземный город — японскую крепость Номур. Плацдарм, осиное гнездо...

И тишина здесь, на границе, беспокойная, настороженная. Вот и сейчас — выстрелы. Залп, второй.

Провокация? Играют на нервах? Или отвлекают внимание пограничников, а сами шлют лазутчиков, и, может, ползет кто-нибудь сейчас от камня к камню, от ямы к яме через границу...

Долинин поежился. На вороненом теле пулемета причудливым узором нарос иней.

Холод пробирался под дубленый полушубок, в валенки, и сержант постукивает ногой о ногу. Он щурит глаза, прикусывает нижнюю губу, хмурится. На лбу, на переносице и на впалых щеках — отчетливые складки.

Художник Ю.М. Ефимов

— Смотри, что-то шевелится! — замечает Каратаев.

— Кабан. Японцы спугнули.

В полевом карауле Каратаев впервые, и ему все внове. Приходит смена.

— Что за стрельба была? — спросил Долинин у разводящего.

— Японцы пытались убить перебежчика.

— Ну...

— Ничего, ушел. Плачет: «Спасите!» Японцы, мол, расстреливают всех строителей Номура. Убили и сожгли уже тысяч двадцать. Чтоб не выдали, значит, секретов.

Долго идут молча.

— А если начнут войну и они? — не поймешь, спрашивает или размышляет Каратаев.— Пополнение вот-вот прибудет. Очередной год призван.

— В том и суть. Да если б армию, что держим здесь, на запад? Разве фашисты докатились бы до Сталинграда?!

В долине, окруженной сопками, или, по-местному, в пади, разместилась целая дивизия. И, глядя на разбегающиеся во все стороны дороги, на движение по ним взводов и рот, чувствуешь, что враг рядом.

Солдаты молчат. Под ногами похрустывает снег, перемешанный с песком. Ворошит это серое месиво ветер из Гоби. С «той стороны»...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

НА ТОЙ СТОРОНЕ

Исхудавший донельзя — скелет, обтянутый морщинистой кожей,— Янь Шаоци разминал в грубых, костлявых пальцах последние осенние листья и задумчиво смотрел, как они превращались в темные влажные хлопья. «Вот так враги мнут, давят все живое...» В который раз он мысленно окинул взглядом дело рук своих — подземный город-кре-



пость Номур. Сколько чудес в муках, со слезами и кровью, сделали руки его народа: великую стену, что на четыре тысячи километров тянется от Желтого моря до песчаной пустыни в Ганьсу, канал с севера на юг... Но стена защищала от врагов, канал питал влагой поля, служил людям дорогой. А здесь тысячи таких, как он, обманутых и подневольных, построили город устрашения и войны, сковали цепь на собственные руки. И кто виноват, что только здесь жизнь открыла Шаоци глаза?

Цзелин, младший брат Шаоци, звал его с собой в Красную армию, но он, чтобы заработать денег для уплаты семейных долгов и арендовать небольшое поле, на три года завербовался на японскую стройку. Отец тоже отговаривал: «Обманут оккупанты!» — и оказался прав. Минуло пять лет, а Шаоци так и не получил ни расчета, ни свободы. Тридцать тысяч рабочих — китайцев, монголов, дунган — строили Номур; в сопках, на краю песчаной пустыни. Под охраной японцев, за колючей проволокой.

Янь Шаоци здесь с самого начала. Привезли молодым, полным здоровья и сил, а сейчас можно дать все семьдесят: сторбился, усох, поблек... Труд адский, иссушивший не только тело, но и душу, а кормили в основном чумизой, лишь изредка давали гаолян и овощи. Риса за все годы и в глаза не видели. Рис полагался только высшей расе — японцам. Многое пришлось пережить ему, но сейчас Шаоци улыбался. Радовало все: и нежаркое солнце, и ясное небо, а главное — сознание, что, наконец, эта дьявольская крепость построена. Уж теперь-то он получит полный расчет! И минуты не задержится здесь!.. Арендует у помещика немного земли и... женится.

За оградой размеренно вышагивал часовой-японец. Шаоци и за ним следил добродушно-весело. «Ходи, ходи. Я-то скоро буду дома, а тебе не плавать на своей кавасаки. Где-нибудь да прихлопнут».

— Шаоци! — подходя, окликнул его земляк Ю Чен.— Шаоци, ты ничего не слышал?

Шаоци, сидевший на голой земле, испуганно оглянулся, даже привстал.

— Н-нет, а что?

— Недобрые вести, Шаоци. Пленных коммунистов всегда держали отдельно, а сегодня их перевели к нам. Слышишь?.. Это они поют. Говорят, раз строительство секретное, то никого не выпустят. Выход, мол, один: будут переводить в другой лагерь, на новую стройку, — навалиться на охрану, перебить ее и бежать. Половина спасется — и то лучше.

— Ишь, мутят людей! — резко вскочил на ноги Шаоци.— Им-то, ясно, все равно, а я добровольный, по договору. И отработал свое.

— Говорят, японцы ждут генерала Сатаяму...

Шаоци промолчал; какое ему дело до японского генерала, крепости, других строек, войны?..

Сатаяма отвечал не за строительство, а лишь за его охрану, за «тайну Номура», этого «трамплина для прыжка к Байкалу», как выразился генерал Ямада, командующий Квантунской армией.

И вот Сатаяме доложили, что рабочие больше не нужны. Он откинулся в кресле, нахмурился. Как быстрее, беспхлопотней «убрать» их? Неприятное, грязное дело... Если бы не приказ Ямады, он предпочел бы не видеть этого кошмара. Но что делать? Он солдат!.. Сатаяма достал из сейфа бутылку рисовой водки.— sake. Отхлебнул несколько глотков и тут же по телефону отдал необходимые распоряжения: к пулеметам в боевых казематах послали унтер-офицеров.

Со свитой из офицеров штаба Сатаяма выехал в Номур. Тем временем строителей крепости выводили в Пасть дракона — на громадный полукруг, образованный наземными сооружениями.

— Встречать генерала...— высказал догадку Шаоци.

Хмурое молчание было ему ответом. Но Шаоци и не ждал ответа, он думал о заработанных за пять лет деньгах. Радовался: «Наконец-то! Скорей бы...»

И вот, едва японские солдаты-конвоиры попрыгали в автомашины, и те, обдав рабочих песчаной пылью и запахом дрянного бензина, выкатились из Пасти дракона, враз застрочило несколько десятков пулеметов с ближайшей сопки-крепости. Первые ряды упали, остальные заматались. Шаоци схватил Ю Чена за плечо, потянул:

— Бежим!

Многотысячные толпы инстинктивно побежали в пески, к спасительным барханам, до которых было километра полтора. И тут застрекотали пулеметы крайних крепостей.

Шаоци упал; разрывая руками песок, старался втиснуться поглубже. Внезапно рядом раздалась песня. Начал один или двое, но ее подхватывали все новые голоса. Слова разлетались как искры в сухом лесу, и уже в десятках мест сотни людей, объединяясь для борьбы и достойной смерти, пели:

Никто не даст нам избавления...

Шаоци приподнялся. Взявшись за руки, на пулеметы шли бывшие солдаты 8-й народно-революционной армии и пели.

— Цзелин? — вырвалось у Шаоци. — Брат!

Среди солдат оказался младший брат Шаоци, ставший уже командиром полка. Братья обнялись, и кто-то предложил:

— Спасем товарища Цзелина. Зароем в песок! До ночи!

Сотни людей стеной окружили тех, кто зарывал командира в песок. Но чтобы дышать, нужна была какая-нибудь трубка. Маленький пожилой кореец со шрамом во всю щеку крикнул:

— Возьмите мои краги!

Он упал, сраженный пулей. Кто-то содрал с его ног краги, свернул их в трубку. Цзелина засыпали.

Янь Шаоци молча смотрел на чуть приметный холмик, где укрыли его брата.

На командном пункте, откуда наблюдал за побоищем Сатаяма, раздался звонок телефона. Старый знакомый, начальник бактериологического отряда генерал-лейтенант Исии Сиро попросил выделить ему две-три сотни человек. По указанию Ямады Сатаяма посылал ему людей для опытов уже не раз. И он распорядился прекратить огонь, собрать оставшихся в живых, отобрать три сотни здоровых и под усиленной охраной отправить в «Управление по водоснабжению Квантупской армии».

Шаоци, в числе трехсот «избранных», отправили на станцию, а оставшихся и раненых добили, и батальон солдат двое суток жег трупы. Копоть — жирная, черная — хлопьями оседала на барханах, разносилась по серой, мертвой пустыне Гоби.

Глава II

«БУДЕМ ЗНАКОМЫ»

— Байкал! — объявил станцию проводник.

Пассажиры — команды новобранцев. Накурено — топор вешай.

— Подышать, что ли. воздухом? — предлагает подвижный, круглолицый Малявкин долговязому соседу Островлянчику. На переносице у Малявкина и сейчас, глубокой осенью, толпится с полдюжины веснушек, придавая лицу его смешливый вид.

Островлянчик принял к окну. Байкал, окутанный туманом, мрачен и хмур. По западному берегу, опоясывая сопку, тянутся красные станционные домики. На перроне суетятся торговки, бойко, нараспев предлагая пассажирам знаменитых байкальских омулей.

Островлянчик родился и вырос в Западной Белоруссии, а последние годы жил на родине матери — в Армении. Почти субтропики, словом, рай на земле. В Сибири он впервые, почти и не отходит от окна...

От Карымской эшелон повернул на юг. Земля вокруг была исполосована лентами траншей; темнели брустверы бесчисленных окопов. Здесь учились суровой солдатской науке.

К Островлянчику подошел длиннолицый рыжеватый парень; был он на несколько лет старше остальных, держался уверенней.

— Грустишь? Спичек нет?

— Не курю. Гляжу: есть же такая невзрачная земля... А изрыта вся как! Ужас!

— Авось еще сгодятся окопчики-то,— отвечал длиннолицый, разминая папироску, и добавил: — Для кого невзрачная, чужая, а для кого она дороже какой-нибудь Ниццы.

Чернявый паренек, севший в Чите и отсыпавшийся весь день на верхней полке, спросил весело, не обращаясь ни к кому в отдельности:

— Куда, хлопцы, путь держим?

— Да кто знает? Полевая почта...— пожал плечами Островлянчик и назвал номер.

— Так и я туда же! — вдруг сказал длиннолицый.

— И мы! — откликнулся чернявый.

— Дело! — воскликнул длиннолицый. — Что ж, значит, будем знакомы.— И он представился: — Унгеров. Сержант запаса.

— Малявкин, шофер,— вскочил и вытянул руки по швам Малявкин.— И парашютист Осоавиахима. А это — кореш мой, в порту на рации работал, вместе учились.

Лежавший на полке паренек медленно, словно нехотя приподнялся, назвал себя:

— Костя.— И после довольно продолжительной паузы добавил: — Смирнов...

«Та-та-та, ту-та-та»,— монотонно выстукивают колеса вагона. Солнце светит по-южному ярко, но не греет. Снег искрится. Вагон покачивается. За окном проплывает Восточная Сибирь...

* * *

На заречных холмах светлый сосновый бор; над Томью выются стрижи. Воздух чист и свеж. Чуть дрожат листья тополей. Солнце играет на стеклах окон.

По улице, пыхтя, постукивая, прополз паровоз. Сразу пахнуло гарью. Вспомнилось, как вот в такой же осенний день сорок первого сотни женщин, кто с ломом, кто с лопатой, рыхлили, рыли землю, носили шпалы, укладывали рельсы там, где еще накануне вечером мальчишки гоняли мяч. А вскоре здесь уже пошли поезда. Прямо к школе, где учился Сибирианов. В ней к сейчас что-то гудит, стрекочет, ухает. Завод прибыл из самой Москвы...

Девятый час. Во двор вошел почтальон. Иван приостановился, проследил за его торопливой походкой, за скупыми и точными движениями рук, сразу находящих нужные газеты и письма. Да, он шел к ним — достал письмо и опустил в ящик.

Ваня Сибирианов вернулся. Мельком взглянул на адрес, вскрыл конверт. Взгляд сразу вырвал главное: «Майор Сибирианов пал смертью...»

Пал смертью... Он представил отца падающим. Упавшим. В крови, на песке, в тумане. Почему на песке? Нет, это песок у крыльца, а туман от слез. Мысли мешались. Только одна, до боли сжавшая сердце, была отчетливо ясна: отец в земле...

Иван взобрался на заваленный хламом чердак. Здесь можно было дать волю слезам... А как сказать об этом матери?..

Иван опустил письмо в карман и побрел в город — куда глаза глядят. Вернулся поздно, но матери еще не было. Значит, осталась работать сверхурочно. Когда пришла, Иван понял: знает...

— Мама, десятилетку мне все равно до призыва не закончить. Пойду работать.

Она удивилась мужской твердости его голоса. Да, конечно, ведь он уже чуть не на голову выше ее. «Семнадцать.» — подумала она и тихо опустила на стул. Взглянула сыну в глаза и снова заплакала. Тогда он добавил:

— Я еще буду художником, мама!

Она плакала, потому что видела в сыне мужские черты. Черты отца...

Иван рос не тихоней, смело вступал в шумные игры. Увлечся футболом, организовал из одноклассников команду. По вечерам на тренировочной площадке дотемна раздавался его голос:

— Удар! Еще удар!.. Всем корпусом помогай ноге! Тренировались с мячом и без мяча. Через год школьная команда стала лучшей в районе. Чуть не каждую неделю Ваня подходил к отцу: «Папа, купи новую камеру», «Папа, купи покрышку...»

Однажды кто-то дал Ване книгу об Айвазовском. Он прочитал ее, не отрываясь. Затем достал книги о Федотове и Левитане. Пробовал рисовать акварелью. Получалось.

— Я чувствую, именно искусство станет делом его жизни,— сказала мать отцу. Но тот лишь усмехнулся:

— В его возрасте «дела жизни» меняются, как футбольные покрышки в разгар сезона.— И, похлопав сына по плечу, сказал с улыбкой: — Вот увидишь, он будет командиром...

А вскоре началась война... Отец уехал на фронт в первый же день. Осенью в школе по несколько часов в неделю стали заниматься военным делом. Из старшекласников сформировали учебные батальоны. Сын майора, за три года Сибирянов побывал и «командиром отделения», и «командиром взвода», и «командиром роты». Кисть и краски вспоминались лишь изредка, как что-то давнее, детское...

И вдруг в солнечный октябрьский день Иван увидел во дворе девушку с мольбертом. В городе было художественное училище. Заметь он ее где-нибудь в другом месте и в другое время — наверное, не обратил бы внимания. Но теперь...

Он подошел.

— Оказывается, в нашем доме есть художница? — Она обернулась.

— Ну, до художницы еще очень далеко. Приехала учиться.

— А это что у тебя за брошка?

— Не брошка, а значок ГСО. Знать бы надо. Не маленький.

Так они познакомились. Прощаясь, Женя предложила:

— Если краски понадобятся — заходи. У меня с «до войны» еще остались.

— Только за красками?

— Нет, пожалуйста, можно и за кистями, — сухо сказала она и скрылась в подъезде.

Ни краски, ни кисти Ивану не понадобились, и без того они встречались ежедневно. А через месяц пришел черед и ему...

Накануне отъезда вечером Иван пригласил Женю в поле, на берег реки. Они сели на велосипеды и помчались наперегонки. Отъехали километра два от города, спешились и, взявшись за руки, вышли на берег.

Женя вслух мечтала о будущем: «Кончится война, и ты вернешься...» А он слушал и не слышал, думая о своем: как сказать ей? Как спросить, будет ли она ждать его?

День угасал. Зарево заката перемежалось с косыми длинными полосами тощих туч. Словно какой-то сумасшедший художник, пользуясь только красной и синей красками, клал один за другим параллельные неровные мазки: без просветов, без полутонов.

— Прекрасно, не правда ли?

Он заглянул ей в глаза.

— Да, да...

Любуясь, как ветер гонит упругие зеленоватые волны, задумчиво повторил: «Да... прекрасно».

Женя обернулась, спросила:

— Что? Закат?

— Нет. Жить! — Иван робко обнял ее.— Женья! Я уезжаю завтра.

Она не отстранилась.

Когда вернулись в город, было уже темно. «От Советского информбюро»,— донесся знакомый голос диктора. Они остановились. Враг отступал, бои шли уже на вражеской земле.

— Ничего, Женья, хоть и к шапочному разбору, да успею.

Утром Иван Сибирянов уехал...

«Ту-та-та, ту-та-та...» — выстукивают какой-то мотив колеса вагона. Вечереет. За окном, вддали, синеют сопки. Они уже на «той стороне». Сопки Маньчжурии.

Глава III

САЛАЖАТА ПРИБЫЛИ!

Выгрузились рано утром. Призывников построил щеголеватый лейтенант. «Похоже, сразу из сержантов»,— определил выросший в семье военного Сибирянов.

— Значит, так,— первым делом объявил лейтенант.— Здеся — армия. Слово командира — закон.

«Точно»,— подумал довольный своей пронциательностью Сибирянов.

С любопытством озираясь по сторонам, перекидывались шутками. Призывники больше напоминали «фэзэушников», чем солдат.

— Прекратить разговоры! Смир-рна! Напра-во! Шагом-арш!.. Подтянись! — зычно командовал лейтенант.

Подтягивались медленно, шагали вразнойбой.

— Приставить ногу! Равняйсь!

Обувь разная, и по носкам никакого равнения не получалось. Старослужащие, проходя мимо, деланно радовались: «Салажата прибыли!», «Медные котелки...»

— Смотреть в грудь четвертого человека, считая себя первым,— напоминает офицер. На лице его иронически-добродушная усмешка.

— Сми-ирр-на!

Остановились у землянки, сразу ее и не заметишь.

— Здесь будете проходить карантин. Располагайтесь, готовьтесь на ужин. Мое фамилие — Долинин. Лейтенант. Вопросы есть?

Вопросов не было. Сибирянов услышал только, как кто-то во второй шеренге прошептал: «А мое фамилие — Дуб». Кто это? Кажется, тот, долговязый.

— Разыдись!

— Эй, хлопцы,— предлагает Унгеров Островлянчику и Малявкину,— держитесь за меня. В строй тоже рядом вставайте. А то могут так: десяток туда, десяток сюда...

— Точно! — воскликнул Малявкин.

Но он хитрил. На самом деле ему очень хотелось попасть в автороту. В первый же день он даже подчернил углем для солидности пушок, начавший пробиваться над губой. И подкатился к лейтенанту.

— А шоферов не густо, как вы думаете?

Долинин только посмеивался. Сержант-сверхсрочник, недавно ставший офицером, он знал, как гнетет новичка неизвестность, неизбежная в карантине: кто куда пойдет отсюда, заранее сказать трудно — частей и специальностей в дивизии много.

Долинин подал команду: «Строиться!» Распределения не состоялось — всех отправили в учебный батальон.

После бани, уже обмундированных, но еще без погон, новобранцев встречали комбат, замполит, ротный. Присмирив под взглядами офицеров, новички молча занимали места. Во всю длину казармы, по обеим сторонам узенького прохода,— трехъярусные нары из грубо сколоченных досок и брусев. Цементный пол. Вместо потолка — сплетение балок...

Малявкин лихо заломил шапку, подмигнул уже сидящему на нарах пареньку:



— Наше вам! Как бы поближе к печке?

Островляничик, которому казарма напоминала склад, остановился в нерешительности. И почему-то именно ему, а не Малявкину, невысокий коренастый паренек, сидящий на нарах, сказал:

— Давай сюда, со мной никого нет.

Малявкин занял место и для дружка своего — Смирнова.

— Костя, вот я. Лезь сюда! — кричал он с третьего яруса нар.

— Чего тебя потянуло на верхотуру?

— Люблю небо!

Островляничик, у которого был фибровый чемодан и заметно поотощавший за дорогу мешок с копченой и соленой снедью, торопливо прошел в дальний угол. Чемодан пришлось сдать в каптерку. Мешок он все же успел засунуть под нары к стене, где и днем было темно.

Новичкам выдали постельные принадлежности, погони. Сибирянова вдруг вызвали в канцелярию.

— Что это они тебя? — спросил Унгеров, когда Сибирянов вернулся.

— Не знаю, — пожал плечами. — По-моему, художник нужен: стенгазету и все такое оформлять.

— Учился этому делу? — заинтересовался паренек-бурят, тот самый, который предложил Островляничку занять место рядом.

— Немного. А вообще кончил девятый. А вы?

— Мне только шесть удалось.

— Тебя как зовут?

— Очиров.

— Будем знакомы! Сибирянов. Говорят, омуль у вас вкусный.

— Пальчики оближешь!

Знакомились и другие. Звучали названия городов, рек. Почти вся Сибирь была представлена в роте.

Утром, на разводе, невысокий, с чуть тронутым оспой лицом, старшина роты принял рапорт от дежурного и, выдержав паузу, сказал:

— Фамилия моя — Каратаев. Звание — старшина. Обязанность — быть для вас и отцом и матерью: обусть, одеть, накормить. Мешки, узлы, чемоданы все сдали в каптерку?

Молчание.

— Если кто провинится — не взыщи. Наряд получите — невестам не хвалитесь. Поняли?

— Поняли... — неуверенно протянул кто-то на фланге.

— Поняли?! — требовательней повторил старшина.

— Так точно! — по-солдатски отрывисто грянули все.

— Вот и вся высшая математика. Это по-нашему. Справа по одному — марш!

Солдаты выбегали из казармы, строились.

— Живей вылетай! Живей, орлы!

Островлянчику кто-то наступил на ногу: до блеска начищенный кирзовый сапог покрылся полоской грязи.

— Марш чистить! Живо!

Старшина прошелся по фронту: все в порядке.

— Шагом — марш!

Глухо дрогнула земля.

— Руби ногой, не жалей сапог — новые выдам! Раз, два, три... Запевай!

Кто-то из сержантов хрипло начал:

Летом нас пропаривает зной,
В январе калит морозец ледяной,
Забайкалье, Забайкалье.
Породни-ились мы с тобой.

— Отставить песню. Вам сегодня нельзя петь! Кто из новичков может?

— Островлянчик! — крикнул Малявкин. — Тебя ждем!

— Островлянчик, давай! — приказал Каратаев.

Взвейтесь, соколы, орлами...

Островляничик на полголовы возвышался над ротой. Горбинка на остром носу, черные густые брови — словно силуэты приспущенных для взмаха крыльев.

Должно быть, внешность его напоминала Каратаеву царственных птиц, и он, сдерживая улыбку, кликнул:

— А ну, соколы-орлы, не опускать крылья! Петь — не совет!

На крыльце штаба стояли Долинин и пожилой, сухощавый, сутулый замполит батальона капитан Кряжев.

— Ох, старшина! Никак он не может без присловья,— покачал головой замполит.

— Старшина, он есть старшина,— сказал Долинин.

— Р-руби ногой! — рявкнул Каратаев так, что замполит вздрогнул.— Р-равнение нале...

— Отставить! — махнул рукой Кряжев.

Замполит только что отчитал Долинина за плохую воспитательную работу. Лейтенант оправдывался тем, что сказалась отправка на фронт наиболее подготовленных солдат. Кряжев не согласился.

— Хоть бы сержантов подобрали себе потолковее, что ли...

— Командиров, их любых у нас всегда недостает.

— С пополнением прибыл один сержант,—сказал Кряжев.

— Это вы об Унгерове?

— Фамилии не помню.

— Унгеров. Но он же этот... парашютист, радист. Заберут. В разведбат. Аль еще куда.

— Не беспокойтесь. Учебный батальон генерал оголять не позволит. А на второе отделение назначьте кого-нибудь из солдат. Вот хотя бы этого... с которым мы беседовали вчера.

— Сибирянова?

— Да-да. Девять классов, комсомолец. Военное дело изучал.

— Сыроват. Со школьной скамейки...

— Выправка, требовательность — думаю, все это к нему придет быстро. Школа, лейтенант, тоже кое-что дает,— ска-

зал Кряжев и смутился: как бы Долинин с его пятью классами не принял это на свой счет.

Бывший учитель, из запасников, Кряжев питал слабость к старшекласникам.

— А может, Малявкина назначим? На шофера учился, и так... не рохля. Боевой парень.

— Видишь ли, дорогой мой,— откровенно сказал Кряжев,— батальону нужен свой, пусть маломальский художник. И, по-моему, сейчас удобный случай ввести Сибирянова в штат постоянного состава.

* * *

Узнав о том, что его назначают командиром отделения, Сибирянов прежде всего подумал о фронте. Хотелось, пускай к концу войны, попасть на запад. А комсостав учебных батальонов и после выпуска остается: нужно обучать новый набор.

Иван пошел к замполиту. Тот подтвердил: да, он, Сибирянов, назначен с его, Кряжева, ведома. По его рекомендации.

— Но я хочу на фронт. А отделенным так и застрянешь в этих сопках...

— Застрянешь? — Капитан помолчал, затем встал и кивком пригласил Сибирянова к окну.— Смотри. Что видишь?

— Сопки...— недоуменно пожал Сибирянов плечами, не заметив, что Кряжев назвал его по-школьному на «ты».

— Да. сопки. Но за ними на тысячи километров раскинулась наша Родина. И чтобы защитить ее, мало взять винтовку и «Вперед, за мной! Ура!» Надеюсь, вы понимаете задачу момента и проявите нужную сознательность...

— Но...

— Все! Идите!

Долинин представил солдатам Унгерова и Сибирянова как отделенных.



И вот Сибирянов одни перед строем. Как сильно колотится сердце! Не выдал бы голос! Только взять верный тон! Одиннадцать человек в одинаковых гимнастерках, в старых, но начищенных до блеска кирзовых сапогах. Вспомнилось отцовское: «Вот увидишь — он будет командиром...»
— Слушай мою команду!

Любопытный взгляд Смирнова, хитроватый Малявкина, вызывающе-насмешливый Островлянчика.

— Смирно!

Застыли в нарочитом усердии.

— Вольно...— Помедлил.— Мне хочется, чтоб наше отделение не отставало от других. Командир я неопытный, как видите... Но думаю, что совместными усилиями добьемся отличных успехов в боевой учебе.

Островлянчик пробурчал:

— Заигрывает.

— Что вы сказали? — не расслышав, переспросил Сибиряков. Молчание.

— Надеюсь, все понимают задачу момента и проявят нужную сознательность. Разойдись!

— «Задача момента, нужная сознательность». Слова-то какие! — заговорил Островлянчик в курилке.— Дам я ему, полותרу... задачу момента.

— Брось! — попробовал отговорить Малявкин.— Больно нужно связываться!

— Чтобы эта «нужная сознательность» мной командовала?! Думает, он один все понимает, а другие — котелки не-лужены!..— И Островлянчик тут же обратился к Унгерову: — Товарищ сержант, переведите меня к себе в отделение.

Унгеров пообещал и вскоре обратился к Долинину.

— Понимаете, товарищ лейтенант, поспорился Островлянчик с Сибиряновым в вагоне. Просится в мое отделение. Нельзя ли...

— Здесь не вагон — армия. Устав,— отрезал Долинин.

— Да я ему любого солдата взамен отдам.

— Идите.

— Товарищ лейтенант...

— Прекратите торговлю, сержант!

«Вот гусь,— подумал Долинин.— «Взамен любого». И зачем он ему понадобился?»

Пришлось Островлянчику остаться в отделении Сибиринова. Как говорится, стерпится-слюбится. А тут еще природа наводит тоску: куда ни глянь, серые — будто вчера из преисподней! — сопки, а чуть расшалится ветер, а он тут если задует, то на неделю,— на зубах с утра до вечера песок. Свету белому не взрадуешься. Но, видно, таков уж человек — притирается к любой обстановке. Начинает во всем находить маленькие радости. А чего не наслушаешься за день! И шуток, и анекдотов. Раскрываются характеры людей, их увлечения. Малявкин, оказывается, и впрямь прыгал с парашютом и лихо отбивает чечетку. У медлительного Очирова каллиграфический почерк. Солдаты наперебой просили надписать то фото, то хотя бы адрес. Даже письма девушкам-заочницам строчил по заказу. Потом надоело — отказал всем. Пришлось начинающим очковтирателям выкручиваться, намекать: вынужден, мол, временно писать левой... А там пусть адресатки гадают: хоть героем считают, хоть растяпой... Унгеров оказался хорошим гитаристом. И хоть в роте гитары не было, он нет-нет да и перехватит ее у кого-то из штабных писарей. Ну, Сибирианов, конечно, полотер, выскочка, но рисует — ничего не скажешь, надо иметь справедливость... Островлянчик вздохнул и принялся искать «таланты» у себя. А что? Петь он может? Может. И анекдотец подать. Словом, казарменная жизнь постепенно стала приобретать и в его глазах более светлую окраску.

Глава IV

ТРУДНОСТИ

Долгим был путь Унгерова в Забайкалье...

Как только наши войска освободили Горловку в Донбассе, он пришел в комендатуру, назвал себя, добавил взволнованной скороговоркой:

— Шахтер, сын шахтера. Отца расстреляли фашисты, вот мои документы. Прошу отправить на фронт.

Его попросили сесть, повторить все спокойнее. А потом сказали:

Восстановление Донбасса — тоже фронт.

И послали в забой. Молодой, сильный, он быстро выдвинулся в передовики. А когда узнал, что решено послать делегации в угольные бассейны Востока, сам вызвался поехать.

Его и еще двоих послали в Черемхово. Они выступали на митингах, спускались в шахты. Горняки-забайкальцы щедро выделяли в помощь Донбассу и деньги, и технику, и людей. А Унгеров в день отъезда делегации на родину вдруг заболел. Через неделю, сбжав с больничной койки, он попросился в забой и дал две нормы. Другого, быть может, и пожурили бы, а тут — делегат, гость. В газете об этом написали. В тот же день Унгеров обратился к управляющему трестом с просьбой принять его в свою шахтерскую семью, помочь оформить перевод.

— Я не могу ходить мимо площади, где фашисты казнили отца...— И тут же: «Хочу в армию! Я хоть и не служил, но сержант запаса. Инструктором в Осоавиахиме был...— А сам думал: «К черту уголек! Не лампочка шахтерская, а желтые погоны к лицу мне...»

С первых дней Унгеров присматривался к сержантам: как они «воспитывают» подчиненных, как просто беседуют — в перекур, в час досуга. Казалось, все ясно, все понятно, и он старается делать так же, но его обостренный взгляд то и дело подмечал на лицах солдат недоумение, усмешку...

Вот он заметил, что старшина Каратаев легонько задел носком сапога обрывок бумаги на полу. Унгеров еще хотел сам поднять, да подумалось: а не уронит ли это его достоинство в глазах солдат? Приказать кому-то — скажут, мелочный придира, белоручка, не мог сам... Он сделал вид, что не заметил, прошел. А Каратаев уже повернулся к дневальному:

— Ворон считаете? А за чистотой царь Горох следить будет?

— Я...

— Не якайте! Стойте, как положено. Убрать!.. Вот и вся высшая математика!

Проходя мимо Сибирянова, опять рисующего что-то, Каратаев бросил:

— Смотрели бы лучше за порядком, чем пустячками забавляться! — И вышел из казармы

«Пустячки! Вот как!»

Старшина предлагал Долинину назначить отделенным Очирова. Человек обстоятельный, бывалый. Особенно нравилась старшине его подтянутость, аккуратность.

— Знаю я этих художников,— полшутя, полусерьез доказывал он, то у них плакаты-стенгазеты, то пятое-десятое, а отделение будет так, сбоку припека, беспризорным. На Ваньке-Петьке. Добро б хоть солдаты как солдаты были, а то ни тебе постель заправить, ни портянки навернуть!

Долинин понимал старшину. И был полностью согласен с ним. Но не только он, сам ротный пожелание замполита принял за приказ. И потому вдруг раздраженно прервал его:

— Это не ваше дело, старшина!

Каратаев извинился, но решил доказать, что и к его советам прислушиваться стоит. И, улучив удобный момент, он между прочим высказал свои соображения Кряжеву. Капитан уже знал привычку старшины «влиять» на начальство в неофициальной обстановке и говорить так, чтобы при неудаче все превратить в шутку.

— Пришлите-ка Сибирянова ко мне,— сухо приказал ему Кряжев.— И пусть альбом свой захватит.

Сибирянов явился.

— Как-то вы мне обещали показать свои рисунки,— встретил его Кряжев.— Не раздумали?

— Н-нет, пожалуйста.

Листая самодельную тетрадь, Кряжев изредка бросал:

— Ничего... Ничего...



Затем он откинулся на спинку стула и, сняв очки, протер их платочком. Близорукие глаза его шурились.

— Но почему вы,— заговорил он, снова надевая очки,— рисуете пальмы, кактусы да морские виды? Или вот... девушка на велосипеде, девушка за мольбертом, девушка у реки?

Все девушки на рисунках были похожи, и Сибирянов покраснел.

— А лейтенант Долинин мне докладывал, что вы рисуете солдат. С натуры.

— Да это... нет, наверное, он не так понял,— смутился Сибирянов.

— Да? Жаль.

— Это в карантине день был свободный, и я... кое-что набросал.

— Видел. Голые сопки, кусок дороги, раздавленный танком куст. Что-то напоминает, настраивает, отзвук в душе находит. Это и дорого! Без натуры нет искусства. Порисуйте-ка на темы солдатской жизни! — Кряжев прошелся по комнате, положил на плечо Сибирянову руку. — А то, знаете, у вас что-то... словом, и не чужое и не свое...— Он помолчал, раздумывая, сказать или нет то, ради чего и вызвал Сибирянова.— Я пригласил вас вот зачем: не сможете ли к Первомаю написать портрет наших отличников? Хотя бы маленькие, карандашом.

— Нет, товарищ капитан, не смогу.

— Жаль.— Посмотрел внимательно.— Идите.

— Ну, как, — спросил Унгеров, увидев вернувшегося Сибирянова с тетрадью в руке. — Что сказал Кряжев? Стоит рисовать в армии или не стоит?

— А разве в этом кто-нибудь сомневался?

— Ну вот,— растянул губы в улыбке Унгеров. Он присел рядом, взял тетрадку.— Конечно... Искусство добавляет радость, вносит в нашу серенькую жизнь что-то возвышенное, утонченное.

Сибиряков посмотрел на него с недоумением. Их взгляды встретились. Унгеров осекся: опять, кажется, ляпнул не то...

* * *

Уставы, материальная часть оружия, строевая... С утра до ночи. На занятия взвод водит Унгеров, в столовую — старшина. Сибирянов порой забывал, что он тоже командир. Даже на строевой — как все. Островлянчик вовсе осмелел, в строю и то не давал покоя. Нет-нет, да и шепнет, но так, чтобы и другие слышали:

— Выше ножку, командир.— Или: — Сибирянов, пример, пример дай!

Но вот Долинин заступил в наряд по части. С утра со взводом занимался батальонный офицер-химик, потом Унгеров, а после обеда ротный отправил его куда-то с группой солдат. Строевую приказал проводить Сибирянову. Прежде Долинин только поручал Сибирянову вслух читать устав. Островлянчик в таких случаях старался приспособиться в боковом проходе между нарами. Там можно привалиться к стойке нар, вздремнуть незаметно. И сейчас, едва ушел ротный, Островлянчик сказал:

— Товарищ командир! Устав бы нам лучше вместо строевой поштудировать.

Но дежурный по роте, сержант, уже предупредил Сибирянова:

— Не мешай, выводи людей.— И сам подал команду: — Первый взвод, выходи строиться!

Чтобы не быть на глазах, Сибирянов увел солдат за городок. Тема занятий — отдавание чести вне строя. Сибирянов объяснил уставные положения, вызвал Островлянчика, сказал:

— Ты сержант, я сержант. Кто из нас при встрече отдаст честь первым?

— Ну, я.

— Почему?

— Ты ж отделенный.

— Мы незнакомы и видим только звание.

— Тогда б я тебе первым ни за что не стал...



— Правильно. Первым из равных по званию приветствует тот, кто лучше воспитан. Становись в строй!

Сам Сибирянов об этом только накануне прочел в солдатской многотиражке, и «эрудиция» его произвела впечатление даже на Малявкина. «Ну, дает!» — подумал он.

Затем, объявив себя генералом, Сибирянов заставил одного за другим всех пройти мимо. Прошли. Что делать дальше — хоть убей,— Сибирянов не знал. А до конца занятий — с полчаса.

— Перекур!

Расселись за ветерком, в старом танковом окопе, да так и просидели все время.

На другой же день о «строевой» в танковом окопе узнал Долинин. Вызвал Сибирянова. Тот чистосердечно признался.

— Но повторить, отрабатывать движения вы могли?!

— Мог.

— Почему не делали? Молчание.

— Ну, хорошо. Идите,— вдруг смягчился Долинин. Вспомнилось лейтенанту, как у него, уже сержанта, случилось нечто подобное. А тут такой же, как все, салажонок.

«Кто же наябедничал? Неужели сам Островлянчик?» — недоумевал Сибирянов. И решил: ладно, в другой раз будет ему перекур! Однако до другого раза прошло больше месяца, Сибирянов уже забыл об этом случае. Но когда он снова вывел взвод на строевую, Островлянчик напомнил сам:

— Вот сегодня бы в тот окоп — чудненько было б.

— Портится погода,— вздохнул даже Очиров, привыкший к капризам забайкальской зимы.

И впрямь, ветер дул не разберешь откуда: с одной с другой стороны, сверху. Будто здесь, в сопках, и была она, эта кухня погоды.

— Раз-два!левой... Строевым!

Подражая Долинину, Сибирянов пропускал солдат перед собой по одному, делал замечания:

— Выше локоть! Тверже шаг!.. Так, хорошо. Следующий!

Но скоро это наскучило, а главное — не терпелось показать, что он полновластный командир. Отвел отделение за сопку и решил заняться «тактикой», хотя знал всего несколько команд.

Солдатам не хотелось двигаться: уже сказывалось утомление от ежедневных многочасовых занятий в поле. Но Сибирянов так увлекся, что снова чувствовал себя как в школе, командиром роты.

— Справа... по одному... короткими. Вперед!

Смирнов полз, елозя по земле: сначала двигался энергично и быстро, стараясь согреться, но вот сбилось дыхание и от напряжения задрожали руки. Он пополз медленней, расслабляя мускулы; запыхавшись, свалился в выбоину, глотнул холодного воздуха и оглянулся: «Семьдесят, ну, сто... А казалось, метров двести. А если в бою или в разведке придется ползти метров пятьсот? Что тогда — отдыхать под огнем? Бежать на пулеметы?»

— Островляничик, не подымать зад! Прошьют!

«Ну полотер!» — выругался Островляничик и вообще перестал ползти. Но Сибирянов уже не смотрел. Сдернув перчатку, он что-то торопливо чертил на обложке Устава. «Неужто и сейчас рисует?» — поразился обернувшийся Мальявкин.

Один за другим замирали на поле и остальные. Оглядывались.

— Отставить! — с явным запозданием спохватился Сибирянов.

Солдаты зябко поеживались, возвращались.

— Перекур!

«Ну художник, ну полотер! — донеслось до Сибирянова.

Только сейчас до него дошло, что одно дело — самому чувствовать себя командиром, совсем другое — видят ли в тебе командира.

Возвращались голодные, продрогшие, усталые. Но бодрились: «Ничего, скоро на ужин, горячего чайку».

— Воздух! — вдруг скомандовал Сибирянов, и солдаты как бы в замешательстве — всерьез это или, может, шутка? — не спеша расползлись.

— Вяло! Отставить!

Перевалили сопку: вот и казарма.

— Воздух!

Разбежались по щелям, нарытым в изобилии, изготовились к стрельбе.

— Отставить! Стройся! Вот так! — удовлетворился Сибирянов. И картинно отступил на шаг.— Смирно! За умелые действия на занятиях объявляю благодарность!

— Ты шо, Ванька, решил, что мы за твою благодарность пупами ровняли землю? — удивился Малявкин.

— В ефрейтора играет...— спокойно, с убийственным вздохом сожаления сказал Островляничик.

«К черту! Сегодня же откажусь от отделения»,— решил Сибирянов. Но назавтра утром Долинин перед строем прочитал приказ о присвоении Сибирянову звания «младший сержант». А в канцелярии роты, наедине, пояснил, что по всем основным предметам, как и раньше, он будет заниматься наравне с солдатами.

— Теперь держись! — сказал Смирнову Малявкин, кивнув на дверь канцелярии.— И в мертвый час будет «тактикой» доводить до веселой жизни.

— Что смеешься? — неожиданно для себя возразил дружку Смирнов.— Нелегко, а надо! Он не зря требует. Помнишь нашего инструктора по парашютному?

— «Не зря, не зря!» — вступился за Малявкина Островляничик.— Не положено отделенному, даже сержанту, тактику проводить. Это ты, полотер, знаешь?

— А тебе бы только осуждать,— не уступал Смирнов.— Может, ему лейтенант поручил. Ты откуда знаешь? Лейтенант наш тоже не учился на офицера, а приказали — служит. Потому — война! Через «не могу» приходится. Главное знает — и ладно.

— А Ванька что знает? — Островляничик даже сплюнул и отошел — Тоже нашелся подпевала! Радуетя, что его стреножили.

Вечером Каратаев поручил отделению Сибирянова вымыть казарму. Сибирянов построил солдат, распределил обязанности. Островляничик попал в группу «полотеров».

— Полы мыть надо отстающим,— сказал он.

— Вы своих правил не устанавливайте,— сдержанно ответил Сибирянов.

— А я все равно полы драить не буду! — тихо, но твердо сказал Островляничик.— Прошлый раз драил.

— Будете!

Все почувствовали, что давно назревающая стычка между Сибиряновым и Островляничиком, наконец, во что-то выльется.

Островляничик решил настоять на своем: «Пускай дает наряд, все равно работать, зато пусть знает, что уж если Островляничик сказал, значит, так и будет. И пусть не прискребается, если не хочет окончательно ронять свой авторитет...» Он повторил:

— Не буду! Надо справедливость иметь. Подумаешь...

— Выйти из строя!

Островляничик сделал шаг вперед.

— За пререкания объявляю наряд вне очереди!

— Слушаюсь, наряд...

— Будете носить воду на всю роту.

Носить воду было тяжелее, чем мыть полы, но Островляничик смирился с этим: все-таки настоял на своем. Устал он, однако, так, что не пошел с ротой в кино, надеясь завалиться между матрацев и поспать. Но его поднял дежурный по роте. Островляничик побрел в ленкомнату. Она осталась немойтой: «Опять, наверное, замаскировался кто-то. Везет же людям»,— подумал Островляничик, вытянулся на жестком диване за столом, уснул.

В воскресенье утром Сибирянов построил отделение и приказал Островляничiku вымыть пол в ленкомнате.

— Чтоб через час блестел!

— Но я вчера один поду носил.

— То вы отработывали наряд, а сейчас вымойте свою долю.

Солдаты заулыбались, а Островлянчик как-то сразу сник, точно ястреб, попавший под дождь.

— Ладно,— буркнул он.

— Отставить! Повторите приказание.

— Слушаюсь, вымыть свою долю.

— Идите!

— Да, доля твоя незавидная, — встретил Островлянчика Смирнов.— Что? Доказал? И, между прочим, кто из вас двоих полотер?

Островлянчик нахмурился:

— Ничего... я ему еще устрою.

Пол он вымыл на совесть.

— Во, это по-нашему,— оценил работу старшина.

Каратаев прошел по казарме, заглянул под нары.

— Малявкин,— остановил он проходившего мимо солдата,— ну-ка, пошуруй под нарами, что там сереет?

Малявкин знал: там мешок с остатками островлянчиковской снеди, но, пошарив для виду, сказал:

— Стена, товарищ старшина, отвечает.

— Стена? — грозно переспросил Каратаев, хотя был уже готов поверить солдату.

Сибирянов сам заглянул под нары:

— Да ведь есть что-то! Вы что же, не видите? — обратился он к Малявкину.

— Ах да, правда... В самом углу. Мешок.

Каратаев построил взвод, спросил:

— Чей?

Молчание. Островлянчик скосил глаза на солдат, потом простодушно посмотрел на мешок, на старшину. И руки и плечи его болели от первого наряда. А тут явно наклеывается второй! Пусть лучше пропадает этот мешок.

— Приблудился, товарищ старшина,— сказал Островлянчик.— Из другого взвода.

— Малявкин, отнесите в каптерку. Разойдись!

Вечером проголодавшийся Островляничик решил: может, и не даст старшина наряда, а в мешке чудные белые сухари. Нет, даст...

Но под ложечкой засосало как-то особенно зло. До ужина было еще далеко. Он постучал в каптерку, доложил: так и так, мой мешок.

— Так,— встал Каратаев и необычно тихо, ровно добавил: — За хранение его под нарами — наряд вне очереди.

— Слушаюсь, наряд!

— А за «приблудился» — еще наряд.

— Почему?

— Сознаваться надо, а не...

— Но, товарищ...

— А за пререkanie — еще наряд.

— Слушаюсь... три наряда вне очереди!

— А мешок будет вот здесь. Понадобится что — придете возьмете.

«Э-э, мать честная! — упал духом Островляничик.— Еще удобнее! Зря три наряда схватил».

— И запомните: армия любит смелых. И честных. А трусу и в ученье достается вдвое, и в бою он гибнет первым. Идите!

«А ведь опять все из-за этого Сибирянова! — подумал Островляничик, вспомнив, что Малявкин без Сибирянова не вытащил бы мешка.— Вот навязался на мою голову!» — И снова заговорил с Унгеровым:

— Нет мне житья здесь, товарищ сержант! Помогите уйти от этого «художника»... Товарищ сержант,— тихо и доверительно продолжал он,— почерк у меня красивый... Может, в штабе местечко подыщете. У вас там, слышал, друзья завелись.

— Да, познакомился я недавно со старшим писарем. Почерк, говоришь? Поговорю. Это ты правильно.

— А с новоиспеченным сержантиком все равно не уживешься,— громко сказал Островляничик, заметив проходящего поблизости Долинина.— Тактикой замучил!

Его расчет был прост: обратить внимание Долинина. И это удалось — Долинин приказал Островлянчику зайти в канцелярию роты и спросил:

— Что у вас случилось с Сибиряновым в вагоне?

— В вагоне? Когда ехали сюда? Ничего.

— Как ничего? Ссорились?

— Да так... Не сошлись характерами.

Долинин внимательно посмотрел на солдата.

— А что за «тактика»?

— Вместо строевой, товарищ лейтенант. Там не тактика, а смех!

— А кто вам дал право обсуждать действия командира? Я кого спрашиваю?!

— Виноват, товарищ лейтенант! Исправлюсь.

— Смотрите! Вы же грамотный человек, в техникуме учились, а бузотерите,— дружелюбно сказал лейтенант, хотя что-то в интонации ответа, во взгляде мешало поверить в искренность солдата.— А с Унгеровым вы где познакомились?

— Там же. В вагоне.

— Хорошо. Идите.

И послал дневального за Сибиряновым. Ожидая его, вспомнил: жена просила прийти «сразу после занятий». Никкак не поймет, что он — не лектор. У взводного дел — от подъема до отбоя.

Глава VII

У СИБИРЯНОВА ТОЖЕ ХАРАКТЕР

Долинин ждал младшего сержанта, повернувшись к окну.

— Чем вы занимались, когда я был в наряде? Сибирянов понял: «Знает!»

— Мне просто хотелось проверить выносливость солдат и главное — выдержку, характеры, товарищ лейтенант.

— Для этого не требуется нарушать устав! — обернулся к нему Долинин — И потому, думаю, разыграли «бой», чтобы это самое... рисовать с натуры!

— Товарищ лейтенант, я же хотел, как лучше, я вообще это в первый и...

Долинин прервал:

— Потому я и беседую с вами.

«Хороша беседа! Стой навытяжку, слушай, как тебе выдают ОВ»*, — подумал Сибирянов. А Долинин продолжал:

— А иначе я немедленно объявил бы вам взыскание и — кругом марш!

— Больше подобного не будет!

— А если будет — снимем, — спокойно предупредил лейтенант. — Идите!

Сибирянов вынул карандаш, повертел в руках, положил обратно в карман, подошел к окну, постоял и тихо побрел по казарме, ссутулясь, разглядывая пол.

— Что, как невольник, ходишь? — спросил Каратаев из открытой двери каптерки.

— Пятый угол ищу, — буркнул Сибирянов.

— Ну, ищи, ищи.

Дверь с улицы распахнулась. По полу за клубились волны морозного пара, и, обгоняя их, в казарму вбежал Смирнов:

— Ура! Почта приехала!

Вслед за Смирновым ввалился ротный экспедитор. Солдаты повскакивали с нар, окружили его. Сиплый голос невидимого экспедитора звучал лучше всякой музыки:

— Малявкин!.. Смирнов!.. Сибирянову — целых два!..

Письма... В каждом из них кусочек родины, и строки, порой ничего не говорящие даже твоему другу, воскрешают в памяти, в сердце столько дорогих, волнующих минут!

Женя писала о матери: «Видя, как она работает по 12 часов в день, а иногда по суткам не выходя из цеха, я

* ОВ — по военной терминологии — отравляющие вещества, на солдатском жаргоне — «очередная взбучка».



спрашивала себя: «Могу ли я спокойно читать романы, писать пейзажи после 6—7 часов занятий в чистых, светлых классах?» И я пошла в госпиталь, стала по вечерам работать медсестрой. Видишь, ты зря иронизировал над моим значком ГСО...

Не удивляйся моей наивности: так же, конечно, с первых же дней войны поступили тысячи и тысячи студенток и учащихся, я знала это, но, понимаешь, все еще считала себя школьницей, девочкой, а мне уже семнадцатый. Чего доброго, скоро начнут признаваться в любви...»

Сибирянов много раз перечитал письмо.

«Ишь, зачитывается, тает,— услышал он приглушенный голос Островлянчика.— Еще девкам верит, а мнит о себе бог знает что».

Сибирянов стиснул зубы. Эх, если бы он не был командиром! Не поздоровилось бы этому зубоскалу...

Островлянчик вышел из-за нар, ухмыльнулся:

— Ну что, товарищ командир, здорово очки втирает?

— Слушайте, вы!

— Да я шутя, товарищ младший сержант,— ослабил-ся Островлянчик, и Сибирянов сдержался, торопливо сунул письмо в карман, вышел.

«Она права. Вот когда в жизни научишься любить и ненавидеть то, что надо, тогда не ошибешься и в искусстве».

Едва Сибирянов вернулся в казарму, вслед влетел дежурный:

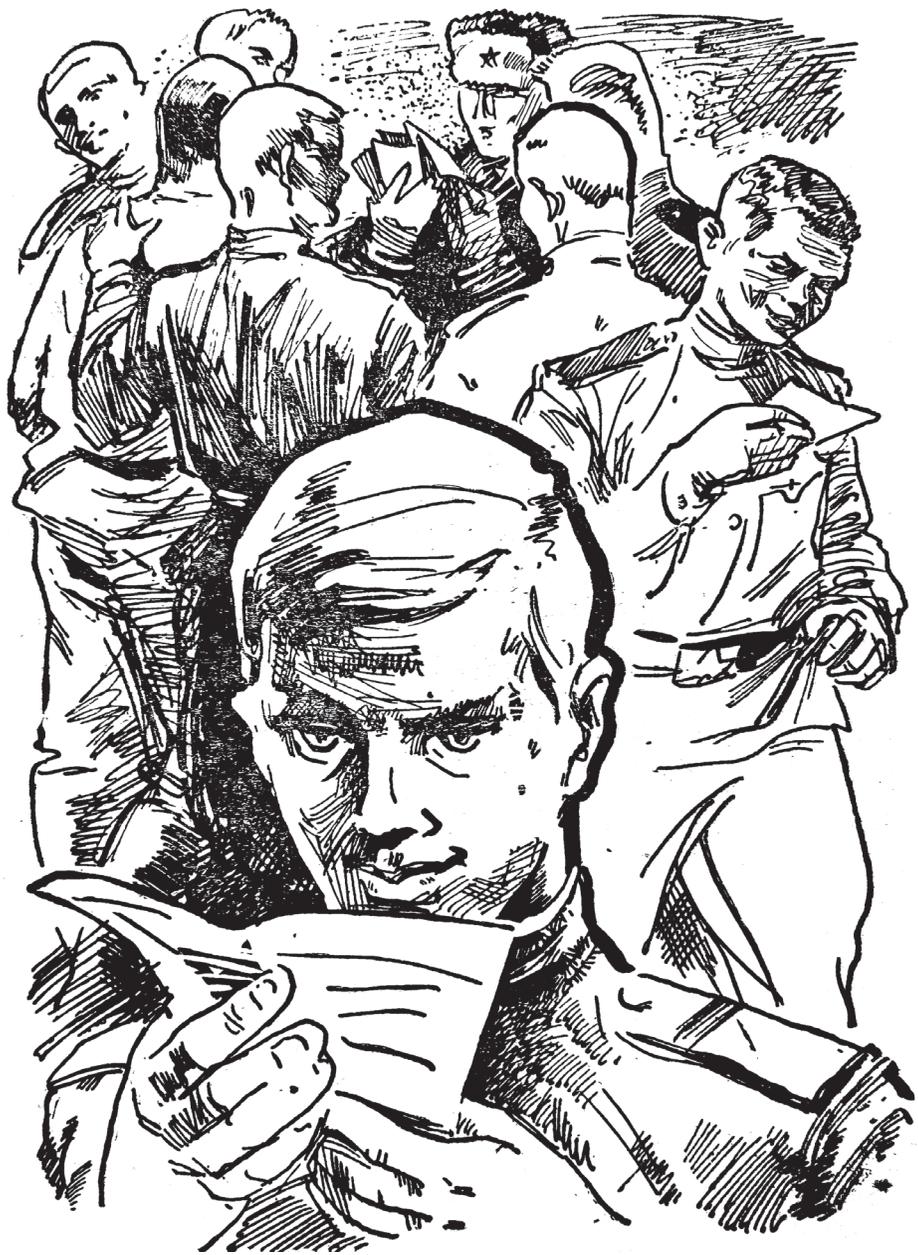
— Тревога! Разбирай оружие!

На ходу надевая шинели, солдаты бежали к пирамидам*.

— Вылетай строиться! — горячился Каратаев.— На бегу готовь оружие, на бегу!

Пригнувшись, солдаты выскакивали из казармы и словно растворялись в темноте.

* Пирамида — станок, в котором стоят винтовки в казарме.





Каждая ночная тревога Сибирянову кажется началом войны на Востоке. На какое-то мгновение Япония представляется ему в виде хиасмода — маленькой хищной рыбки, глотающей жертв, в несколько раз превосходящих ее размерами. Японцы после Сталинграда приутихли. И все-таки... А вдруг?

В строю всего пять человек. «Где же остальные?» — тревожится он.

— Сибирянов, у вас что? Отделение или колхозное звено?

Это замечание Долинина не понравилось и солдатам.

— Что мы, хуже других? Просто темно в нашем углу.

— Не мы, так кто-то хуже,— довольно прозрачно намекнул Островлянчик на отделенного.

Хитроватый Малявкин втайне от Сибирянова предложил в следующий раз брать противогазы и шинели подряд: потом, мол, разберемся. А то сейчас кто-то в суতোлке свалил противогазы в кучу, и каждый терял здесь с минуту или больше, в казарме темновато, надписи — какой чей — на противогазах видно неважно.

Во время следующей тревоги так и поступили: расхватили кому что попало. И все успели проскочить до толчеи в дверях.

Островлянчик, переминаясь с ноги на ногу, встречал чуть не каждого солдата из других взводов прибаутками, издевкой:

— Вас только за смертью посылать!.. Первые на обед! Полотеры.

Наконец, кажется, все. Строятся повзводно, и в гомоне, в темноте не сразу сообразишь, какую команду выполнять. Звучит «Равняйся!». И тут же запоздалое «Становись!» и, перекрывая остальные,— «Бегом арши!»

За городком втиснулись в полузаметенную снегом траншею: жались друг к другу — теплей и веселее.

— Химическая тревога!

Еще не легче. Приготовились.

Лица скрылись под шлемами противогазов. Кто-то долговязый изо всех сил тянул на лоб явно маленький шлем. Судя по росту, Островлянчик. Но у него не такая шинель.

Сибирянов взглянул ему под ноги, решив, что солдат стоит на пригорке. Нет. А рядом на двух других солдатах противогазы болтались...

Уж не Малявкину ли достался чей-то большой противогаз? Нет, судя по фигуре, не он. Впрочем, он. Просто шинель на нем тоже чужая... И Сибирянов понял, почему его отделение вышло первым.

Хорошо, что каким-то чудом этого не заметил Долинин. Второй раз такой номер не пройдет!

Вечером, в «личное время», к Сибирянову подошел Малявкин.

— Бумажку на сигарочку не найдете, товарищ младший сержант? — попросил он, хотя знал, что отделенный не курит.

Сибирянов сунул руку в карман и почувствовал — краснеет: письмо от матери лежало нераспечатанным. Забыл. Измотался. Двенадцать часов солдатского ученья — все силы на пределе.

Подав Малявкину клочок газеты, Сибирянов торопливо надорвал конверт. Почерк, знакомый с детства, как будто доносил в очертаниях округлых букв дорогой материнский голос...

«Ванечка, сынок...»

Работала она уже на заводе, на конвейере. Иван представил ее: маленькую, немолодую. Вот она впервые подошла к конвейеру, и руки ее, привыкшие держать только карандаш, стучать по клавишам машинки, поднимают тяжелые металлические детали... Как, должно быть, от часа к часу копилась усталость, как с непривычки долго тянулся первый заводской день! А дома ждала пустая комната с замерзшими окнами и мысли о нем, сыне... Но в письме ни намек на тоску, на усталость.



Иван сел к столу и неожиданно для самого себя написал стихами:

Если будет тебе очень тяжело,
Опиши все в письме, не таи.
Для меня не простые бумажки —
Долгожданные письма твои...

Перечитал несколько раз и порвал: sentimentalщина. Конечно, тяжело ей. Конечно, не думала она, что будет работать на конвейере. Но надо! Нельзя иначе!

Смирнов получил пачку писем от родных, от друзей из аэропорта. Читал урывками. На занятиях по Уставу внутренней службы он вдруг вытащил блокнот и начал что-то высчитывать, чертить. Сзади тихо подошел сержант Унгеров.

— Что это? Чем занимаетесь, товарищ Смирнов? — Унгеров взял блокнот, повертел.

— Это, товарищ сержант, расчеты. Я с другом до армии два рационализаторских предложения внес. Одно, знаете, внедрились, а в другом, пишут, ошибка допущена. А сейчас неожиданно мысль пришла.

— Вас для этого призвали в армию? «Расчеты!»! «Знаете!»! Без вас, знаете, рассчитают! — Обычно сдержанный, Унгеров, вдруг взорвался: — Наряд вне очереди! — И, плохо скрывая неприязнь к солдату, закончил: — Марш помойную яму чистить!

Следующее занятие проводил Сибирянов, и Малявкин сообщил ему о происшедшем: ну, сделал бы, мол, замечание, то-се, а то оскорбил, наказал, да еще с занятий прямо...

— А где он?

— Его товарищ сержант прямо с занятий отправил помойку драить!

— Там рационализация не требуется, — ухмыльнулся Островляничик.

— А ну-ка, бегом, верните его на занятия!

Островляничик искоса весело взглянул на Малявкина и побежал. «Правильно, — мысленно одобрил он Сибиряно-

ва,— наряд можно и ночью отработать. Унгеров заставит. Он такой!»

Зайдя в казарму, продрогший Островляничик не спеша переобулся, постоял у печки и, только когда Смирнов с ломом прошел мимо, бросил вдогонку:

— Ванька приказал оставить помойку в покое до вечера. Жми на строевую.

Погревшись еще немного, он побежал вслед за Смирновым.

— Братцы, рационализатор прибывает к нам! — не удержался он.

Унгерова Сибирянов увидел у каптерки.

— Кто вам дал право, товарищ Унгеров, отрывать солдат от занятий?! — вежливенько этак спрашивал его старшина.

«Вот глаз! Уже знает», — понял Сибирянов.

— Смирнов нарушил воинскую дисциплину, и я дал ему наряд — подчеркнуто официально ответил Унгеров, бросив беглый взгляд на Каратаева. А тот встал по стойке «смирно» и начал выдавать ему:

— Вырвав блокнот из рук, вы, товарищ сержант, унизили себя и солдата. А раздражение при наложении взыскания, подчеркивание — «помойку идите чистить!» — это что? Откуда это у вас?

— Виноват, товарищ старшина! — щелкнул каблуками Унгеров.

— Дальше. Солдат отвлекся на минуту, и за это, наказывая, вы отрываете его от занятий на целый час. Где же логика? Как видите, даже когда вы формально правы, все-таки лучше сначала подумать, а потом наказывать. Поняли?

— Так точно, товарищ старшина! — и снова щелчок.

— Верните солдату записную книжку.

— Слушаюсь, товарищ старшина! Разрешите идти?

— Идите.

Унгеров потемнел, даже враз осунулся как-то. Позаботился о солдате — не то, не так. Проявил строгость — еще

хуже. А сам-то старшина: «Ворон считаете?!», «Не якайте...» Чуть что — наряд. И ничего. Как будто так и надо. В чем же дело? В чем?.. Сибирянов — молокосос, в армии неделю без году, а словно щука (тоже зубастый!) в родной реке. Унгеров склонился, с безучастным видом разглядывая щербинки на полу.

Сибирянов приказал солдатам пришить к противогазам новые бирки. Предупредил:

— Написать фамилии свои крупно и ясно!

Унгеров прислушался. Ага, и сибиряновское разумное распоряжение, едва отделенный отошел, подверглось осуждению:

— Новая метла, она завсегда...

— Выслуживается!

Услышал это и Сибирянов. Обрывать? Наказывать? Не хватало решимости, а может, веры в успех. Ведь действительно: для одних он «выскачка», в глазах других — такой же салага, как и все. Вот если бы перевели его в другую роту — наверное, все стало бы на свое место.

Он вдруг вернулся в расположение отделения сел на нары. Заговорил возбужденно:

— Ребята, давайте без дураков. Скажу честно: желания быть отделенным или младшим сержантом у меня никто не спрашивал. Больше того, пытался отказаться, а мне — кругом марш! Не хотите, чтобы я у вас был командиром, — скажите честно. Напишу рапорт о переводе в другую роту. Поймут. Найдут вам достойного сержанта.

— А что мы? — сделал невинное лицо Малявкин.

— Другой бы спорил, а я лично всегда готов уважить, — с улыбкой развел руками Островлянчик.

И тут неожиданно вскочил с места Смирнов. Обычно не ввязывавшийся в споры, он несколько секунд молчал, очевидно, подбирая слова краткие и хлесткие.

— Вы! Знаете, хватит! Где вы? У тещи? Присягу приняли?

Островлянчик оглянулся, ища поддержки у остальных. Но даже тех, кто поддакивал Островлянчику, покорила от-

кровенность Сибирянова. В самом деле — не он, так другой! Чем парень виноват?

— Товарищ младший сержант, мы тут потолкуем кое с кем, все будет в ажуре,— сказал Смирнов. И то, что это сказал друг Малявкина, больше всего обрадовало Сибирянова. Несколько «шалопайстый», Малявкин был человеком веселым, добродушным, его любили. Сам Сибирянов как-то тянулся к нему душевно. Не было в нем островлянчицкой вздорности.

— Тогда так,— встал Сибирянов.— Становись! Тут же, в проходе, построились.

С сегодняшнего дня, кто возьмет чужие противогазы и шинель, получит взыскание. А сейчас... будем тренироваться. Внимание! Взять противогазы! Все кинулись к пирамиде.

— Отставить! Взять! Отставить! Взять!..

Потом тренировались в темноте: на случай, если выйдет из строя электростанция. Сибирянов погасил свет и командовал:

— Взять противогазы!

Толкая друг друга, солдаты бросились к пирамиде. Сибирянов командовал: «Не шевелиться!» — и включил свет. Малявкин ухитрился положить обе руки сразу на четыре противогаза: авось один из четырех — свой. Толчая, споры. Оказалось, свой противогаз нашел один Смирнов. На первый взгляд, увалень, а по каждой мелочи чувствуется в нем человек думающий, серьезный. У Смирнова и родилось поистине соломоново решение: лежишь на нарах первым — первым клади противогаз, лопатку, вешай шинель. Чтоб каждый и спросонок знал, что где, на ощупь. Сибирянов предупредил:

— Завтра будем тренироваться с шинелями.

— Ну художник,— проворчал Островлянчик.

Балагур и весельчак, привыкший быть в центре внимания, Островлянчик болезненно воспринимал хоть и безобидные, но все же явные насмешки товарищей. И, чувствуя

сочувствие Унгерова, он при удобном случае откровенно попросил его:

— Хоть бы вы, товарищ сержант, осадили этого выскочку...

На следующий день по расписанию было обучение приемам штыкового боя. Унгеров начал с необычного вступления. Прохаживаясь перед выстроенным в две шеренги взводом, говорил:

— Еще не так давно любили щеголять суворовской фразой: «Пуля — дура, штык — молодец». С развитием огневых средств рукопашный бой становится исключением. Но...— Унгеров сделал паузу, обвел всех взглядом.— Наш вероятный противник — мастер ближнего боя. Коварен. Вынослив. Ловок. Мы должны быть готовы ко всему.

Унгеров мастерски продемонстрировал все приемы. Вызывая солдат по одному, требовал: — Делай, как я!

Потом кололи соломенные маты, с макетами карабинов сходились один на один, учились отбивать удары и штыком и прикладом. А однажды, занимаясь со всем взводом, Унгеров вдруг вызвал Сибирянова, приказал:

— Коли!

— Кого?

— Меня!

— Боевым штыком? — усмехнулся Сибирянов.

— А разве так не случается? Допустим, я офицер. Выскочил из горящего танка.

— Пожалуйста! — И Сибирянов встал в боевую позу, сделал выпад. Через мгновение штык его карабина оказался в руках Унгерова, а Сибирянов — на земле.

— О!.. Дает! — раздались возгласы удивления и восхищения.

Поднявшись, Сибирянов растерянно улыбался, но было неприятно: Долинин однажды похвалил его за штыковой бой — и вдруг такое на глазах всего взвода!

— Естественно,— объяснил он.— Штык боевой, я опасаюсь ранить, и движения замедленны.

— Берите муляж,— кивнул Унгеров на деревянную винтовку.— И не бойтесь бить всерьез, если и удастся — от синяка никто еще не умер!

Все следили за малейшим движением в этом необычном поединке. Мозг Сибирянова работал лихорадочно: куда и как нанести удар? Он сделал обманный выпад.

— Р-раз! — воскликнул от азарта Островляничик.

А Унгеров уже выхватил малую саперную лопату и — хлесь! — отбил удар. Глаза солдат еще прикованы к штыку, продолжавшему описывать полукруг, а приклад уже на голове Унгерова. Но и саперная лопата — у шеи Сибирянова... Все в доли секунды — попробуй, определи победителя!

— Ноль-ноль!

— Ничья! — кричат солдаты.

Но Унгеров спокойно, убедительно доказывает: удар приклада в данном случае будет слабым, не опасным, а удар лопаты — смертельным.

«Но почему со мной, тоже сержантом, проделывает он все это? Опыта и знаний у него не отнимешь, а вот такта товарищеского нет,— размышляет Сибирянов.— И странный какой-то. Ну да черт с ним!»

Глава VIII

«И СОЛДАТ ОДИНАКОВЫХ — НЕТ»

Снег стоял в два-три дня, хотя дули холодные ветры. Наконец, и они стихли, чему солдаты радовались вдвойне: холода осточертели, а потом — приближались первые боевые стрельбы, и, говоря откровенно, поправок на ветер побаивались все.

На полигон вышли в тихое солнечное утро. Пахло гарью: южнее, «на той стороне», горела трава.

Долинин посадил взвод.

— Прервемся.

— Товарищ лейтенант, давайте поизучаем СВТ,— предложил Малявкин.— А то завтрак легкий, а карабин тяжелый.

— Самозарядной винтовки Токарева у нас в программе нету,— ответил Долинин, не понимая, почему вдруг заулыбались солдаты.

— СВТ — это «сон вместо тактики», товарищ лейтенант,— улыбаясь разъяснил Малявкин.— Только вот апрель в Забайкалье, как и у нас, в Сибири, не для СВТ.

— Разговорчики! В корову за сто шагов не врежете а туда же — СВТ... Островлянчик! Почему вчера на отработке прицеливания не были?

— Я же дневалил,— ответил Островлянчик, на всякий случай неуклюже поднимаясь на ноги.— Но я самостоятельно занимался,— беспшашно соврал он.

— Т-ак! Занимался? А ну-ка,— кивнул Долинин на карабины, составленные в козлы.

Вздохнув, долговязый Островлянчик взял карабин.

— Ложись!.. Лежа, прицел четыре... Заряжай!

Островлянчик щелкнул затвором, стал целиться в стоящие неподалеку мишени. Долинин проверял правильность наводки через ортоскоп, корректировал, давал новые цели. Уставы, оружие Долинин знал в совершенстве.

— Что у вас мушка камаринского выплясывает? Этак не то что в корову...

— За молоком-то он без промаха, товарищ лейтенант, каждую пулю...— не упустил случая подкусить Островлянчика и Смирнов.

— Ты, дуб! — даже привстал тот. — По матчасти двойка, а туда же!

— Дуб — это кому знаний дано на рубль, а понятия и сознания — на копейку нету.

— Р-разговорчики!

— Холодно, товарищ лейтенант,— взмолился, наконец, Островлянчик.— У меня шинелка, как мишень после рот-

ных стрельб, светится! Поверьте слову, все приемчики отчеканю.

— Поздно! — отрезал Долинин.

— Да я успею,— вскочил с земли Островляничик,— Вот только согреюсь немного. Мне младший сеожант поможет, — повернулся он к Сибирянову с улыбкой.

— Ты сам себе лучше помогай.— Отозвался Сибирянов — Только зубоскалить умеешь!

— Товарищ лейтенант, а что новенького в газетах сегодня? — поспешил Островляничик замять неприятный разговор.

— Вчера наши войска с боями это самое... форсировали Одер.

— Слышали...

— А союзничкам, значит, один город фрицы по телефону сдали.

— Как по телефону?

— Ловко воюют!

...Первым на исходную вышло отделение Сибирянова. Получали патроны и — на огневой рубеж. Ложились по трое. Малявкин стрелял «с шиком» — выстрел за выстрелом. Смирнов целился долго, не обращая ни на кого внимания. Островляничик вздрагивал при каждом выстреле соседа.

— Кряжев! К нам идет!

— Ну, берегись, Островляничик,— подмигнул Смирнов, довольный, что ни одной пули не выпустил из «яблочка».

Кряжев подошел, и солдаты встали.

— Как, товарищ Смирнов, знаете условия упражнения?

Смирнов, волнуясь и краснея, заговорил как можно тверже.

— Хорошо, довольно,— остановил его Кряжев.— Как успехи? — улыбнулся он Долинину.

— Неплохо, товарищ капитан. Правда, один смазал, зато остальные — на уровне. А Сибирянов, Унгеров, Смирнов и Очиров — все пули в «яблочко»....

— Кто не выполнил?

— Островляничик.

— Запевала? Дайте-ка ему еще три патрона. Лейтенант распорядился, и вот Островляничик снова пошел на огневой рубеж, лег, целился долго, тщательно. Выстрел, второй.

— Туловище кривит,— заметил Долинин,— И напомнил: — Лягте свободнее.

— Не то...— тихо сказал Кряжев.

Третий выстрел.

— Видели? — спросил Кряжев.— У него карабин вздрагивает раньше, чем производится спуск; он закрывает глаза.

— Осмотреть мишени! — передал команду Долинина радист.

Осмотрщики мишеней склонились, потом встали на колени: нигде ни одной пробоины!

— Что, боитесь мишеней?— усмехнулся Кряжев.

— Почему — боюсь?

— Зачем же закрываете глаза перед выстрелом?

— Не помню...

— А враг, товарищ Островляничик, страшной мишени: он тоже стреляет. Зря я дал согласие на то, чтобы взяли вас писарем в штаб. Идите.

Через несколько дней состоялось открытое комсомольское собрание батальона. На нем впервые прозвучало имя Сибириянова. Его, как выразился Малявкин, «почти хвалили».

Островляничик сидел уже рядом с ротным писарем. После того как на боевых стрельбах он подвел-таки отделение, многие были даже рады, что его переводят.

— Вот и лады! Без него мы докажем!

В душе и Сибириянов был доволен: оставались ребята, на которых можно положиться. И Малявкин станет без этого дружка по зубоскальству вести себя потише.

— Пусть его писаря перевоспитывают,— отозвался Смирнов.— А с нас хватит.

Островляничик свой перевод в штаб воспринял как должное — на то он и грамоте обучался! — и освоился в новом кругу знакомых быстро. Уже на другой день можно было подумать, будто он тут служит с пеленок: всех знал по именам, обращался на «ты».

— Сибирянов — это мой отделенный Ванька,— говорил он своим новым знакомым, когда Сибирянова критиковали или хвалили.

Вскоре после стрельб к Сибирянову подошел замполит, спросил, не брался ли последнее время за карандаш.

— Кое-что набросал... Из солдатской жизни.

— Ну-ну... Покажите!

Просьба начальства — приказ. Кряжев пригласил не в штаб, а к себе домой. «Чтоб не мешали или щадит самолюбие»,— подумал Сибирянов. Замполит предложил сесть и раскрыл уже знакомую тетрадку. Жил он по-походному, в той же казарме, где находился штаб батальона. Койка, стол под белой бумагой, книги прямо на подоконнике... На столе большое фото в рамке — два улыбающихся лица: женское и детское, девчоночье... Сибирянов невольно задержался около карточки, пока замполит рассматривал рисунки. Вспомнил о матери, о Жене. «Дождется ли?» — почему-то вдруг подумал он.

Наконец капитан положил тетрадку Сибирянова, сказал:

— У вас, простите, все здесь немного плакатно. Все по уставу: пилотка — два пальца над бровью, обмотки до колен, гимнастерка расправлена идеально...

— Как положено...

— Да, но вы не иллюстрации к уставам пишете, а человека! Люди же разные! И солдат одинаковых нет. Характер у каждого свой! Вот у вас в отделении двенадцать человек, а вы, судя по рисункам, ни одного не разглядели! Солдаты — и все? Нет. Двенадцать человеческих душ! Или вот... Придвигайтесь-ка поближе.

...Выйдя от Кряжева, Сибирянов растерянно остановился у казармы. Да, скованны, обезличенны на его рисунках люди — не спасут ни композиция, ни тема, ни идея. Он попытался представить рисунки исправленными — и не смог. В воображении назойливо вертелись убогие штампы.

После отбоя долго лежал с открытыми глазами, потом натянул на босу ногу сапоги, накинул шинель и потихоньку пробрался в ленкомнату. Можно ли все-таки исправить рисунки? «Опять промах», «В яблочко!»... Иван вспоминал лица, взгляды, жесты. Какую мысль подчеркнет он в каждом из рисунков, что выделит? Именно этого требовал Кряжев, и он прав. Прототипы — воск, и только рука мастера может превратить его в произведение искусства. Иван перестраивал композицию, зачеркивал, стирал и снова выводил повороты головы, глаза, нос.

Почувствовав дрожь в посиневших от холода руках, засунул их под мышки и, отогревая, обдумывал, что и как делать дальше. Кутаясь и незаметно распахиваясь снова, забыв о времени, о сне, рисовал, рвал полуисчерканные листы и снова грел руки...

Глава IX

В НЕЗАБЫВАЕМЫЙ МАЙСКИЙ ДЕНЬ

Вести о капитуляции Германии ждали в последнее время со дня на день, и когда вдруг, казалось бы ни с того ни с сего, от стоявших вдали казарм местного гарнизона донеслось нестройное «ура», стало ясно: она, Победа!

А еще через две-три минуты солдаты увидели дневальных, бегущих по всем направлениям в сопки. Смирнов размахивал пилоткой и кричал:

— Победа! Занятия отменяются! Праздник! Его подхватили на руки, принялись качать.

...А батальон уже строился. «На митинг!» — предупредил взвод Каратаев. И удивился: не успел скоман-



довать «Почистить обувь!», а у ребят уже суконки в руках и — «ширк, ширк» — на смазанных с вечера сапогах заиграли зайчики. Светятся глаза, искрится на щедром майском солнце солдатская кирзуха.

— Во, это по-нашему... — только и сказал старшина. Строились на плацу, утрамбованном солдатскими ногами так, что ни одной травинки не пробилось, не выжило. Саперы на руках приволокли уже сколоченную из досок трибуну. От штабной роты, сверкая трубами, двигался оркестр. Островляничик зачарованно смотрел вслед: вот бы куда втиснуться! Вздохнул. Поискал глазами «свою» роту. Нашел, но, перехватив взгляд Сибирянова, стоявшего в первом, сержантском ряду, отвернулся.

А Малявкин не сводил глаз с непривычной еще парадной офицерской формы. Вот Сибирянова совсем не повоевному, полусогнутым пальцем, вызвал к себе капитан Кряжев, в сторонке говоривший о чем-то с комсоргом батальона. «Не выступишь?» — донеслось до Малявкина. Похоже, Сибирянов отказался. Вернулся в строй. Тоже мне! Где — так речист! Предложили бы ему, Малявкину, он бы...

«Смирно!» — разносится по плацу. Командиры и политработники поднимаются на трибуну. Звучит Гимн Советского Союза. Не по радио, а непосредственно, да еще в исполнении духового оркестра, Малявкин слышит гимн впервые, и мысленно он сейчас то в Берлине, у поверженного рейхстага, то в родном Барнауле...

— Товарищи... — торжественно раздается в мгновенно наступившей тишине.

Отцов, старших братьев — фронтовиков вспоминают солдаты. Матерей, любимых.

Вся страна — от моря до моря — сейчас перед их глазами.

На следующий день в батальон прибыло начальство: полковник с капитаном. И старшина при них с парашюти-

ком на рукаве. С час посидели в штабе — говорят, знакомились с личными делами. И вот дневальный объявил:

— Сержант Унгеров! В штаб. К полковнику.

Затем по одному вызвали еще человек десять.

Оказалось, отбирают шоферов, радистов, парашютистов. Всех, кто хотя бы учился этим специальностям в Осоавиахиме. Впрочем, таких в батальоне нашлось не много. В первой роте — лишь трое: Унгеров, Смирнов и Малявкин. В тот же день их перевели в «разведбат».

С месяц не было от них ни слуху ни духу, а однажды в выходной заявился в роту Малявкин. Потемнел, осунулся. Только веснушки не сдавались, разбегались с носа озорно и весело.

— Что с тобой? Не болел? — спросил Сибирянов. Вздыхнул Малявкин, улыбнулся, от объяснений уклонился.

— А слышали: новый командир дивизии прибывает? Фронтовой, прямо из Берлина!

— Да? И кто? — оживились все,

— Генерал Хабаров.

Но фамилия эта ничего не сказала салажатам.

* * *

Горячее время наступило в учебном батальоне: близился выпуск. Сибирянову было не до «художеств». А тут еще Островляничик в нетрезвом виде попал на глаза начальству. Мигом отчислили из штаба, теперь хочешь не хочешь — помогать надо, отстал человек вроде не по своей вине. Лишь однажды, в выходной, когда солдаты расселись вокруг казармы, занялись кто чем, Сибирянов решил сделать набросок с натуры. Но только расположился — дежурный по роте объявил:

— Сдавай винтовки, получай автоматы!

Сдали. Получили. Почистили. Донесся, нарастая, рев моторов. Шли танки, приподняв пушки. Над башнями запрокинули в небо вороненные стволы зенитные пулеметы.

Из-за казарм, стоявших на пригорке, танки выходили словно из-под земли и строились где-то за сопкой в колонны. Уходили в тыл.

— Строиться!.. Получать сапоги!..— объявил Каратаев.— Говорил вам, руби ногой, не жалей каблуков!

Солдаты переобувались прямо на улице. Рвали мягкую кремовую байку на портянки; подгоняя по ноге, менялись искрившимися на солнце новыми кирзовыми сапогами. Нет-нет, да и проезжались по адресу Островляничка:

— Штабисту-то б яловые надо...

— Говорят, и бумагу всю исписал и сапоги исписал...

Сибирянову бросились в глаза сапоги Островляничка: каблуки сносились до подошвы. Значит, привык ходить, шаркая о землю. Вот почему, несмотря на высокий рост, старался пристраиваться сзади: не надо, мол, так «рубить», а при случае можно и не в ногу...

Зревела сирена. Иван заметил, как Очиров надернул один сапог на босу ногу, а портянку сунул в карман. Все ринулись к пирамидам.

— Патроны получай! — Старшина вынес оцинкованный ящик.— Забирай мыло, полотенца, котелки,— покрывал шум его тренированный бас,— и вылетай!

«Мыло... котелки... раньше этого не брали»,— тотчас отметили многие.

Отделение Сибирянова опять вылетело первым.

— Очиров, выйти из строя! — приказал Сибирянов.

Солдат сделал два шага вперед, повернулся лицом к товарищам.

— Разувайсь!..

Очиров послушно сел на землю, начал стягивать сапог, обутый как следует.

— Правую!

«Вот черт глазастый!» — кисло улыбнулся Очиров, переобуваясь.

Долинин еще докладывал о наличии людей, а первые взводы уже грузились в автомашины. Вслед за танками, за артдивизионами двинулся и учебный батальон.

Радисты принимали какие-то команды, от подразделения к подразделению носились мотоциклы, бронемашины с офицерами связи. Поступил приказ: окопаться! Развернулись, стали. Стрелки, шоферы, танкисты и артиллеристы — все взялись за лопаты. Заночевали в свежевырытых окопах, а с рассветом — снова вперед. Без дорог, по сопкам, через кустарники, раздавленные гусеницами танков.

После обеда окопались еще раз, получили холостые патроны, дымовые шашки и — в «бой» за неизвестную высоту Икс — одну из полукруга сопок-крепостей, видневшихся вдали. «Пасть дракона!» — почему-то говорили о них офицеры.

Огонь батарей постепенно подвигался в тыл «противника». Из укрытий с холостыми залпами, на высоких скоростях ринулись танки. Где-то раскатилось «ура». И сейчас, в эти секунды, Сибирянов всем существом постиг, что значит чувство локтя. Уже не столько видя, сколько ощущая справа и слева бегущих солдат отделения, почти автоматически передавал команды Долинина, бежал, полз, стрелял.

— Сибирянов убит! — вдруг покрывает шум «боя» бесстрастный голос посредника.

В душе Ивана вскипает возмущение: «Это неправильно!» Но отделением уже командует Очиров. Сибирянов стогряча еще целится в кого-то, мелькнувшего в дзоте, потом кладет автомат рядом. Но через две-три секунды он берет его снова; чувствуя в руках тепловатую сталь, следит за теми, кто ушел вперед. Голосов их Сибирянов уже не слышит. Над сопкой взвивается пламя. Сопка Икс, оставленная «противником», затягивается дымом.

...Живые и «мертвые» встают, уходят вперед.

* * *

К ночи опять окопались — который раз! Кое-где поставили и палатки. Поужинали сухим пайком. Многие от усталости сразу свалились. Точно путеводные огоньки, го-



рели впереди редкие звезды. Тучи под ними плыли густо, медленно, во всю ширь небосвода. Вспыхнули прожектора. Их мощные лучи, вычерчивая в небе римские цифры, ползли по тучам. Сверкнула, ослепив глаза, молния, ударил гром, забарабанил по брезенту палаток дождь. Пахло свежестью. От необычной обстановки и радостного возбуждения хотелось петь — наперекор шуму мутных, бурливых потоков. А когда стихли, явственно донесся беспрерывный перестук колес. Шли тяжеловесные составы с частями танковой и механизированной армий. Шли всю ночь, день и еще ночь...

...Мечевидные лучи прожекторов, скрещиваясь, от зари до зари скользили по небу.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I

МЫ ИДЕМ ЧЕРЕЗ ГОБИ

«Тихо вокруг. Сопки покрыты мглой...»

Песню оборвало короткое, хватившее за сердце слово: «Тревога!»

Натягивая скатки и вещевые мешки, солдаты поднимались с не остывшей за вечер сухой земли, вставали в строй.

Прошуршал шепот: «Радиограмма!» У комбата в руках трепыхался на ветру белый клочок бумаги. Луну закрыла тучка, и лицо комбата на миг слилось с шинелью. Сибирянов смотрел на белую полоску бумаги. Как повернет она сейчас его судьбу?

— Товарищи, Япония — последний союзник фашистской Германии — решила продолжать войну, — начал комбат негромко, спокойно. А Сибирянов, стараясь не пропустить ни слова, в то же время не мог сейчас не думать о матери, о Жене. В сумятице чувств и мыслей на мгновение вспомнилось прощание с отцом и школой, потом глаза не-

вольно скосились на солдат; «Как восприняли весть о войне они?» И — совсем будничное, спокойное: «Все ли взято?»

На трибуну, сооруженную из снарядных ящиков, взбирался Кряжев. Говорил на ходу:

— Разгром империалистической Японии — не только союзническое обязательство. Это наш долг перед советским народом. Он приказывает нам сегодня: «Обеспечьте безопасность границ! Завоюйте народам мир!..»

А у трибуны уже стоял солдат в каске, с автоматом на груди, со скаткой через плечо, — Я скажу отсюда...

...Лязг гусениц и густой рокот моторов потонули в раскатах артиллерийских и танковых залпов. Это двинулись соседи — танковая армия. Вдали заплясали белые язычки ответного огня японцев; будто кто-то зажигал свечи на ветру: огоньки вспыхивали и тотчас гасли.

Неожиданно тысячи машин включили фары. Лавина огня, света. Загромыхал весь глубоко эшелонированный, раскинувшийся на сотни километров фронт.

Армии маршала Малиновского, смяв пограничные части, форсированным маршем пошли через пустыню Гоби в глубокий тыл врага.

* * *

...Шли день, часть ночи. И на вторые сутки — ни зелени, ни воды. Впереди под облаками, тощими и редкими, парил орел. Сибирянов с бессознательной завистью следил за ним, похожим отсюда на стрижа: «Может, где и озеро видит...»

Обидно мал в пустыне оком человека! Пески и пески до самого горизонта. Мышатник да мелколистная карагана, или алтагана, как называют ее монголы, и все! Но и эти самые неприхотливые растения встречались все реже. Земля лежала безжизненной. Лишь однажды видели солдаты, как выглянула из своих подземных владений монгольская мышь-песчанка и юркнула обратно. Одинокий



орел то скрывался за горизонтом, то, снижаясь, тихо плыл навстречу, словно недоумевая, зачем и куда мчатся люди на тысячах машин, идут нескончаемыми серо-зелеными колоннами.

Земля нагревалась. Ее жар ощущался сквозь подошвы сапог. Шуршала высохшая на корню трава. Пот струйка-ми стекал по лицам. После коротких привалов — их устраивали через каждые пять километров — идти было еще тяжелее.

Солнце ползло все медленней, будто само изнывало от жары. Сибирянову стало страшно: вдруг не выдержит? Белье взмокло. Пот выступал на гимнастерке. Его темные пятна расплывались на груди, у ремней. Пыль белым слоем оседала на одежде и обуви, лезла в нос, скрипела на зубах. В небе уже ни облачка. Вокруг бурая степь да белые пески — без конца и края.

И вдруг в глубине колонны раздался чей-то хриплый, но радостный голос:

— Вода! Озеро!

Земля у горизонта голубела. Долинин предупредил: «Озер здесь нету. Солончак это». Но кое-кто не поверил и украдкой прикладывался к фляжке... Глоток... Один глоток — и не оторваться! Выпил всю суточную порцию Очиров. Сибирянов, не мигая, вглядывался в голубоватую поверхность. Различив, наконец, неподвижные сероватые полосы и пятна, молча опустил глаза.

— Соль! Солончак!

Каратаев, раскрасневшийся, потный, глотнул воды, чтобы голос прозвучал свежей, с наигранной бодростью воскликнул:

— Воду подбросят. Не падать духом, орлы! Кого ноги не понесли — бери себя в руки. Р-раз-два!

Сибирянов почувствовал: этого подбадривания слишком мало для тех, у кого не достало выдержки. И он сказал Очирову нарочито громко:

— Не расстраивайся, на привале разделим мою воду.

Но Очиров все же легче других переносил сухую жару. В Забайкалье и холода и жара отменные. А вот Островляничик страдал; крупные капли пота свисали с его длинного с горбинкой носа, с пухлых губ приоткрытого рта. Помутневшие глаза смотрели отрешенно. Очиров молча стянул с него вещевой мешок, набросил себе на плечо. Островляничик даже не взглянул.

После полудня остановились на обед. Развязав свой вещмешок, Очиров вынул кусок туалетного мыла, взвесил на руке, достал перочинный ножик, отрезал половину. А через минуту со вздохом выкинул и остальное. Только после этого подумалось: а чем так нагрузил свой сидор Островляничик? Вдвое тяжелее! Но не станешь проверять чужое имущество. Все же Очиров нашел выход.

— Слушай, что-то тут острое, давит. Давай посмотрим,— предложил Островляничу, кивнул на его мешок. Тот сонно бросил:

— Посмотри. Поправь.

Очиров развязал и растерялся даже: теплые носки, сухари, банка тушенки, хозяйственное мыло, какие-то тряпки и даже книжка по кулинарии.

— Да это-то зачем?! — потряс книжкой.

— Учебник. Для учащихся техникума.

— Ну и что?

— Готовлюсь...

Кончилась эта ревизия тем, что Очиров швырнул ему мешок обратно:

— Ну и тащи сам!

Воды не хватало и поварам. Полусухая каша с мясом вызывала еще большую жажду. Есть не хотелось.

Сибирянов отлил немного воды Очирову.

— Спасибо,— прошептал тот сухими губами. Солдаты молчали, изредка поглядывая по сторонам.

— Надо бы как-то приободрить ребят,— шепнул Каратаеву Сибирянов.

— Не обещают пока воды, понял?

— Ну, хоть словом своим авторитетным...

— Слушай, мне тоже не до прибауток! — отрезал старшина. — Травля баланды — это вон по писарской части, — кивнул он в сторону Островлянчика.

— Послушай, ты что раскис? — подсел Сибирянов к Островлянчику. — Занемог? Или расписался?

— А тебе что?

— Да ребята соскучились; голоса твоего не слышно.

— Я же не отделенный.

— Ну, ну, — миролюбиво сказал Сибирянов. — Я тебе серьезно. Развлеки хоть чем-нибудь ребят. И у самого хандра пройдет.

Островлянчик, обрадованный, что «сидор» его пообещали тащить по очереди, неожиданно согласился.

— Эй, хлопцы! Снизу песок, сверху песок, по бокам песок. Что такое?

— Солдат в окопе!

— Нет!

— В блиндаже!

— Нет, — качал головой Островлянчик. — Нет...

— Скажи!

— Тише! Генерал! — предупредил Каратаев.

К батальону подкатила машина и остановилась.

— Сидите, сидите, — сказал генерал Хабаров, командир дивизии. — Устали?

— Есть немного, товарищ генерал, — вскочив, ответил Каратаев. — И с водой не очень.

— «Не очень», — усмехнулся Хабаров. — Старшина роты, наверное? Плохо с водой! Но наладим. Самолетами подбросят воду. — А ты, — кивнул генерал почему-то Очирову, — очень устал?

Очиров вскочил. Коренастый, сильный, солдат все же не дорос и до плеча командира дивизии.

— Никак нет, товарищ генерал!

— А вода?

— Есть, товарищ генерал!

Для убедительности Очиров встряхнул флягу.

— Молодец! — похвалил Хабаров.

— Только... Свою я выпил. Не сдержался,— невозмутимо продолжал бурят.

Островляничик чуть не присвистнул: «Совесть человека заела! Его хвалят, а он...» Но Хабаров, по-видимому, не понял Очирова. Генерал, повысив голос, сказал:

— Японцы бахвалились: через пустыню Гоби не пройдет ни одна армия в мире. А мы, товарищи, идем. Трудно, но идем.

— И пройдем! — сдержанно, вразнобой, но с неподдельной уверенностью отвечали солдаты. Однако у многих внешний вид внушал опасения: движения вялые, взгляды безразличные или отрешенные. Потрескавшиеся от жары губы кровоточили. Хабаров знал: из-за тепловых ударов сотни солдат уже в медсанбатах. Есть жертвы. И после вопроса: «Нельзя ли воду доставлять из Монголии?» — он почувствовал необходимость немедленно разослать всех политработников по частям, разъяснить обстановку.

— Только в нашей армии,— сказал генерал,— восемь тысяч автомашин. Но кругом — видите! — бездорожье, пески. Колеса буксуют, расход горючего и воды намного выше нормы даже у танков. Везти же приходится не только воду, горючее и продовольствие, но и...— Хабаров сделал паузу и добавил:—Даже телеграфные столбы. Расстояния же растут не по дням, а по часам.

— Так это ж хорошо, товарищ генерал! Даже самолеты их здесь носа не показывают,— не выдержал Сибирянов, хотя от мучительной сухости во рту не узнал своего голоса.

— Их авиация фактически уничтожена. На аэродромах,— пояснил Хабаров и продолжал тише, без пафоса:— А вот колодцев и даже озер, помеченных на картах, на нашем пути не оказалось. Высохли. Многие отравлены. А ведь наш фронт — это сотни тысяч солдат, десятки тысяч лошадей и машин. Представляете масштаб потребо-

стей в воде?.. Маршал Малиновский приказал остановить наш артиллерийский корпус, а горячее и даже воду из радиаторов слить, передать танковой армии. Нашему тарану.— Он помолчал еще и закончил, как и начал, твердо, «по-генеральски»: — Зато мы практически без боев и потерь выйдем в глубокий тыл, ударим в самое сердце Квантунской армии!

— Жирок скинем, но выдюжим, товарищ генерал — первым отреагировал на его слова Очиров, но Хабаров уже шел к машине.

Привал продлили на пять минут.

— Первый раз в жизни видел генерала,— простодушно сообщил Очиров; он лег на спину, прикрыв лицо от солнца выдавшим виды носовым платком.

— Нам и не обязательно знать командира дивизии лично,— возразил Сибириянов. И тоже прилег, положив голову на вещевой мешок.

— Как же это не обязательно? — не упустил случая начать спор Островлянчик.— Должны солдаты знать: хороший генерал или нет? — Он вдруг приник ухом к земле.— Гудит. Ухает где-то.

— Кормят вовремя, воду подвозят, табак есть — значит, хороший,—вставил Каратаев.

— А по-моему, так,—даже привстал Очиров, сбрасывая с лица платок — Бьют солдаты врага и в хвост и в гриву — значит, генерал не промах: нас бьют — так хоть по три порции харчей и прочего давай — никудышный.

— Точно!

— Вот и вся высшая математика, это по-нашему,— тотчас перестроился Каратаев и вслед за ротным басовито крикнул: — Поднимайсь!

— Да, так что же это — сверху песок, снизу песок? — напомнил Очиров Островлянчику.— Скажи.

— Карапет засыпался на экзаменах.

— Тьфу! — сплюнул Очиров.— А я всерьез отгадывал...

— «Всерьез...» А знаешь ли ты, серьезный человек, чем отличается иголка от велосипеда?

— Сравнил!

— Ну, а чем? — не удержался Сибирянов.

— Сядешь — узнаешь, — не без удовольствия тотчас ответил Островляничик.

— Р-разговорчики! — оборвал шумок Каратаев. — Болтун мелет — враг мешок подставляет.

И снова лишь пески и пески Да знойное небо...

Вдруг тихо, без слов, падает кто-то в последней шеренге. Солнечный удар!

— Санитара! — крикнул Очиров.

У другого носом пошла кровь. Обоих положили на подводу. Но и лошади уже еле брели.

Кряжев шел с первой ротой. Попыливший немало дорог в походах, донашивающий уже добрый десяток пар военных сапог, он все же стал сдавать: нестерпимо хотелось присесть, окунуться головой в воду и пить, пить. «Сидел в штабе, видимо, больше, чем надо. С людей требовал: «Готовьтесь!», а о себе забыл... Как в школе: перестань спрашивать ленивого ученика — он забудет, где и учебники лежат...»

Долинин, шедший рядом, вздохнул:

— Не идем, а бредем. Отступаем будто. Ладно в пустыне — никто не видит.

«В самом деле, — подумал Кряжев. — А ведь это и морально угнетает людей». Но комбат уже остановился и сам скомандовал:

— Подтянись!

Прошла минута, вторая, третья. Комбат ждал, не шевелясь, и только глаза его зорко оглядывали то голову колонны, то хвост.

— Подравняй-сь!.. Офицеры, в голову колонны! Как ветерок в сухотравье, запорхал по рядам шепот:

«Номур, наверно, близко... Номур...»



Глава II

НОМУР

Незадолго до войны командующим Номурским укрепленным районом, прикрывавшим дорогу на Хинган, был назначен генерал Сатаяма. По плану Сатаямы следовало заманить советские войска в «Пасть дракона» с двумя «клыками» — подземными крепостями и сопками О-ту и Хатон. В бессонные ночи генерал с вожделиением представлял, как под огнем сотен пулеметов и орудий гибнут русские дивизии, как горят танки на минных полях, под прямой наводкой японских батарей. Когда над Номуром появились советские самолеты-разведчики, Сатаяма приказал одной из дивизий отступить и на всякий случай заранее занять перевал через Хинган. «Пусть русские думают, что город оставлен... и сунутся!» Десятки многоэтажных дотов с полутораметровой толщины железобетонными стенами, с огромными гарнизонами были скрыты в каменных утробах сопки. С тыла по тоннелям в нижние этажи крепостей входили поезда с боеприпасами, продовольствием. Над казематами выступали бронекупола наблюдательных пунктов. Вся местность на многие километры вокруг просматривалась и простреливалась. Танкам преграждали путь рельсовые барьеры, надолбы, пристрелянные минные поля.

Но... Сатаяма понял до боя за Номур: война проиграна. Танковые и механизированные армии русских шли повсюду, без дорог. Что им Номур? Они даже воду солдатам подвозят самолетами, а у него остался один, последний воздушный рикша...

Словно в насмешку, командующий Квантунской армией Ямада разместил в Номуре пять кавалерийских полков — «гнать противника». Это саблями-то гнать танки... Сатаяма уже знал: пятьсот танков и более двух с половиной тысяч орудий и минометов бросили в бой русские лишь в полосе главного удара. Это не считая авиации. Что он про-

тивопоставит им? И все же он отдал приказ: «Гарнизон Номура погибнет, но оружия не сложит. Сражаться до последнего солдата!»

— Коммунисты достигнут мертвых пространств дотов только мертвыми,— повторил Сатаяма свой давний каламбур командирам полков. Отпустив их, он радировал Ямаде: нельзя медлить с бактериологическим оружием! Только чума и холера еще могут остановить русские армии.

«Для этого нужны самолеты. Мы уже потеряли авиацию»,— откровенно и без шифровки ответил Ямада. А спустя несколько минут, уже шифром, Сатаяма получил его приказ — любой ценой удерживать перевалы через Хинган,

«Значит, на что-то он еще надеется»,— сделал вывод Сатаяма. Он позвонил в ангар, приказал приготовить самолет.

— Не только солдаты, но и офицеры армии должны верить, что я умру вместе с ними, с оружием в руках,— последнее, что сказал Сатаяма на командном пункте своему адъютанту.

* * *

Дивизия генерал-майора Хабарова при поддержке артиллерии штурмовала сопку О-ту, раскинувшуюся на несколько квадратных километров.

Сибирянов выполз к гребню бархана. Город лежал вдали, как на ладони. «Так вот ты какой, Номур! Написать бы тебя... «Последний день осинового гнезда».

Часть войск, прорвавшихся к другому «клькы» — Хатону, черневшему зияющими ранами, начала бои за город. Орудия сопровождения пехоты били по амбразурам прямой наводкой. Между барханами, пригибаясь к земле, пробежали связисты, посыльные. Вот один из них подполз к оружейному расчету, убеждает сержанта-артиллериста:

— Сеня, дай разок двину!

Сержант не оборачивается.

Дым густо заволакивает расчеты.

Штурмующие О-ту достигли нижних дотов. Исход атаки решали секунды.

Прикрытые дымовой завесой солдаты подтаскивали тол к доту. Офицер-сапер закладывал запал. Солдаты кубарем катились вниз, падали в воронки. Пламя, дым веером взметались ввысь. Земля, поднятая взрывом, оседала на остатки травы, на тела убитых.

«Огнеметы!» — донеслось до Кряжева. Комбат приказал передать огнеметы Долинину: «Выкуривайте! Сжигайте их к чертовой матери! Действуйте!» На остальные взводы возлагалась поддержка. Щели амбразур держались под прицелом снайперов и пулеметов.

Первым пополз с огнеметом Сибирянов. За ним — Островляничик, потом Очиров. Когда до амбразур оставалось каких-нибудь полсотни метров, японские пулеметы ожили. Сибирянов плюхнулся в воронку. Отдышался, выстрелил не целясь, наугад. Было противно самому животное ощущение, будто каждая мина, каждая пуля летит именно в тебя. Сибирянов до боли в деснах стискивал зубы, как бы сжимая в сгусток всю волю, всю ненависть к этому гаденькому, липкому чувству. Он привык представлять, ненавидеть врага «вообще», а тут надо было просто бежать на доты, быстро брать на прицел головы человеческих фигурок, мелькающих в щелях амбразур и над окопами.

Сибирянову показалось, что огонь с нашей стороны ослаблен, и он оглянулся: солдаты, прижатые к земле вражеским огнем, лежали кто как, не поймешь, кто жив, кто мертв. Сосед, корчась от раны в грудь или в живот, с кроваво-темным пятном, расплывающимся по гимнастерке, выкатив невидящие, страшные глаза, что-то кричит. Взгляд Сибирянова на секунду встретился со взглядом Очирова: «Дойдем ли?» — прочел он немой вопрос и почувствовал, что люди смотрят на него. Сибирянов приподнялся и энергично выбросил тело из воронки. Извиваясь, лавируя меж



каменной и убитых, быстро пополз к доту. А в воронку, которую он только что покинул, залез Островляничик...

Звуки выстрелов и даже собственный голос тонули в непрерывном, оглушающем, туманящем сознание грохоте.

Что-то упало рядом, и Сибирянов отпрянул в сторону: «Мина! Все. Конец...» Но взрыва не было. Вытирая об рукав слезящиеся от пота и дыма глаза, искоса взглянул. Не взорвалась! Сибирянов пополз, сплевывая противно скрипящий на зубах песок, полз, не видя ничего, кроме вспышек пулеметного и оружейного огня, бившихся в дыму у амбразур.

Уже в мертвом пространстве дота он с ужасом обнаружил, что его огнемёт выведен из строя. Пули со свистом рассекали воздух где-то выше, справа, слева. На глаза навернулись слезы обиды: «Зря полз». Полуобернувшись, он отбросил огнемёт и стал стрелять по одной из амбразур из автомата. Японцы смолкли. И тотчас рядом оказался Очиров; смертоносные струи огня заплескали в казематах.

Сопка О-ту была взята.

Оглянувшись, Сибирянов увидел: Островляничик с видом смельчака рванулся из воронки.

— Хлопцы! — радостно воскликнул он, оказавшись впереди всех. — «Судак в томате» из родной Одессы! — и потянулся к лежавшей на земле консервной банке.

— Стой! Отставить! — во весь свой тренированный старшинский бас громыхнул Каратаев, исполнявший после ранения Долинина обязанности взводного. — Откуда здесь, к чертям собачьим, одесский судак?

Он подошел, неторопливо осмотрел банку. Так и есть... Мина-сюрприз.

— В сорочке ты родился, Островляничик! При твоей легковёрности стал бы сейчас сам судаком в томате,

И тут, поодаль, все же раздался взрыв такой мины.

...Каких только «консервов» не оказалось на подступах к дотам!

— А ведь сколько предупреждали нас о коварстве японской военщины! — запоздало посетовал Каратаев.— Все равно обожглись и на колодцах и на «Судаках в томате».

Перевязали и отправили раненых, собрали трофеи. Из-за барханов вынырнула машина Хабарова, остановилась на склоне. Он поздравил солдат с победой и, заметив по-видимому запомнившиеся лица, спросил:

— Ну, как крещение?

— Нормально, товарищ генерал! — опередил всех и тут Островлячнк.

— На губах пух, а стоим бородатых двух,— улыбнулся Хабаров.— Так, что ли? — спросил он у Очирова, из рядовых стоявшего к нему ближе всех.

— А мне, товарищ генерал, сегодня уже восемнадцать исполнилось, так что двойной праздник...

«Уже!» Вопреки ожиданию всех, Хабаров вдруг нахмурился, помрачнел. В сущности, еще мальчишки, им бы учиться да мяч гонять, а сколько их полегло сегодня... И, скрывая волнение, сказал, полуобернувшись к подходившим к нему офицерам полка:

— Представляйте достойных к наградам.— Еще раз окинув взглядом сопку, развороченный снарядами дот, добавил: — Не скупитесь. Для первого боя неплохо дрались. Молодцы. И за Гоби спасибо.

У генеральской машины остановил мотоцикл запыленный, низкорослый офицер связи и, по привычке щелкнув каблуками, доложил, что японский парламентар передал заявление генерал-лейтенанта Гоулина.

Хабаров кивнул, неторопливо надел очки, пробежал текст на плотной рисовой бумаге равнодушным взглядом и улыбнулся. Сначала иронично, затем с нескрываемой радостью. Повернулся к солдатам.

— Товарищи, послушайте. «...Только сейчас, то есть в шесть часов 11 августа, я узнал, что войска, вверенные Вам, вступили в Номур, а поэтому спешу доложить Вам о



своим желанием со всеми моими военными силами вступить под Ваше высокое покровительство». Понимаете, командующий Номурским военным округом, бедняга, только сейчас узнал... и спешит, слышали, спешит сдать войска... Те самые, что наша армия уже уничтожила!

Солдаты искренне, шумно смеялись, но генерал уже садился в машину.

Между тем здесь же, на склоне сопки, собрали, по выражению Островляничка, «до кучи» оглохших, очумелых японских пулеметчиков из разбитых поблизости дотов.

— Ты что дрожишь? — спросил Очиров маленького, в разорванном мундире, японца.

В глазах солдата еще жил смертельный испуг, растерянно моргающие глаза вопрошали: «Что же со мной будет, а? Что?»

Трофейное оружие сваливали в кузова автомашин, словно кучи ненужного хлама.

— Наш-то, смотри, — кивнул кому-то Островляничок.

Сибирянов, опустившись на колено, склонился над гладким серым камнем, положив на него лист бумаги: на бумаге то медленно, то рывком ложились завитушки, штрихи.

— Надо же! О чем он в боевой обстановке думает! — возмутился Каратаев.

— А что особенного, товарищ старшина!

— А то. Солдат есть солдат. Ему сейчас о враге да об оружии положено думать. Ежесекундно быть начеку. И особенно здесь. А отвлекся, замечтался — считай, уже кандидат на тот свет.

— Пуганых пугать — зря время терять, старшина, — вдруг вступился за Сибирянова Долинин. — Пуцай и к мирной жизни человек готовится.

— Я не конкретно, а вообще... — крутнул Каратаев у виска ладонью и пошел. Мол, от греха подальше.

Пленных японцев уже строили в колонну.

— Товарищ лейтенант! — не вставая, обратился Сибирянов к Долинину, — Можно того вон — маленького, на две-три минуты...

— Действуй! — разрешил Долинин и сам отправил пленного солдата к художнику. Японец, поняв, что от него хотят, улыбнулся, застыл.

— Вот же бестия, еще позирует...

Островлянчик взялся за автомат:

— Навести реализм?

— Сейчас на это немного мужества надо, — остановил его Сибирянов. — А выражение лица — «Что со мной будет?» — я и так помню.

Карандаш то задерживался на чем-то, не дающемся сразу, то снова уверенно скользил по листу, где вразброс, но явственно проступали детали одежды, слегка скуластое лицо, пухлые губы...

— Ну, вот и все. Иди, — махнул художник рукой. Японец побежал легкой, прыгающей походкой. Девятками пролетали тяжелые бомбардировщики.

Кто-то начал считать:

— Девять, восемнадцать...

Громыхая, дорогу к Хингану заняли танки. За ними прошел дивизион «катюш».

— Где-то, видно, японцы столпились, — усмехнулся Островлянчик. — Наверно, наши парашютисты засекли.

— Конечно! Куда ж их больше пошлют, как не к перевалу.

— Малявкин — парень тот!

— А Костя Смирнов? Он тоже!

И почему-то никто не вспомнил об Унгерове.

А Долинина вдруг охватила смутная тревога за жену. Как она там одна? Не укатила бы к матери...

Долинин жил в полуземлянке, строившейся под склад. Ну, для одного — сойдет. Война. На фронте такому жилью порой и генерал бывает рад. Но Долинина угораздило жениться — на учительке, приехавшей из Ташкента по распределению, Лене. Она из эвакуированных, в общем-то простая, непритязательная, но с характером и неким чувством старшинства. И не только по образованию — ей шел



двадцать пятый, а Долинину едва исполнилось двадцать три. Работа Лене нашлась почти по специальности — в солдатской библиотеке, но жилье... Ржавая кровать, из тех, что в городах можно встретить лишь на свалке, выдавшая виды тумбочка да табуретка со следами желтой и синей краски — вот и вся «обстановка». И окна — махонькие, до весны заиндевелые, вровень с землей. Отработала — топи печку и сиди в полутьме, как в окопе... Хоть бы угол, но в брусчатом доме! Там хоть есть соседки — все какое-то общество. В первые же теплые дни по вечерам офицеры вместе с женами стали играть в волейбол. Только ее муженек то в казарме торчит с утра до поздней ночи, то на целые сутки уходит в наряд. А и забежит домой — не много радости: уткнется в устав или корпит над конспектами. Только и слышишь: «Не мешай! Некогда мне!»

Однажды жена майора-штабника небрежно бросила о ком-то своей спутнице: «Взводным Ванькой служит, известно...», и Лена покраснела; ведь и ее муж — этот самый «Ванька»... Правда, сразу припомнились его слова: «Быть взводным, всегда лицом к лицу с солдатами, — и трудно, и почетно!» И все же сознание того, что она, красивая и с высшим образованием, вышла за какого-то лейтенанта «военного образца» и он еще так невнимателен, груб, растравляло самолюбие. А Долинин искренне недоумевал: чем жена недовольна? Он хотел откровенного разговора и побаивался его. А Лена нет-нет да чем-нибудь подчеркивала свое превосходство. То произношение поправит не очень тактично, то однажды вздохнула:

— Эх, ты, школяр, мой школяр...

И не поймешь, то ли намек на его пять классов, то ли на пунктуальность, рвение служебное? Смолчал он, но в душе затаил обиду. Ушел на работу хмурый. И как ни сдерживал себя, чтоб не сорвать зло на солдатах, раздражение все же нет-нет да проскальзывало.

А Лена в этот день в библиотеке познакомилась с женой замполита полка и в разговоре не преминула посетовать на

жилье. Женщина, похоже, простая, жена замполита поправила тронутую сединой прядь волос и мягко протянула:

— И-и, дорогая! Я и в палатках нажилась. А ты — считай себя на фронте. Легче. Не зря наш округ давно фронтом назван. Гордись, милая!.. Теперь уж недолго, а там все об-разуется.

И верно, полегчало. Даже стесняться своей «землянухи» перестала. Впервые немудрящий ужин готовила напевая...

Глава III

«КЕРУЛЕН», Я «АРГУНЬ»!

Малявкин со Смирновым спустились на парашютах в предгорьях Хингана. Выбрасывались ночью, в тумане. Еще не приземлившись, Малявкин услышал гул машин — наверное, подвела карта. А может, долго медлил Костя, прыгавший первым. Но того, что здесь, на горной грунтовой дороге, будут войска, конечно, они не ожидали. Хорошо, что шум автомобильных моторов помог самолету пройти незамеченным.

До рассвета Малявкин пробирался на сопку, подальше от дороги.

По звукам — долбили землю, камень — он догадался, что противник готовится к обороне. Сунув в карман гранату, Малявкин взобрался на дерево, осмотрелся. Вокруг — горы и тайга. Самая настоящая. Пихта, лиственница, ель. Внизу по обеим сторонам дороги японцы рыли окопы, устанавливали орудия, подносили снаряды.

Малявкин слез. Чащобой стал пробираться к седловине хребта, где была назначена встреча с Костей, и быстро выдохся. «Все-таки иду в гору, да еще с рацией и автоматом. Плюс сухой паек: хлеб, свиная тушенка...» И когда на пути попалась сочная, спелая малина, он с наслаждением, по-медвежьи, ртом, похватал ягод. И тут ему подумалось: мало ли что может случиться с Костей да и с ним самим,

пока уточнишь силы и расположение японцев. А ведь он уже знает главное — здесь враг готовится к обороне. Значит, надо немедленно дать первое сообщение.

Малявкин забрался в заросли кустарника и включил передатчик. Дал позывные, сигналы пароля:

— «Аргунь-два...», семьсот сорок... «Аргунь-два...», семьсот сорок.

«Аргунь-два» молчала. Малявкин проверял то приемник, то передатчик: еще и еще раз. «А может, там... стряслось что? Или отлучился радист?» — подумал он и снова включил передатчик.

— «Аргунь»... «Аргунь»... «Аргунь»...

Голос его звучал то просительно, то обиженно, будто он решил испытать все оттенки произношения этого слова.

— Я «Керулен-два»... «Аргунь», я «Керулен-два»... «А может, они слышат? А у меня просто забарахлил приемник?»

Малявкин стал посылать радиограмму за радиограммой:

— ...Я «Керулен»... в квадрате тридцать четыре... Я «Керулен», семьсот сорок... В квадрате тридцать четыре...

Вдруг до него донесся шорох. Выключив рацию, он сорвал с головы шлемофон, обернулся: японцы!

Малявкин упал за дерево. «Хотят взять живым», — понял он. Вот когда пригодилась граната, предусмотрительно сунутая в карман! Он лежа размахнулся и бросил ее — взрыв, вскрик, сухой треск выстрелов смешались и слились...

* * *

Последние километры пустыни оказались самыми трудными: танки зарывались в песок, поднимая густую едкую пыль. Мутящий запах бензина, скрежет, лязг... Колесные машины буксовали в барханах — и танкисты, шоферы, десантники становились саперами.

Хребет и отроги его с единственной петляющей в заоблачной вышине плохой грунтовой дорогой были выгодным для врага рубежом обороны. По отрогам гор растекались облака, и над ними торчали макушки голых черных скал. Ключья тумана сползали вниз по склонам, часами неподвижно висели над лощинами. Казалось невероятным, что огромная масса техники и людей преодолет это нагромождение камня — пройдет сквозь облака...

Генерал-майору Хабарову было за пятьдесят. Усталый, запыленный, он дремал, слегка прищутив глаза. Но едва его машина поравнялась с дежурной радиостанцией, чуть приметным жестом приказал шоферу остановиться. Парашютисты, сброшенные в районе перевала, как в воду канули. Это могло означать одно: перевал занят и люди погибли... Авиационной разведке мешала низкая и сплошная облачность.

— Эфир! Что нового?

— Молчат, товарищ генерал!

— Слушай. Лучше слушай! — Снова легкое движение пальцев, и шофер плавно тронул с места.

— Товарищ генерал! — вдруг воскликнул радист.— «Керулен» говорит!

Шофер не успел притормозить, генерал па ходу выскочил из машины, стал рядом с радистом.

— Японцы в квадрате тридцать четыре...

— Слушаю, слушаю!

— Прервал треск, и все умолкло, товарищ генерал.

Доставая из планшета карту, Хабаров приказал:

— Соедини с частями.

А между тем склоны, покрытые лесом, уже испещрились дымками. Открыли огонь и танки. Десанты цепочками рассыпались по кустам, по барханам — автоматчики бежали, стреляя на ходу.

В эфир ушел общий для всех позывной:

— «Ангара», «Ангара»...

Радиостанции частей слушали командира дивизии.

Разрыв японского снаряда хлестнул по рации шлейфом земли.

— Я «Аргунь-пятьсот»... — с бесстрастным спокойствием продолжал радист, левой рукой нащупывая пилотку, сбитую осколком.

* * *

Малявкин не сразу понял, что на руках его повисли японцы. На какое-то мгновение он сбросил их и успел схватить автомат, но пули ушли выше голов вновь насевших солдат. И тут Малявкина сбили с ног. «Все. Конец!» — только и подумал он. Автомат и рацию у него отобрали и повели к дороге.

Первый допрос вел молодой офицер в очках. Примостившись на ядовито зеленом лафете орудия, он разложил на коленях планшет, листы бумаги, представился:

— Кагемару... Очень приятно,— вдруг добавил он, хотя Малявкин не произнес ни звука.— Какой церь десант? Его состав? Какой часть? Кто наступай здесь?

Казалось, он не сомневался в получении нужных ответов.

Малявкин молча смотрел в его свежее, холеное лицо и лихорадочно думал, как вести себя.

Снизу, от дороги, донеслись звуки каких-то команд. И как ни беспшибашен был Малявкин, случившееся потрясло его. «Понести им разве околесицу, выиграть время?» — со слабой надеждой на случай, на чудо подумал он, и это слово «околесицу» с таинственной неожиданностью облегчило душу, а то, что оно пришло на ум в такой момент, как-то подняло Малявкина в собственных глазах и успокоило. Может, не пройдет и двух-трех дней, как все окружившие его сейчас враги сами окажутся в плену. Внутренне готовясь к самому худшему, с этого момента он перестал думать о своей судьбе.

— Нет ворнуйся,— вкрадчиво убеждал японец.— Я вижу, ви хоросий солдат. Мы даем вам хоросий выбор. Говорить правду и — идти. Жизнь.— Японец улыбнулся. Доброй, слегка как бы извиняющейся улыбкой. Словно хотел сказать, что поступить иначе он не волен.— У вас впереди церый жизнь.

Жизнь! Прохладный воздух, скопившийся за ночь в лесу, пьянил ароматами цветов и трав, раздавленных колесами орудий. В листве деревьев, омытых дождями, играли лучи солнца.

Кагемару несколько секунд смотрел отсутствующим взглядом поверх Малявкина, прислушиваясь к чему-то, и вдруг на кое-как разлинованном клочке бумаги начал быстро выводить совсем не похожие на иероглифы значки. «Ноты! — догадался Малявкин и с удивлением проследил за выражением лица японца.— Спятил он, что ли?»

Где-то жужжал шмель. А может, самолет? Малявкин поднял глаза.

Шмель крутился над приземистым монгольским дубом, увитым лианами, а еще чуть выше, на цельнолистной пихте, весело пела бойкая разноцветная пичуга.

— Жизнь за нескорько сров правды! — с улыбкой прервал затянувшуюся паузу Кагемару.

Еле воспринимаемая его слова, Малявкин думал о своем: «Нет, говорить, пусть неправду, — тоже трусость... Унижаться перед этим очкариком. Схватили ли они Костю?» — пытался понять он по поведению японцев. Чувствуя колебания Малявкина, офицер любезно улыбнулся.

— Я очень не хотер, чтобы мой первый разговор с советским русским кончирся нехоросо. Я увасаю русских.

«Увасаю». Да, однажды он не выполнил приказ генерала — не убил русского... С этим русским, бывшим бароном Штерном, он познакомился в штабе генерала Сатаямы. И вот однажды... Кагемару до мельчайших подробностей помнит этот день. Генерал Сатаяма знакомился с отрядом № 731. Назывался он «Управлением по водоснабжению и

профилактике частей Квантунской армии», но Сатаяма знал, что кроется за этим безобидным названием. Он шел туда без обычной свиты. Только Кагемару и Штерн сопровождали генерала.

Размах работы поразил Сатаяму, потряс Кагемару и Штерна. Стараясь казаться равнодушно-деловым, генерал бросал отрывистые фразы:

— Специализация?

Низкорослый даже для японцев начальник отряда профессор Исии, старый друг Кагемару-отца, отвечал торопливо:

— Чума. Холера. Сибирская язва...— И как бы извиняясь перед Кагемару, развел руками. «Что делать!» — говорил его жест.

— Способ распространения?

— Специальные бактериологические бомбы... моей системы,— чуть поколебавшись, добавил Исии.— С самолетов, заражением местности, скота, продуктов.

— Я предпочел бы язык цифр, профессор.

— Мощность отряда — 30 миллиардов бактерий за несколько дней.— Тюрьма для подопытных на 400 человек — на территории отряда,

— Хватает?

— Пополняем. К сожалению, не решена проблема крематориев, мы пока серьезно отстаем от уровня немецкой техники...

Слабое освещение сглаживало черты худого скуластого лица, а бритый череп Исии напоминал высохший, чуть запылившийся лимон.

— Да, да, надо ускорить производство чумных бактерий — сказал Сатаяма.— Какова сейчас мощность?

— 300 килограммов в месяц, но возможности безграничны. Нам не хватает средств.

— Отлично! — воскликнул Сатаяма, оставив замечание о нехватке денег без внимания.— Это оружие, наконец, поставит наших врагов на колени!

— Правда, для этого их придется перекрасить: из красных — в черных!

— У вас острый язык, профессор. Из красных — в черных!

Сатаяма торопливо зашагал к выходу. Кагемару и Штерн еле поспедали за ним.

Через час Сатаяма улетел в Мукден. А вечером того же дня вдруг дал шифровку: приказал «убрать» Штерна. Позже Кагемару понял: Сатаяма допустил оплошность — не надо было посвящать в это дело Штерна. Хоть он а японский офицер, а по происхождению какой-то немец, но в сущности русский, он тесно связан с этим разномастным эмигрантским сбродом.

Слишком впечатлительный для военного, Кагемару нашел Штерна, сказал:

— Вот шифрованная радиограмма Сатаямы. Генерал приказывает вас...

Штерн, бледнея, смотрел на Кагемару.

Да, да, он понял, но готовые было сорваться с языка слова благодарности за предупреждение смял страх: «За что? Пусть допросят, проверят!».

— За что? Видимо, просто вы знаете слишком много. Бегите немедленно. Завтра, даже через час, будет поздно.

Штерн вышел от Кагемару, как в полусне.

Из пространства глядели ледяные глаза Сатаямы. Рука потянулась к пистолету. Бежать? Куда? К кому?

В ту же ночь Штерна нашли мертвым, и Кагемару проникся к нему уважением: быть может, его выстрел в висок спас жизнь и честь самого Кагемару...

— Да, да, я осень увасаю русских...— повторил японец. А Малявкину вспомнился генерал Хабаров, которого вблизи, рядом он видел лишь один раз — перед этим заданием.

— Надеемся на вас, ребята,— просто, совсем не повременному напутствовал он, хотя среди «ребят» были и разведчики, прошедшие не одну войну.

Малявкин глубоко вздохнул. К давнему — еще с Халхин-Гола, где у Малявкина погиб брат,— чувству ненависти к самураям примешивалась обида. Нелепый случай привел его в руки врага. На глазах выступили слезы. Он полуотвернулся, чтобы японец ничего не заметил, и сказал нарочито грубо:

— Хорошо. Скажу. Пиши.

Кагемару любезно пригласил сесть. Малявкин заговорил, и японец взял авторучку.

— У меня не было выбора — Японский офицер понимающе закивал головой — Когда фашисты подошли к Сталинграду, я вступил в комсомол...

Кагемару недоуменно посмотрел Малявкину в глаза. Помолчал, разглядывая свои аккуратно подстриженные ногти. И когда русский умолк, негромко и так же спокойно, как начинал допрос, приказал стоящему поодаль зауряд-офицеру отправить Малявкина куда-то и тыл. В штаб.

Когда над головой прошли советские бомбардировщики и где-то неподалеку скороговоркой загрохотали зенитки, Малявкин обрадовался. В первое мгновение он даже не подумал, что теперь его могут убить и свои. Но это неосознанное чувство радости сменилось страхом, перед которым поблекла мысль о собственной смерти: «Ведь наши танки втянутся в горы и попадут под прямую наводку японских батарей, а пехота — под кинжальный огонь пулеметов. Сколько погибнет людей из-за того, что он, Малявкин, не сумел выполнить задание! Минутой-двумя б радировать раньше!..»

Японцам было уже не до пленного и не до поисков других парашютистов. Сказав что-то двум молоденьким солдатикам в белых гетрах, зауряд-офицер, оставленный Кагемару, тоже исчез. Один из конвоиров закинул на плечо автомат Малявкина, взял на руку винтовку с ножевым штыком и торопливо пошел на восток, в тыл. Чувствуя за спиной штык второго солдатика, Малявкин пошагал, не глядя по сторонам.

Так они шли минут десять-пятнадцать. А над горами уже кружили советские штурмовики. Взрыв потряс землю. И Малявкин упал в ту счастливую секунду, которая спасла ему жизнь: бомба разорвалась совсем близко и один конвоир осколком был убит. Малявкин бросился на другого. Потом осмотрелся, сорвал с японца свой автомат и кинулся в кусты...

Только спустя какое-то время, выбившись из сил, он окончательно пришел в себя и задумался: куда бежит? Да, он должен во что бы то ни стало найти Костю.

Заставив вздрогнуть, донесся звук залпа. А затем все слилось в сплошной грохот. Что это? Поднявшись в гору, Малявкин увидел часть лощины, дорогу. До нее было километра два, не больше. Сомнений не было — по дороге шли, стреляя на ходу, наши танки.

Глава IV

МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

«Здорово махнули!» — подумал Малявкин о танкистах, еще вчера находившихся в ста километрах отсюда. Но где же Костя? Видно, заблудился, салага, или покалечился при спуске.

Озираясь по сторонам, где пригнувшись, где на четвереньках, Малявкин стал отходить на юг, в горы, рассчитывая обойти японцев и лощиной снова пробраться к дороге. Теперь его задание, даже будь у него рация, потеряло смысл: пройдет полчаса, час — и эти места останутся в тылу. Он отдышался в какой-то яме под кустом боярышника. Дальше лежали почти голые горы. И вдруг Малявкин увидел двух японцев.

Их путь преграждала глубокая расселина. Значит, если они не решатся на спуск, им надо возвращаться, взбираться вверх, идти на него, Малявкина. Он прицелился. Только

чуть нажать спусковой крючок... Раза два Малявкин уже чувствовал упругость пружины и расслаблял палец. Все казалось, что мушка пляшет, и он никак не решался нажать спуск...

Устал, отдышаться надо. В конце концов, он разведчик и не должен затевать перестрелку. Он может отойти, спрятаться в кустах. Если это солдаты, он так и сделает. Зачем ему привлекать к себе внимание разбегающихся врагов? Пока Малявкин рассуждал так про себя, японцы вышли на прогалинку и повернулись друг к другу; теперь было видно, что оба они офицеры и один —пожилой, с оттопырившейся полевой сумкой под мышкой.

«Уж не командир ли части с адъютантом? — подумал Малявкин и перевел взгляд туда, откуда они шли. Кажется, никого... Малявкин снова прицелился. «Была не была!» Нажал спуск. Один уткнулся в землю, другой медленно опрокинулся навзничь.

Малявкин подбежал к убитым, чтобы взять документы. Длинный оказался подполковником. Рядом валялась желтая полевая сумка. Нагнувшись за ней, Малявкин услышал выстрел. Не выпуская сумки, он повернул на звук автомат, но японец прыгнул на него. Малявкин рванулся и заскользил вниз, до крови обдирая руки. Потерял равновесие и японец.

Они очутились метрах в пятнадцати друг от друга, спрятались за выступы. Сумка откатилась метра на три дальше. Малявкин опять вскинул автомат, передернул затвор. «Нет патронов!» Рука машинально скользнула к бедру — запасного диска не было, он остался на погибшем конвоире. Но японец тоже не стрелял. Малявкин видел часть лица и руку с пистолетом. Даже не руку, а лишь указательный палец, согнутый на спусковом крючке. «Может, боится привлечь наших, выжидает?..» Только сейчас Малявкин ощутил боль в бедре, заметил темное пятно. Саднило ободранные о камни руки. Он нащупал рану и осторожно, не сводя глаз с противника, левой рукой достал перевязочный



пакет, придавил к телу. Слышно, как стучит сердце. «Почему же он не стреляет?.. Может, у него тоже кончились патроны? Только бы не заметил, что я ранен».

«Руки вверх!» — хочет крикнуть Малявкин и не решается. Ему кажется, что палец на спусковом крючке дрогнет и...

— Руки вверх, — тихо говорит Малявкин. Грозные слова звучат странно, несерьезно. Японец молчит. Черный глаз, кусок лба. Пистолет и длинный палец на спусковом крючке. «Неужели не понимает?» Малявкин еще не догадывается, что перед ним недавний знакомый — Кагемару. Тогда он был в очках.

* * *

«Отчего же он не стреляет? — думает и японец. — Ранен? Он должен быть ранен. Стыдно промахнуться с пяти шагов. Может, душа его уже расстается с телом?»

Черный зрачок автомата дрогнув, склонился к земле. Так и есть: он умирает!.. Нет! Не от физической слабости русский опустил автомат. Значит, он не хочет стрелять. «Руки вверх» — слышит Кагемару. Русский предлагает сдаться. Кагемару нужен живым. Живым? Сдаться он мог и там, на дороге. Кагемару не хочет советского плена!

Не поднимая пистолета, чтобы усыпить бдительность русского, Кагемару старается пригнуться так, чтобы взять его на прицел. Это не удастся... Тогда японец начинает медленно приподнимать пистолет. Но и зрачок автомата подпрыгивает. Надо стрелять точно, чуть повыше глаза. Без очков, потерянных при падении с кручи, Кагемару не уверен в себе. И он до боли в спине прижимается к шероховатому, как дресва, камню.

Теперь они не видят друг друга. Кагемару думает: может, русский рассудит трезво, уйдет — ведь за ним путь к шоссе. Зачем ему умирать в этой расселине? Кагемару опускает пистолет. «Уходи, солдат, уходи! — говорит он, говорит его жест, его взгляд. — Уходи, русский!»...

Малявкин понимает: схватка неизбежна. Японец может уйти только мимо него — живого или мертвого. Уйти самому? Если перевязать ногу, — пожалуй, можно. Но тогда вслед пойдет и японец. С оружием. Пристрелит — и все. Одной рукой Малявкин обшарил карманы: не завалился ли где хоть один патрон? Ствол автомата опустился и теперь смотрел в землю... Пусть. Не надо держать противника в напряжении. Надо, чтобы он понял, что нужен живым.

— Сдавайся — Ниппон, жизнь! — негромко говорит Малявкин.

О, Япония, жизнь...

* * *

Студент консерватории Сабуру Кагемару никогда не мечтал о военной карьере.

— Меч даст нам все, и гораздо быстрее науки. А музыка хороша после победы, — сказал ему, прощаясь, отец, редактор влиятельной токийской газеты. Он не одобрял чрезмерное увлечение сына музыкой, странную дружбу его со студентами, чьи родители не имели «положения в обществе».

В начале августа 1945 года Сабуру встретился с отцом в Мукдене. Остановившись в лучшем отеле города, отец принимал в тот вечер высоких гостей, чьи имена приводили Сабуру в трепет: профессора Исии и генерала Сатаяму. Сабуру знал: сын Сатаямы, в сущности еще юнец, уже возглавлял в газете отца международный отдел. Склонившись к Сабуру и глядя прямо в его оробелые глаза, Сатаяма поднял рюмку.

— За флаг Восходящего Солнца! — он выпил и, опустившись в кресло, затыкнул:

Настанет время — и флаг Восходящего Солнца
Будет развеиваться не только над Москвой,
Но и над Берлином...



Сабуро опустил глаза. Скрывая смущение, он принялся за трепангов. Кагемару-отец тоже пел, но чувствовалось, больше по обязанности хозяина, не смея обидеть высокого гостя.

И когда наше время канет в вечность,
Мы будем бороться теньями,—

уныло подтягивал и профессор Исии.

А Сабуро думал: «Неужели это можно — после трагедии Хиросимы готовиться к «мести», мечтать об уничтожении бактериологическим оружием миллионов людей?»

— Отец,— спросил он перед отъездом в часть.— Разве ради этого мы начали войну? Значит, и в газете, которую читают сотни тысяч людей, ты публикуешь ложь?

Отец пожал плечами. После гнетуще долгой паузы он все же сказал:

— У меня нет и никогда не было выбора... Ты поймешь это позже...

«Отец! Если бы ты хоть минуту простоял под стволом автомата! Для того, чтоб это выдержать, надо знать: ради чего?»

Сколько времени стоит он? Минуту, две? Каким неизменно длинным кажется время, когда стоишь вот так между жизнью и смертью!

«Ты поймешь это позже»... Что он имел в виду?

Только сейчас Кагемару замечает, что значок автомата смотрит мимо. Мимо! Русскому мешает выступ скалы. Чтобы попасть, ему надо сделать полшага в сторону. Но эти полшага будут стоить ему жизни... Тут Кагемару вспоминает: нет очков. Может промахнуться.

«Гранату бы!» — с тоской, обреченно думает он.

* * *

«Ну что бы прихватить еще лимонку!» — сокрушается и Малявкин.

Солнце раскалило и металл и камень. Хочется пить. Хочется присесть: здоровая нога устала держать двойную тяжесть. Медлить нельзя. Враг здоров, а он ранен. И неоткуда ждать помощи. Эх, если б вовремя встретиться с Костей!

— Россия, Чайковски... Хорошо! Уходи, сордат! — вдруг доносится до Малявкина. Что бы это значило? Уж не рассчитывает ли он таким приемчиком выманить его, Малявкина, из-за укрытия?

«Дураков нет! — зло усмехается Малявкин. — Или он музыкант?» — задумывается он спустя минуту. Ему на мгновение припоминается поездка с агитбригадой по колхозам; концерты в поселках, на полях; она, Лена...

«Ишь, Чайковски», — про себя повторяет он. И представляет: может, так же, как Лену, слушали его до войны там, на далеких островах.

Из-за выступа скалы Кагемару видит только часть загорелого лба, глаз. Он мог бы мгновенно отскочить в сторону — русский не успеет опомниться, как будет убит в упор. Но если без очков он не сумеет первой пулей убить его? Русский разрядит свой автомат в грудь Кагемару. Что изменится в мире, если станет на одного русского меньше? Ничего. А если... то в мире будет меньше на одного японца. Но этот японец — он, в мире не будет его, Сабуро Кагемару. Зачем тогда этот мир — земля, солнце, музыка? Но что делать? Как уйти от русского? Как убедить его, что он не хочет ему зла, пусть и сам уходит?

— Не надо стреляй. Ты — родина, я — родина, — заметно волнуясь, произносит японец, и Малявкин понимает: он не хочет стрелять, но не хочет и плена.

Или все-таки сдастся?

Плохо перевязанная рана опять закровоточила. Нельзя терять ни минуты!

Малявкин отпрыгивает, вскинув автомат.

Теперь они стоят лицом к лицу.



Две-три минуты назад Кагемару, наверное, нажал бы спуск. Но ведь и русский не стреляет. И может, потому еще, что он узнал молоденького с веселыми конопатинками солдата, пальцы бывшего пианиста сами разжались. Грубо звякнул у ног пистолет.

Русский тоже не выстрелил. «Жизнь»!

* * *

Сообщая координаты расположения японцев, Смирнов понимал, что ему надо немедленно уходить, иначе он и сам попадет под бомбежку, но две попытки ни к чему не привели: останавливала непривычно звонкая речь японских солдат. Ничего не оставалось делать, как отсиживаться в зарослях до наступления темноты. А бомбардировщики не заставили себя ждать. И как ни хоронился Костя меж камней, не уберегся.

...Первое, что он стал чувствовать, приходя в сознание, словно кто-то робко будил его, стесняясь притронуться. Он открыл глаза. Казалось, прошло лишь несколько минут. Тихо. Жутко. Смирнов понимал, как обманчива эта тишина. Значит, бой кончился, и многие японские солдаты наверняка разбежались по лесу.

Неожиданно в наушниках отчетливо послышался знакомый голос. Он вздрогнул и слабо улыбнулся. Так вот кто искал его!

— «Керулен», я «Аргунь-два»... «Керулен»...

— Я «Керулен»! — отозвался разведчик.— «Аргунь-два», я «Керулен»...— добавил он тише и, наконец, вспомнил, что рация на приеме.

Попытался приподняться, но не смог. Осмотрел себя: вроде руки и ноги целы, только ужасная слабость и шум в голове. «Наверно, контузия»,— подумал он, плохо представляя, что это такое.

— «Керулен»... «Керулен»...— настойчиво звал голос, а Смирнов, бессильный сделать еще хоть одно движение, не

мигая, смотрел в небо, будто голос радиста доносился оттуда.

— Сейчас, сейчас,— шептал он, отлично сознавая, что никто его все равно не слышит.— Сейчас! — Он поднялся — и упал на рацию головой...

Глава V

ТАНКИ В ОБЛАКАХ

Дивизия Хабарова приближалась к перевалу. То извиваясь между скал, то, подобно мечу, рассекая их, дорога вела все выше, туда, где в тумане или в облаках чернели изломы хребта. Накануне здесь прошли дожди, и машины артиллеристов буксовали. Автоматчиков распределили по расчетам. Даже офицеры штабов брались за лафеты, за колеса.

«Раз, два... взяли!»

Соседом Сибирянова оказался Островляничик. На крутых подъемах он осторожненько брался за лафет, надувал щеки.

— Раз, два... взяли! — направлял усилия кто-нибудь из командиров.

— Берем! — за всех отвечал Островляничик, шумно вдыхая воздух.

— А ну еще, еще...

Гаубица медленно ползла в гору. В загустевшей грязи оставался узорчатый след колес.

— Ух,— облегченно вздыхал Островляничик. — Порядок!

Двигались дальше почти без остановок: явственно доносилось уханье бомбовых взрывов. Земля дрожала, словно где-то в недрах ее, придавленные миллиардами тонн камня, бьются, ища выхода, титанические подземные силы. Дорога сужалась. Скалы как бы сжимали ее — ни отступить, ни свернуть.

— Смотри, японцы!

Обочины дороги сплошь завалены их телами. Вооруженные лишь пулеметами и гранатами, эти солдаты ждали нашу пехоту, чтобы задержать ее у перевала, расстреливать с ближних гор. Японские генералы не хотели верить, что здесь пройдут советские танки.

— Что-то пугали нас имя, пугали, а ни орудий у них путявых, ни гранат противотанковых даже...— вдруг загворил пожилой артиллерист.

— Ишь, расхрабрился! — вмешался Долинин.— А ты у дальневосточников спроси!

Это была дивизия, сутки тому назад демонстративно отступившая из Номура. Последняя дивизия армии Сатаямы. Как и в Номуре, Сатаяма отдал приказ драться до последнего солдата. И вот взводами, ротами полегли солдаты в окопах, ставших им братскими могилами... Впрочем, большинство все же предпочло плен. Японцев пока отвели в сторону, в лошину.

А впереди танки с десантами продолжали «марш в облаках». Слева высились буро-черные скалы, справа зияла пропасть: внизу виднелись лишь ключья белесых облаков. Правые гусеницы танков нависали над обрывом. Седловина делала изгиб, и Сибирянову казалось, что танки исчезают не за очередным хребтом, а падают куда-то вниз. Переваливаясь по камням, вползая на склоны, они неотвратимо приближались к тому, по чему за эти дни истосковались души и солдат, и генералов, к тому, что завтра в сводках сухо назовут «оперативным простором».

Прохлада, чистый горный воздух, спад напряжения, усталость — все это сморило как-то враз; на ходу слипались веки. Хорошо, что перед опасными участками офицеры предупреждали: «Внимание! Осторожно!»

Шли по-прежнему вместе с артиллеристами. Перед отделением Сибирянова за студебеккером тащилась тупорылая гаубица, и у Ивана все навязчивей вертелась мысль: почему б им не забраться в кузов, где белеет лишь несколь-

ко ящичков со снарядами? Можно не всем. В отделении осталось семь человек. С полчасика вздремнет он с двоими, потом — остальные. Оставив за себя Очирова, Сибирянов подбежал к студебеккеру, взялся за борт.

— Нельзя! — раздалось из темного угла крытого брезентом кузова. Знакомое лицо появилось в проеме. «Сеня-наводчик», — вспомнил Сибирянов артиллериста, которого земляк-связист тщетно просил под Номуром: «Дай садану!»

— Не положено! — повторил он непреклонно.

Сибирянов хотел присесть на гаубицу — трясет, того и гляди угодишь под колеса. Да и глазастый этот Сеня — все равно увидит.

И вдруг:

— А-ох! — враз вырвалось у солдат. Студебеккер не повернул на повороте, а рванул прямо под откос и — в пропасть, в несколько секунд вместе с гаубицей исчез внизу, в облаках. А Сеня-наводчик сумел-таки выскочить, пока машина чуть притормозила на откосе. Припадая на вывихнутую ногу, он поднялся с помощью командира орудия, сержанта.

— А я только выскочил из кабины размяться. Чтобы в сон не тянуло, — объяснил сержант.

— Дорого станет тебе эта разминка.

— А он при чем? — вмешался Островлянчик из любопытства.

— А при том, — пояснили ему. — Посадили в кабину — следи, чтоб водитель не клевал носом!..

Сеню-наводчика унесли в санчасть, сержанта тоже увели куда-то.

«Еще одна похоронная... — невольно подумал о водителе потрясенный Сибирянов. — И хорошо, что хоть одна, а не четыре...»

Сразу по-другому взглянул Сибирянов и на случай в барханах: прав был строгий Сеня-наводчик. Дай он «садануть» земляку — тот и не артиллерист вовсе, по своим мог шарахнуть! Не зря говорится: «Не положено!»

Откуда-то из головы колонны передали: минут через десять будет привал.

Остановились в ближайшей седловине, меж пологих, приземистых гор, какими они казались, конечно, только отсюда, с высоты примерно полутора километров. Танкисты уже отдыхали, жадно вдыхая горный воздух.

Кое-кто тотчас лег, захрапел. По-над хребтом плыли одинокие мохнатые тучки, и горы отражали мягкий голубоватый свет луны. За поворотом откуда-то снизу скользнула полоса света и тотчас исчезла. Сибирянов узнал машину Хабарова.

И без того рослый генерал еще встал на сиденье и поднял руку.

— Все меня слышат?

— Слышим!

— Все!

— Товарищи! Радио Владивостока сообщило, что японское правительство, якобы готово принять условия, капитуляции и дает приказ о прекращении сопротивления. Но мы верим только фактам! Враг коварен. И если не сдается — уничтожайте! Без колебаний.

— Ура-а-а!

Вверх густо взлетели шлемы, пилотки, прокатился возбужденный говор. Сибирянов, хотя и не курил, вдруг завернул «козью ножку» в добрую четверть. Те, кто побойчей, собравшись группами, невесть над чем покатывались со смеху. Куда девались и сон и усталость! Но главное началось чуть позже, когда кто-то из танкистов растянул выдавшую виды гармонь. Поварам у походных кухонь пришлось напоминать об ужине дважды, трижды.

Рука гармониста прошлась сверху вниз по ладам, словно пробуя голоса, и гармонь залилась задорно, с лихими переливами. Кто-то, сдернув с головы шлем, пустился в пляс, и вот уже образовался круг, и добрый десяток людей принялся выкидывать такие коленца, что только и скажешь:

«Ай да ну! И что же за народ эти танкисты!» А гармонист вдруг привалился к броне, вытирая на лбу тыльной стороной ладони пот.

— Ну, дал! — хлопнул его по плечу Сибирянов.— Э-э, да что это у тебя! Ты... седой!

Танкисту кто-то подал обломок зеркала, он глянул и как бы выдохнул тихо:

— Это... Под огнем ремонтировал танк.

— Седина — ничего. Была бы кровь горяча да сердце молодо.

Ужин кончился, и лагерь приутих. Сибирянов прилег, заложив руки за шею; следил за бегущими на запад, в родные края, причудливыми тучками. Кто-то тихо запел. Один, без музыки.

— Знаете что, давайте сочиним свою песню,— предложил Сибирянов.— Каждый по строчке — и песня!

— И получится винегрет! — съязвил Островляничик.

Но предложение приняли.

— Лиха беда — начало,— сказал Сибирянов.— Я думаю начать примерно так:

Усталым солдатам не спится
В краю неизвестном, чужом...

Лица солдат оживились. Первый шаг, самый трудный, сделан.

И поле огнями дымится,
Играет огнем,—

выкрикнул откуда-то из темноты Очнров.

— Ну вот, видите, получается! — воскликнул Сибирянов.

...Когда растаяли в ночи последние звуки, никто не шевельнулся. Казалось, песня еще жила, и солдаты слушали ее, сжав обветренные губы, дыша в такт ей. Сколько же у человека сил, и есть ли предел им?..



Глава VI

ПОЕДИНОК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Малявкин узнал «увасающего русских» японского офицера. Пистолет и нож его взял, а свой автомат молча повесил ему на плечо. Приказал:

— Сиди.

Потом он перебинтовал ногу, взял сумку подполковника, открыл... Вместо штабных документов в ней оказались пачка галет и две банки консервов. Малявкин положил галеты в карман, стал грызть на ходу. Шел, опираясь на плечо японца.

— Музыкант?

Японец кивнул, улыбнулся.

— Доигрался...

До Кагемару дошла ирония. В автомате русского нет патронов. Да еще ранен. А сдался он, Кагемару. Он почувствовал себя обманутым. Вторично. И на этот раз обманутым грубо, нахально. А если?.. Ведь одному, без помощи, русскому отсюда не выбраться. Значит, можно вырвать пистолет. Или столкнуть его под гору. Даже если русский останется жив, можно успеть скрыться...

Но что ему делать в горах? Безоружному, без пищи?

Армия, в могущество которой он верил, гибнет, разваливается.

Долг? Во имя целей, о которых так откровенно говорил Иси, он не может жертвовать собой. Он не будет бороться тенью!

Когда остановились передохнуть, Кагемару, обливающийся потом, прошептал:

— Еда. Рассвет.

«Ага, готовя на убой, вас кормили на рассвете», — понял Малявкин. Они сели. Малявкин достал галеты и банку консервов. Кагемару опять улыбнулся, обнажив мелкие бе-

лые зубы. Галеты грыз, подставив ладонь, чтобы не сыпались крошки.

Солнце уже не палило; по склону откуда-то сверху натекал приятный холодок. Мучительно хотелось спать. С назойливостью осенней мухи билась жестокая мысль: а что если... Пока японец жив, спать опасно. Малявкин старался перехватить его взгляд, но японец сидел, полузакрыв глаза, и тихо, раскачиваясь из стороны в сторону, что-то пел, заунывное, выворачивающее душу. Кончив петь, Кагемару помолился и свернулся калачиком.

На всякий случай Малявкин связал ему руки. Отошел, привалился к замшелому прохладному камню. «Стоит закрыть глаза — и все», — подумал он о сне, но невольно рядом встало другое значение этого «все»: «И не проснешься». Малявкин двигал мускулами лица, сжимал и разжимал пальцы, рассматривал окрестность — словом, пытался как-то избавиться от сонливости. До армии Малявкину однажды пришлось не спать дольше — двое суток. Но сейчас сказывались и физическая усталость, и то, что он весь день ничего не ел. А главное — наконец наступила разрядка после крайнего напряжения нервов.

Японец дышал неслышно — будто притворялся, что спит. Малявкин долго следил за его лицом — губами, веками — не дрогнут ли, не приоткроются ли чуть?

«Спит!» — уверился он.

Небо темнело, горы затягивались синеватой дымкой, с лоцин вверх, к облакам, потянулись клочья тумана. Приятная прохлада заставила Малявкина на какой-то миг закрыть глаза от удовольствия; прислушиваясь к звукам ночи, он не заметил, когда стал слышен лишь голос Кости, склонившегося над рацией.

— «Аргунь», я «Керулен-один»... На дороге засада... Засада...

— Давай, Костя! — с облегчением и азартом шепчет ему Малявкин. — А я прилягу, послушаю, как трава растет.

Да ты не психуй: Малявкин, приходилось, не спал по двое суток.

Он ежится от росной травы, прислушивается. Звуки приглушены, монотонны. «Это ветер... Ветер...» Пряча лицо от ветра, Малявкин торопливо идет по улице, знакомой до радостной боли. Да это ж его улица! Вот и дом, где он родился! Малявкин бежит и видит на крыльце мать!

— Мама!

— Сынок! — бросается она ему навстречу, улыбаясь и плача, обнимает. И вдруг Малявкин чувствует — ее руки становятся холодными-холодными...

— Сынок, ведь там у вас началась война. Как тебя отпустили? И зачем с этим? — с испугом смотрит она на ав-томат.

В самом деле, как он очутился здесь? Малявкин растерянно смотрит на мать и не может вспомнить — кто же отпустил его домой и зачем?

Он видит, как лицо матери каменеет, и весь подается к ней. Да, действительно, как он оказался дома? Ведь его послали к Хингану!

— Мама! Я не трус. Не думай. Я не один,— наконец вспоминает он,— я с Костей! Мы спустились на парашютах.

Малявкин успокаивается: его грудь дышит ровнее, и все: мать, родная улица, Костя — все исчезает...

А Кагемару снится, что он снова стоит, прижавшись к скале, целится. Осечка, снова осечка. Кагемару сдается и, усыпив бдительность русского, убивает его камнем. Свобода! Мукден. Вместе с отцом он едет на аэродром. Вон из этой страны! К черту эту самоубийственную войну!

Вдруг Кагемару с ужасом замечает, что они окружены толпой японцев в рубищах, босых, полуголых. Изможденные лица, горящие ненавистью глаза. Люди молчат и смотрят на него. «Да как они смеют!» — думает Кагемару.— «Разойдись, свиньи!» — хочет крикнуть он и просыпается.

Русский спит! Дыхание Кагемару перехватывает. Он старается взвесить все спокойно. Ремень он перетрет о камень или, даже не освобождая рук, вытащит у спящего свой нож, разрежет ремень. При первой возможности переоденется и будет пробираться в Японию... И тут перед глазами встает кошмар этих суток. Куда бежать? Вспомнилось: толпу нищих, голодных людей он видел перед отъездом в армию из окна автомашины в Иокогаме. «Потенциальные красные», — подумал он тогда о них.

Кагемару смотрит туда, где подернулась алостью рассвета полоска неба. Да, у красных и в Японии много единомышленников, а у него — врагов. Кто знает, что делается там, на островах? Недосыгаемо далекой виделась родина, быть может, уже оккупированная американцами. И не короче ли путь к ней через Россию?.. Он ложится навзничь и долго смотрит в медленно светлеющее небо.

Нет, он уйдет! Не тронет русского, но уйдет!

«Я присягал императору, я не трус...», — пробует убедить себя Кагемару. Он поднимается, делает шаг, другой и бежит. Со связанными руками.

Кагемару хорошо знал эти места. Отсюда дорога, по которой двигались советские войска, поворачивала круто на север, к перевалу, и затем долиной реки снова шла на юго-восток. «Перевал обороняет лучшая дивизия Сатаямы, — на ходу припомнил он. — Она задержит русских». А он пойдет напрямик, охотничьими тропами. Пробрется в Мукден. Оттуда — в Токио.

Через час он уже взбирался на седловину главного хребта и, когда поднялся, увидел: вдали, за перевалом, шли танки. Похожие на майских жуков, они ползли бесконечной цепочкой, теряясь за синеватыми отрогами. Кагемару прилег, глядявываясь в полузатянутые туманной дымкой машины. И хотя на таком расстоянии нельзя было определить ни формы их, ни национальной принадлежности, Кагемару отлично знал, чьи это танки. Значит, они преодо-

лели Хинган! Прошли сквозь облака и... сквозь последнюю дивизию армии Сатаямы.

Кагемару плохо представлял, сколько времени он пролежал на перевале, пытаясь перетереть ремень о камни, но, поднявшись, он побрел не на восток, а обратно, на запад. Он не хочет, не может сдаваться в плен еще раз, другим солдатам. Да еще со связанными руками! С него хватит пережитого! Он пойдет в плен с тем, с «его» русским. Незаметно для себя он прибавляет шаг...

Парашютист еще спит. «Как он молод!» — почему-то только сейчас это бросилось в глаза Кагемару. Он ложится навзничь и долго смотрит в небо.

«Надо же связать ему и ноги!» — с этой мыслью вдруг вскакивает Малявкин.

...Второй раз Кагемару будит песня. Русский перебинтовывает ногу, тихо напевает:

Не спрашивайте, сколько мы убили,
Спросите лучше, сколько мы спасли.

Заметив, что японец проснулся, Малявкин сказал откровенно:

— А ведь все, шабаш. Не смогу идти.

— Простите,— привстал японец,— это не военный тайна... Скорько вам рет?

Малявкин удивился, что японец произнес эту фразу почти без акцента, и до него не сразу дошел смысл вопроса. Потом он улыбнулся, улыбнулся по-мальчишески:

— Восемнадцать. Сегодня стукнуло восемнадцать. Так что сегодня мой день рождения.

Кагемару встал.

— Разрешите, я...

Шел август тысяча девятьсот сорок пятого года.

Десантники па проходящих мимо танках видели: японский солдат выносил из гор раненого советского солдата...

* * *

Костя Смирнов ничего не мог понять. Непроглядная темень стояла вокруг. «Где звезды? Должны же быть звезды! Где я? Я ничего не вижу! — Страшась внезапной мысли о слепоте, он напряг зрение и различил наклонную неровную стену. — Шалаш? Плен?»

— Твоя не волнуйся... Россия шанго! — подыскивая слова, проговорил вдруг кто-то из темноты у изголовья.

— Кто вы? Ты кто?

— Моя? Васька Хатунка. Была партизана. Теперь мала-мала охота. Твоя вот. Машина, ружье,— засуетился охотник и откинул завесу над входом в шалаш. — Видняет.

Смирнов улыбнулся; чем-то непередаваемо родным повеяло от этого сибирского слова. Видно, Хатунка жил среди русских.

На шкуре горного козла лежали радиостанция, автомат, банки консервов.

— А я... Давно тут?

— Твоя? Два солнца. Двое суток!

— А дорога, наши близко?

— Скура, скура, — не поняв вопроса, ответил охотник. — Надо — моя сходит. Ваши там, там — везде! — показал он на север, на восток.

«Значит, перевал взят. Значит, его с Малявкиным уже ищут».

— Скажи, я здесь, а второго, наверно, схватили... они, японцы...

Глава VII

БУДЬ НАЧЕКУ, СОЛДАТ!

За перевалом вдруг снова начались дожди. Тучи, не в силах перевалить Хинган, сгущались, раздражались ливнями. Тысячи горных ручейков сливались в мутные кло-



кочущие потоки. Река пенилась и бурлила, разливаясь по низменным и заболоченным местам. Танки, хлюпая, превращали грязь и белый горный песок в бурюю жидкую мешанину. Наступление практически остановилось.

— Ваше мнение, товарищи? — спросил генерал-майор Хабаров окружавших его офицеров штаба.

— Несмотря на мирные реверансы, в Приморье японские войска стали подозрительно упорны,— первым заговорил начальник оперативного отдела.

— Одно из двух: или штаб Квантунской армии против капитуляции и не подчиняется Токио, или тут игра крупнее,— продолжая думать об остановившихся танках, сказал Хабаров.

— Бросить все силы против нас и сдать острова, а если удастся, то и Порт-Артур и Сеул, американцам?

— Не только это. Пленные говорят, что им обещали применить секретное оружие, которое повернет ход войны.

— Гитлеровцы перед крахом тоже...

— Да, но атомных бомб у них и не предвидится. Обычный блеф? Но ради чего? В их положении? Остается одно: бактериологическое...

Генерал сказал это спокойно, но к лицу его обильно прилила кровь: «Неужели решатся?»

— Передайте приказ: дорогу для танков строить всем! Сколько у нас парашютистов?

— Товарищ генерал! — подошел к Хабарову офицер связи, знакомый еще по Номуру. Только теперь он, как все, загорел и похудел.— Донесение от командира передового отряда!

Хабаров молча протянул руку за пакетом, разорвал.

«...В городе Сыпингай японская пехотная дивизия ждет, чтобы ее кто-либо взял в плен, но нам некогда этим заниматься, мы пошли вперед...»

Ну наконец-то! Добрый знак.

Но мелкие, разрозненные группы фанатиков, нападая с тыла, особенно по ночам, сопротивлялись с отчаянием об-

реченных, и, чтобы не размагничивать подчиненных, на этот раз о содержании донесения Хабаров не сказал ни слова. А хотелось! Ведь это — итог не только возросшего могущества Родины, но и солдатского мужества, труда.

Двигались по-прежнему в постоянной готовности к бою.

Действительно, пехотная дивизия и танковая бригада в Сыпингае сложили оружие заблаговременно, но теперь и солдатам это казалось уже естественным: шло не одиннадцатое, как в Номуре, а двадцать четвертое августа, и Квантунской армии на тропе войны, как выразился Островляничик, теперь «ничего не светило».

Здесь же, в Сыпингае, Хабарову доложили, что взят в плен генерал Сатаяма.

— Далеко удрал, — не удержался от улыбки Хабаров. — Доставьте его ко мне.

Хабаров подозвал адъютанта.

— Нельзя ли соорудить чайку? Говорят, восточный этикет требует старших по званию встречать с угощением. — Он снова улыбнулся. Впервые за всю войну такая крупная неприятность, как остановка войск из-за стихии, не испортила настроения.

И вот они сидят в большой крытой машине. Хабарова, привыкшего к высокомерной угрюмости немецких офицеров, поразила отталкивающая лесть японского генерала.

— Я рад перейти под ваше высокое покровительство и выразить свое почтение, — любезно улыбаясь, по-русски говорил японец. — Ваши танки перешли Хинган! История не знала подобных примеров.

А Хабаров вскоре почувствовал бесполезность и допроса, и разговора. Спросил все же:

— Вы с блошиным генералом, с Исии Сиро, знакомы? Лично? — спросил Хабаров. — Бывали в его отряде?

— Нет, не знаком, — без улыбки ответил Сатаяма, — Не был.

Хабаров коротко бросил:

— Увести!

Автоматчики с двухсот-трехсотметровой высоты сбрасывают камни, саперы и танкисты двигаются низом, укладывают их.

«Плис-сь-буль! Плис-сь-буль!» — доносится из кустарников. Это стрелки рубят полузатопленную лозу. На дороге взлетают веера грязных брызг. Грохот, всплески камней эхо беспрерывно разносит меж гор.

Сибирянов, сверху по пояс запыленный, снизу по пояс мокрый, ходит, не разбирая дороги, по колено в воде, в грязи.

У Островляничика рукава гимнастерки засучены, воротник расстегнут, пилотка съехала на затылок.

— Берем! — командует он сам себе и, подтащив камень, заключает:— Порядок!

Саперы, танкисты и десантники, в одиночку и группами попеременно, подкатывают камни один к другому. Где посуше, пехотинцы укладывают фашины из лозы, набрасывают гравий.

Солнце близ зенита. Парит. Мокрые камни блестят, переливаются всеми цветами радуги. С разгоряченных лиц струйками стекает пот.

«Трах-х! Дзинь-нь! Буль-буль...»

— Бой-ся!

Изредка в этот шум и гам врывается гул самолетов, это истребители-патрули. Японская авиация не показывается. Да и верят ли там, в Мукдене, в Токио, что советские танки перешли Хннган и пройдут через топи и болота? Об этом подумал сейчас Хабаровов, пробираясь на машине к авангарду дивизии; об этом думает Сибирянов, вытирая взмокшим рукавом побледневшее от бессонных ночей и усталости лицо.

Кипенье реки, заоблачный взлет гор, а впереди изумруд и перламутр затопленных рисовых полей с опрокинутой в них чашей неба.

Маньчжурия, Маньчжурия...
Китайская страна.

Мутный поток несет раздувшиеся, почерневшие тела: мужчины, женщины. Голод, болезнь или пытки обезобразили лица? Кто они, откуда? Стремительные ли волны реки занесли их сюда, сами ли они, лишенные средств к существованию, решили умереть на своей земле?

Южная Маньчжурия встретила армию сюрпризом: насколько хватал глаз — на север, на юг, на восток — раскинулись топи, вода... Только узкая стрела железной дороги, черная, разрезала сплошь затопленные рисовые поля.

У Ивана тревожно екнуло сердце. Ведь сбрось японцы здесь одну бомбу — какая будет пробка! Войска остановились снова. Радисты вслушиваются в эфир, ожидая команды. А в воздухе уже кружат наши «ястребки». И вот один за другим на полотно железной дороги поползли тяжелые танки с зенитными пулеметами, «катюши», зенитки, снова танки...

Противнику было уже не до бомбежек. Квантунская армия разваливалась в судорогах — как удав рассеченный на части.

Без боя вошли в первый город. Несмотря на усталость, «салажата» преображались на глазах. Под приветственные крики измученных пятнадцатилетней оккупацией людей ноги печатали шаг и без команды. А песня! Тут и Островляничик не подкачал.

Тебя называли орленком в отряде —
Враги называют орлом!

Да разве только настоящие богатыри, самые боевые орлы, прошагавшие от Волги до Берлина, прошли бы так лихо, спели бы так могуче!

Таких уже ни у кого не повернется язык назвать салажатами!

— Шанго! Сыпасибо! — выкрикивает кто-то в толпе. Может, это относится лишь к песне, но старшине вдруг вспоминается ноябрьская ночь сорок второго, перебежчик — строитель подземных крепостей. «Спасите! Спаси-

те!» — повторял он в слезах. Тридцать тысяч таких, как он, только в Номуре уничтожила японская военщина. «А сколько по всей Азии?» — думает Каратаев, и гордость за свою страну, за ее армию, спасшую народы и на западе и на востоке, наполняет сердце.

А впереди стайка девушек бросает под ноги солдат цветы. Каратаев улыбается. И вдруг в нем самом просыпается «салажонок».

— Р-рота!

И пауза. Это значит: руби ногой, не жалей сапог! «Бум, бум!» — гудит земля.

Строитель Номура Шаоци, попавший в «Управление по водоснабжению...», а в действительности в бактериологический отряд № 731 в числе трехсот подопытных смертников, вскоре узнал, какая судьба ждет его, но та еще раз скупой улыбнулась «добровольному мастеру»: в крематории, где сжигали умерших при испытании смертоносных бактерий, потребовались новые рабочие, и Шаоци попал туда. Здесь «живым трупом» он встретил и август сорок пятого, когда не только Ямаде стало ясно, что от разгрома японскую армию уже не спасут ни чума, ни холера. Поступил приказ: немедленно уничтожить все следы подготовки к бактериологической войне.

Ликвидацией лабораторий, госпиталя, производственных корпусов и крематория руководил лично генерал профессор Исии Сиро. Расстреливали не только подопытных больных — всех. Душераздирающие крики, запах гари человеческого мяса... Многие из «врачей» подтаскивали к зданиям взрывчатку, не успев снять белых халатов. Печи крематория еще дымили, а под них уже закладывали динамит. Во дворах зданий жгли архивы и все, без разбора, бумага. За каждым отлетевшим листком гонялись дежурные офицеры. Негромкий, настойчиво-властный голос генерала Исии преследовал, гнал:

— Живей! Живей!..

Наконец, он решительно шагнул к машине, и вот она бесшумно покатила на юг; здания, сотрясаемые взрывами, раскалывались и оседали, хороня под собой и тех, кто убивал и жег трупы. Погиб и Шаоци.

Генерал-бактериолог Исии Сиро опоздал на последний самолет, улетающий из Чаньчуня в Японию. Аэродром был уже в руках советских парашютистов, и Исии, не доезжая, свернул на юг. В одной деревушке его машину обстреляли из охотничьих ружей, в другой он едва проскочил, спасаясь от безоружной, но разъяренной толпы. Этот случай изменил планы Исии. Свернув в ближайшую рощицу, он переоделся, натянул немного тесноватый, пахнущий бензином комбинезон. Взял лишь деньги, пистолет и немного еды. Облил машину бензином чиркнул спичкой и... и представил, как ввысь взметнется пламя. Его заметят издали, сбегутся — он не успеет уйти. Давно ли все тут кланялись в пояс, а сейчас... Пальцы обожгло, спичка, угасая, упала на песок. «Спрятать мундир, документы!» Исии тут же, рядом с машиной вырыл ямку. На всякий случай завернул мундир с документами в кусок брезента.

Исии решил обратиться в один из ближайших портов. А там пароходы, шхуны, в конце концов в городе он найдет верных людей и будет ждать инструкции из Токио. Генерал знал: о нем не забудут даже в эти трагичные для империи дни.

Спустя час-полтора, прямо в поле, он купил обычную в этих местах одежду — синюю поношенную блузу. А вечером обменял комбинезон, напомиравший об армии, о форме, на латаные черные штаны. И все же Исии побаивался идти по дорогам — выдавали холеные руки, да и лицо.

Исии шел всю ночь. Уже на рассвете добрел до какой-то речушки; поодаль темнел деревянный мост. Исии в изнеможении сел, размышляя: перейти мост сейчас или отоспаться здесь, в густом прибрежном кустарнике. Но веки уже слипались, Исии отполз в кусты и, положив под голову узелок с последней пачкой галет, мгновенно уснул.

* * *

Под вечер второго сентября, когда на сутки остановились у какой-то речушки на отдых, догнала солдат, наконец, почта. Экспедитор, нагруженный газетами и письмами за целую неделю, был атакован всем батальоном.

— Ого! Каждому Мишке по три письмишка...

— Очиров!.. Каратаев!.. Сибирянов!

Пришло письмо от Смирнова — на Каратаева, но для всех.

— Во — это по-нашему, — заключил Каратаев. — Как говорится, сваталась смерть за солдата, да не вышло: стара и горбата.

Сибирянов с письмом отошел в сторону, к кустам.

Где-то неподалеку, у соседей, грянул оркестр. «Женька! Да ведь победа же, мир! Дорогая, милая Женька!» Хотелось петь, смеяться или, как бывало когда-то в классе, пройтись на руках. И побыть одному, помечтать о будущем.

И в этом радостно-озорном настроении он не сразу сообразил, что вдруг остановило его, обеспокоило. Ах, да... Глаза полубессознательно заметили у дороги чьи-то сапоги и рядом, поверх обмундирования, автомат, прикрытый майкой. Рядом сидел Очиров.

— Это кто загорать вздумал?

— Окунуться только, — вскочил растерявшийся от неожиданности Очиров. — От пыли, — пояснил он, сознательно «забыв» назвать фамилию солдата.

Хотя мутная Сунгари соблазнительно плескалась неподалеку, за тесным строем шаров кустарника, на купанье требовалось разрешение по меньшей мере ротного. А тут — пожалуйста! ЧП.

— Я спрашиваю — кто?

— Вроде, кажется... Да я и...

С реки донесся прерывистый вскрик. Намеревавшийся было послать за купальщиком Очирова, Сибирянов побежал на голос сам.

Островляничик не раз хвастался, что имеет разряд по плаванию, в Севане и горных реках купался, но сейчас почему-то плюхался неумехой, окунаясь так, что над водой торчали только пальцы. Сибирянов стоя, приплясывая на одной ноге, стянул свои кирзухи. Оборвав пуговицы, сбросил гимнастерку. Пробежав по берегу, прыгнул наперерез... Перепугавшийся Островляничик мертвой хваткой вцепился в плечо и шею.

— Очумел! — сплевывая воду, возвопил Сибирянов.— Н-не дави! П-помогай левой!

Если б Сибирянов вскоре не достал ногами дна,— наверное, захлебнулся б вместе с ним.

Когда они выбрались па берег, Островляничик, икая, молча сел у воды, растер ноги — механически, не замечая Сибирянова. Лишь после этого он, посиневший от холода и пережитого страха, тихо заговорил:

— Спасибо, товарищ младший сержант!.. Оказывается, вода-то чуть не ледяная, а я с разбегу... Ка-ак судорога хватит! Ну, думаю, все, каюк... А так измучили пот и пыль, что... Простите, товарищ сержант,— его все еще била дрожь, но, пожалуй, уже нервная.— И вообще за все простите... старое.

Сибирянов, уже приоткрывший было рот, чтобы прервать его — эта выходка, мол, тебе даром не пройдет! — даже растерялся: никто еще не говорил с ним так, а тем более Островляничик! И неожиданно для самого себя сказал как школьному товарищу:

— Да будет тебе! Нашел о чем.

И не заметил даже, что перешел на «ты». Окрыленный Островляничик, прихрамывая, побежал по берегу, а Сибирянов отжал брюки, обулся и, с трудом разыскав пуговицы от гимнастерки, пошел к дороге, через кусты. Шагнул и — чуть не наскочил па пожилого, похоже, спавшего человека; привстав, он чуть склонил голову и улыбнулся виновато.

Сибирянов отступил в сторонку, сделал широкий жест рукой: пожалуйста, мол, проходите. И хотя японец продолжал кланяться и улыбаться, Сибирянов почувствовал, что

старик не понял его жеста. В глаза бросилось: левая ладонь его втянута в широкий обшлаг куртки. Не пистолет ли?

Негромкий хлопок — и тупой удар в грудь опрокинул Сибирянова. Падая навзничь, он успел заметить тусклую сталь и легкий дымок...

Звук выстрела заглушил оркестр.

* * *

Малявкин попал в тот же госпиталь, где позже оказался и Костя Смирнов. Однако впервые встретились они лишь в команде выздоравливающих, в коридоре. Обрадовались друг другу так, что даже обнялись.

— Ну, проходи в палату. Все разбрелись, никому не помешаем. Как там наши? Давно последнее письмо получил?— спросил Костя.

— От-откуда? — почему-то растерянно спросил Малявкин, и тактичный Костя невольно замялся. Бросилось в глаза: на похудевшем, бледном лице Малявкина нелепо выглядели некогда веселые конопатинки. «Может, у него умерла мать?»

— Да из разведбата, из учебного!.. Постой, так ты, наверное, не знаешь, что нас наградили?

— За что? — даже изменился в лице Малявкин; про себя он подумал, что под «наградой» Костя подразумевает нечто совсем иное.

Впервые ему подумалось о возможности и такого оборота, когда он попал сюда, в тыловой госпиталь. В первый же день, рассказав обо всем соседу по палате, в ответ он услышал лишь отчужденное, с многозначительной паузой: «Так, так... Значит, вместо передачи данных о противнике сумел попасть к японцам в плен?»

— Мне дали «Звездочку»,— сказал Костя. Тебе медаль «За отвагу»... Да ты что не веришь? Говорят, твой пленный сообщил что-то очень важное.

— Не разыгрывай!

— Да честное слово! Обожди, сейчас найду письмо,— он полез в тумбочку.

— А ты успел сообщить о засаде? — вдруг тихо спросил Малявкин.

— Конечно! Разве не слышал, бомбили? Грохали прямо по нашему квадрату! Я, знаешь, еле уцелел.

Прочитав письмо, Малявкин рассказал о своих приключениях, не утаил и опасений: пленный пленным, а ведь, в сущности, он-то не выполнил задания.

— Ты знаешь, о чем я думал? Почему там, в предгорье Хингана, выбросили нас двоих с отдельными рациями? А у перевала — троих?.. Война есть война. Всякое бывает. Нам-то повезло. А с перевала никто не вернулся. И то, что от них не получили ни одной радиограммы, сказало командованию все: перевал занят, и занят плотно. Помнишь, как густо шли туда наши бомбовозы? Выходит, те трое все равно выполнили задание! Их посмертно наградили орденами... И мы с тобой свое дело сделали.

Оказывается, как много радости может доставить человеку обыкновенное окно! Облака, одно причудливее другого, проходят в нем, сияет солнце. Целый день качается березка, вернее — несколько веток; иногда на них садятся воробьи и воровато заглядывают в палату. И березка и воробьи напоминают все родное, близкое: школу, мать, Костю... И почему-то Сибирянова. Толковый же парень, и, разобраться, никому он не «солил», а вот поди ж ты — не раз цапались, как петухи!

Война отмела все мелкое. И когда, оказавшись в руках врагов, Малявкин на мгновение подумал: «Вот и конец...» — он тут же, будто на карте, сказочно раздавленной до размеров чуть не всей земли, явственно представил: это к нему, Малявкину, на выручку мчатся тысячи танков, идет миллион бойцов. И среди них — знакомая рота: Долинин, Каратаев, Сибирянов, Очиров, Островлянчик... Конечно же, и в разведбате они со Смирновым продолжали считать своей эту роту. И сейчас Малявкин краснел за былое свое

ребячество. Ведь, честно-то говоря, его всегда тянуло к Сибирианову — поговорить, поспорить. Вот и сейчас: вылез бы в окно и — в роту. Пешком, но шпалам.

Малявкин вскочил, засуетился, достал бумагу, карандаш, торопливо вывел: «Здравствуй, Иван!»

...Опоздало письмо Малявкина. Сообщая ему о последнем разговоре с Сибириановым, Островлянчик не решился признаться, как и почему — может, последним во всей мировой войне — погиб их «отделенный Ванька». И Малявкин ответил, не Островлянчику — всему взводу: «Человек жив, пока о нем помнят. В конце концов каждый из нас жив потому, что кто-то за это заплатил своей жизнью...»

1948—1950 гг.



Две дорожки Луки Апулькина

* * *

Лука Апулькин появился в Белоярском Плесе вскоре после краха колчаковщины. Глухие, щедрые места! Знал: любят их местные жители ханты, подкочевывают сюда из разных мест на праздники — состязаются в силе и ловкости, торгуют. По берегу справа светлый сосновый с примесью кедра бор и еланный луг, слева к самой воде подступают три многоцветных яруса тайги. Великаны-кедры, приютившие под своими широкими ветвями бойкие стайки березок и рябин, гордо вознесли к небу вечнозеленые шапки-шеломы, отражаясь вместе с облаками в просветленной здесь ключами воде Чутыма, и речка кажется бездонной, как синее небо. Кедрачи да черные и пунцовые гроздья смородины в сограх, опоясавших берега, алые россыпи клюквы на моховых болотах издревле щедро кормили множество всякого зверя и птицы. У соснового бора, где окрестные болота-зыбуны отрезаны от реки материковым яром, образовался длинный глубокий омут. Донные родники осветлили, разогнали ржавые стоки болот, и в ямах чистого, как слеза, омута зимовали язи, пудовые щуки, налимы. Держалась стерлядь.

Укрыв в давно заброшенном зимовье бывшего жандармского офицера, колчаковского карателя Ипатова, Лука больше года кормил его. Жилье изнутри обил купленными по дешевке лосиными шкурами. Взятое с Ипатова (награбленное — не жалко!) золотишко тотчас пустил в оборот: скупал в городе спирт и охотничьи припасы и с пятикратной выгодой менял на меха.

Повытянув с Ипатова все, что смог, он добыл ему новые документы. Тоже не бескорыстно, но: «Хватит, иди-ка, брат, в мир», — добавил Лука про себя. Сам он замыслил

пробиться с мехами к Охотскому морю. Туда, по слухам, безбоязненно наведывались заморские гости — на всю жизнь озолотиться можно. Не прошли мимо его ушей откровения Ипатова: «Кто не рискует — не пьет шампанское. Умный человек в наши смутные дни имеет вторую, запасную дорожку в жизни».

В Белоярском Плесе, русско-хантыйской деревушке, Лука искал проводника, знающего прямой путь к оленным эвенкам, а те уж, мол, живо домчат, куда надо. Сам сухопарый, подвижный, Лука больше доверял медлительным, степенным, у кого слово — дело. Его внимание давно привлек спокойный коренастый хант Прокоп Нюролька. Но тот почему-то сторонился при встречах, держался независимо.

— По-русски говоришь? — с улыбкой подошел к нему Лука.

Прокоп молчал, смотрел невинно и покорно.

— Не рцъшь, не баешь, не лопочешь?! — не без озорства повторил Лука вопрос по-церковнославянски (его отец был дьячком), на местном диалекте и жаргоне. Старейшина рода, стараясь угодить не раз бесплатно угощавшему его Луке, пояснил:

— Сын ево Харитон шип ко поимат! — И подозвал парня примерно в годах Луки — Каки русски слова знашь?

Улыбнулся тот, кивнул — понял, мол. Заговорил бойко:

— Купес, водка, патюшка-поп, тавай пушнинуку...

— Довольно! — остановил его Лука, достал из чехла ружье.— Хошь иметь такое?

Улыбнулся Харитон, закивал.

— Проведешь на Елогуй — твое. И ведро водки впридачу.

Особенно трудным, порой опасным был путь через верховые болота-зыбуны. Но здесь, в междуречье Оби и Енисея, прошла вся жизнь дедов и прадедов Харитона, каждый урман, каждую речушку знал и он. И за такое ружьецо всю жизнь готов был водить Луку, доброго купца... Соболи и

песцовые шкурки нес сам Лука, беличьи — два мешка — Харитон. Он же нес и ружье в чехле.

Последнюю ночь перед Елогуем коротали в мелкоlese, у жаркой и дымной ноedьи. Проснувшись в предрассветных сумерках, Лука привстал, поправил ноedью, спросил Нюрольку:

— Не спишь?... Есть, Харитон, такая красивая баба Фортуна. Приснится — всю жизнь служить тебе станет госпожа Удача. Деньги сами поползут в руки — только захоти!

О Фортуне и Удаче Нюролька ничего не понял, а словам о деньгах удивился искренне.

— Но-о?!

— И я видел ее счас, Фортуну-то. Как на картинке! Легла ко мне.

— Ну-у!

— Вот-те и ну! Не медведь, а дуги гну... Ружье — «Зауэр» называется — вот твоя фортуна. Понял?

Когда наконец добрались до Елогуя, Лука нанял ямщика, увязал мешки, замаскировал их сеном.

— А казенка как? Есть? — спросил Нюролька, любуясь ружьем, вынутым из чехла и положенным на мешки.

— Обождь.

Пошептался Лука с ямщиком, пошел, взял у него большой берестяной туес. Вылил туда ведро воды, плеснул для запаха спирту и, подозвав Нюрольку, кивнул:

— Утащишь?

— Унесу-у!

— Тогда зайдём, примем на счастье.

В избе Лука налил по половине кружки себе и ямщику, а Харитону — полную и неразбавленного. Хватили с устатку разом.

— У-ух, сердитый! — еле отдышался Харитон.— Пасибо...— И тут же сел на пол и, забыв обо всем на свете, раскачиваясь, затянул бесконечную песню без слов: «А-а-ээ... И-аа, и-аа-а...»

Вышел Лука, пал в пролетку, взвился ямщицкий кнут.
— И-эх, залетные!

— А ружо?! — придя в себя, выскочил па крыльцо Нюролька.

— Хватился! На дороге ни души. Лениво отгавкнулась на крик лишь чья-то дворняжка. Хотел Харитон с горя еще принять, налил из тусеса, а там — вода.

«Ай-я-яй, шайтан, совесть проглотил», — с запозданием понял он.

Но и Апулькину не впрок пошли те меха: ограбили-таки его на долгом пути к морю. Рад был, что хоть сам жив остался. Мечтал о Москве-столице, а теперь, поразмыслив трезво, решил вернуться в Белоярский Плес, хотя деньги на «черный день» были частью положены в банк, а частью припрятаны в городе.

Возвращался кружным путем — по железной дороге, по рекам.

Голод 1921 года согнал с насиженных мест миллионы крестьян. Волна стихийных переселенцев докатилась и до Белоярского Плеса. Переселенцы приглянулись Луке: бедные пока, но работящие, и доверчивые, бесхитростные. Избы здесь поначалу лепились в соснячке, по берегам впадавшей в Чутым Безымянки, а теперь смело вышли на самый яр. У каждой — пристройки для скота, поленницы дров сухих, зароды сена. Словом, народ основательный, пообжился быстро. Пожалел лишь, что не к нему, а к старожилам побогаче залезли переселенцы в долги.

«Видать, сюда забрался народец северный, ухватистый, — решил Лука. — Прорву и пушнинки, и рыбы добывать станет. Не может такого быть, чтоб не нашел я к имя тропки. И к ягоде, ореху опять же».

Апулькин нанял целую артель, быстро отстроил круглый дом, амбар, конюшню, хлев. А к Нюрольке он заявился на другой же день по возвращении и — с порога:

— Ну, как бьет мое ружьецо?



А Харитон и не смотрит на гостя незваного: еще смеется!

— Да ты чо?.. Неужто я б вот так сам и пришел к тебе?.. Да как бы я смотреть в глаза людям стал? Прямо у порога я и оставил ружье. Ты чо-то закосел маленько... Не видел? Так и ушел?.. Ай-я-яй! Беда-то какая! Неужто кто спер?.. Вот, поди, клял ты меня!.. А, может, поднажился хозяин постоялого, прощельга!

«А мож, и в сам деле не заметил я ружья?» — подумалось бесхитроственному Нюрольке, но он все же напомнил Луке о воде вместо самогона, о чем вспоминалось с особой обидой: велик ли расход, а и то надул.

— Да неужто?! — округлились глаза у Луки.— Ой, люди, ну, люди! А я-то доверился прощельге! Вот надул он нас так надул!.. Да я последние гроши тебе отдам! — Лука начал шариться по карманам.— Сниму я, сниму грех с него, жулика! Сколь хошь стребууй.

Но денег так и не вынул.

— Не-е! Даст бог — за все с тобой сочтусь. За Апулькиным не пропадет. Вот только пообживусь, отстроюсь...

Отстроясь, Лука тотчас завел и лошадей, и скот. В это время прибился к нему бродячий коновал цыган Ромка. Табор его, сколько помнит он, кочевал близ Одессы. В пору первой любви Ромкин нож окрасился кровью богатого соперника, и не сносить бы ему бесшабашной своей головы, не затеряться след его в Сибири. До Луки он ни у кого не мог удержаться дольше одной-двух недель — не выносила душа подневольной работы у скупых на веселое слово чалдонов. У Луки прижился; Апулькины, понял он, сроду не пахали, не сеяли, но к жатве не опаздывали. Жили хоть и не богато, как порассказал Лука, но легко, рисковно, весело. Ромке он признался откровенно: теперь надо все начинать сначала. Иначе. А как?... «Сопча бы надоть нам с тобой найти подход к людишкам», — пояснил он.

— Сделаю, хозяин! — заверил Ромка.

В середине двадцатых крестьянская община по-прежнему цепко держалась за свои узаконенные и расширенные Советской властью права и заодно — «древлие обычаи». Не только в традициях и круговой поруке была ее сила: она распоряжалась пашней и приусадебными участками, сенокосными и лесными угодьями, промысловыми кедрачами и озерами, пастбищами, налогами-самообложениями, разными платами-сборами за пастьбу скота, рубку общинного леса и многое другое. По традиции за мелкие провинности сама вершила суд-расправу. Постановит сход: «Выпороть!» — и тут же приведет приговор в исполнение. У сельсоветов в те годы и бюджетов своих не было, а на общинные средства — до ста миллионов рублей в год (при цене коровы в сорок, лошади — в восемьдесят-девяносто рублей) — содержались не только сельские школы и больницы, избы-читальни, но и общинные советы, церкви, попы...

Уполномоченные «мира», или общины, как правило, выбирались на сходах по правилу: «Кто богаче, тот умнее». Оказавшись позажиточней других, накануне очередного схода Лука собрал «дружков», падких на дармовую выпивку, и людей зависимых, успевших задолжать ему, и в разгар застолья обронил:

— Сватают (хотя никто и не заикался об этом) на общину... Как мыслите? Не провалят завистники?

— Кто провалит?! — аж привскочил Ромка, роль которого Лука обговорил заранее.— А мы на што?.. Так, ребята? Мужики? — обвел он черными блестящими глазами застолье.

— Знамо дело — поддержим! — не выдержал подзатыннувшего молчания один.

— Родичей, соседей обойдем,— подхватил другой.

— Во-во! — поддакнул Лука, подливая в стаканы.

— А само главно, мужики,— глоток на сходе не жалеть,— продолжал пройдошистый Ромка.— Помните: за Лукой Исаичем не пропадет.

— Да это ж хомут... Кому надевать охота? — нехстати высказался самый пожилой из гостей, старший в артели плотников, нанятых Лукой. Но тот поддержал и его.

— Во-во! В точку... Грамотных-то раз-два и обчелся. А я церковно-приходскую кончил! Что к чему — смыслю!

Сибирский мужик немногословен, на слова и решения не скор. И едва на сходе с разных сторон раздалось: «Луку Исаича уполномочить!», «Апуулькина!», он вышел из толпы, снял картуз, покачал головой:

— За что, люди, такое наказание?.. Ну, грамотешка позволяют, не спорю, и люблю я вас, каждого готов уважить, только время-то ноне какое?.. Шишку бить аль косить сама пора, а тебя в рик потянут... То-се... Ну да для опчества я завсегда... и пострадать готов,— заключил он, словно вопрос о выборах его был уже делом решенным.

— Пущай... раз охота.

И — тише:

— Поглядим, что за гусь.

С шутками-прибаутками и смешками, но проголосовали за Апуулькина.

Лука снова вышел вперед, стянул картуз, поклонился «миру» в пояс.

— Мягко стелет, ужо спать каково будет,— тихо сказал Митричу, соседу своему, Ньюролька, в числе немногих голосовавший против.

А Лука ладонью вытер чуть скошенный назад лоб, согнутым пальцем провел по вмиг вспотевшему носу. Окинул взглядом сход.

Хотя уполномоченный получал две таких зарплаты, как председатель сельсовета (семнадцать рублей), Лука попросил накинуть ему третью — «за вредность от многовластия».

— И сельсовет ноне, и рик, и округ, и иные-прочие власти теребют,— пояснил он, для убедительности покачиваясь всем туловищем вправо-влево.— Тасканья-заседанья.

Кровя портишь, хозяйство без догляда рушишь. Опять же бумаг супротив прежних времен — впятеро...

Вырешили. Не без спора, может, и не большинством даже, ну да поднятые руки считал человек у Апулькина свой.

На этом же сходе приняли в земельное общество две семьи переселенцев: Ивана Пахтачева с сыном Василием из причутымского же села Таежного и «расейского» Журавина с женой. Иван Пахтачев объяснил сходу: у него отец тут, на яру, похоронен, убили пепеляевцы, сам он руку потерял в боях за Советскую власть, а дружок его Журавин — с Тамбовщины, воевали вместе. Вступительный взнос — по ведру водки миру. И, видать, не без умысла вводился обычай. Говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Подвыпив, Журавин заговорил о том, что, мол, всяких мироедов и эмпманчиков к ногтю пора. А то жиреют да еще и благодетелей из себя строят...

Задели те слова Луку хуже всякой ругани, хоть вовсе не его имел в виду Журавин. Ведь сколько изворотливости, выдумки прилагал он, чтобы, не скупая у белоярцев дары тайги и масло, рыбу, барыши со всего иметь. И так привык, что с кем ни заговорит о чем угодно — обронит:

— Из денег вот выбился, надо б на базар, кой-что продать, да из-за малости коня гонять и время терять неохота.

А все уж знали: поедет Лука в город по общинным делам или по своим — охотно берется продать то-се попутно. Причем «за так, по-соседски». Выговаривал лишь право продажи оптом — орех кулями, масло пудами. По местным ценам, со скидкой. И снаряжал, вдвоем с Ромкой, который и торговал на базаре, обычно четыре воза. А из-за большой и все возрастающей разницы местных цен с городскими, особенно тайгинскими, Лука как бы получал два воза в подарок — половину выручки клал в карман и еще изображал себя даровым ямщиком и работником членов общины. Вручая хозяевам деньги, на «спасибо» неизменно отвечал:

— Да чо? Свои люди! Авось и вы в чем подмогнете при нужде. Она, брат, никого не обходит.

И теперь разговоры Журавина взъярили Луку, но виду он не подал. Такой уж характер, да и силы не те — лезть на рожон, в открытую. Даже поддакивал Журавину, улыбался.

А назавтра позвал Ромку в избу, сказал:

— Ты вот что. Сходи к переселенцам. Покури, побеседуй.— Говорил, не сводя цепкого сурового взгляда с плутоватых Ромкиных глаз.— Узнай, как с приварком пробиваются. Присоветуй на озере нашем общинном порыбачить. Да от себя, понял?.. Сетчонки вот. Отнесешь потом. Как бы свои, понял?

Смышленому Ромке разжевывать не надо. Вышколен. Тряхнул лишь смолевой шевелюрой, подмигнул: «Сделаю, хозяин!» Ничего не заподозрил Журавин — свой брат-батрак дает сеть, а озер — мало ли их кругом? Вот только чужую лодку на другое-то озеро не потащишь. Поставил сети у самой деревни. Назавтра Лука обошел полдеревни. Поговорит о том, о сем, вздохнет:

— Все б ладно, промашку мы дали. На свою голову приняли! — и на удивленные вопросы пояснял: — Журавин-то! Уже нарушат правила наши рыбацки. С сетями орудует в общинном озере. А Однорукий, похоже, торговать ей метит. Бо чем ишо одноручь-то кусок заробишь?

— Да ну? Неужто? Мож, не знают про договор?

— А не знаешь — спроси! — сурово обрывал Лука.
— Не-т! Таких совесть не ест. Абы хапнуть.

— Ну, дак ведь еще на совете решать станете.

— Само собой,— кивал Лука. Ронял назидательно:— Чтоб уж потом разговоров и жалоб не было. На общинный совет.

И на заявлениях переселенцев он старательно, с удовольствием вывел: «В наделе земли отказать за нарушение правил рыбной ловли».

Журавин отправился искать на Луку управу, а Пахтачев подрядился пасти у «опчества» скот...

Лука привез из города сенокосилку, конные грабли, бидоны под молоко, сепаратор. Одна из молодаяк-вдовушек, баба бездетная, крутилась вокруг Ромки; улучив момент, осведомилась тихо:

— Что замыслил Исаич-то? Мож, работу каку даст? Вот бы мы с тобой...

— Ужо, всех хозяев сзовет! — солидно обронил Ромка.— Обождь.

— Так то хозяев...— разочарованно протянула молодайка.

Сосед Луки, Александр Дмитриевич Подлипаев, или Митрич, как все зовут его за степенность и бороду, долбил из осины обласок. Только кивнул он на зов Луки и еще остервенелей замахал топором. Уработался до пота, до дрожи в руках, позвал жену:

— Баба! Квасу!

Руками-клевнями принял медный луженый ковш, жадно припал. Квас из березовки, с «холода» — из погреба, с зимы натрамбованного льдом и снегом,— обжигает зубы, кидает в приятную дрожь. Напившись, вытер пот рукавом, осмотрелся умиротворенно. Вокруг все мыслимые оттенки зелени — от светло-нежной едва проклюнувшейся травки до иссиза-темных пихт. В бледно-голубой вышине тихо плывет коршун. Красота! И чего люди злыдничают, портят друг другу кровь?

На дворе у Пальшиных, отгороженном невысоким чаштоколом, чинил кнут Иван Пахтачев, Однорукий. Одет он в ситцевую, на лопатках уже сопревшую рубаху, в домотканые холщовые штаны, окрашенные отваром луковой шелухи в бурый цвет. На завалинке, радуясь теплу, курит Софрон Пальшин.

— Зовут, слышьте,— говорит, подходя к чаштоколу, Митрич.— Лука Исаич.

Софрон не скор на слова-решения, молчит.

— За добром Лука не позовет,— цедит сквозь зубы Пахтачев: кнутовище у него зажато в коленях, а заплета-

емый в елочку хлыст — в зубах.— Вынув его, поясняет: — Такие подъезжают с улыбочкой, а ушами хлопнешь — нож в спину!

— Лука-т? Куды ему! Языком рази?.. Ножа, поди, в руках не держивал! — презрительно машет Митрич рукой.— Совести до конца не растерял. У меня вон весь орех отвез, продал. Копейки не взял.

— Повидал я и таких под Тамбовом.— Пахтачев похлопал по пустому рукаву.— Там оставил!

— Так-то оно, можа, и так, однако опять же... Лука? Да не!

Митричу нет и тридцати, но ни разу не бритые светлые с рыжинкой кудряшки от висков до бороды делают его намного старше. Постоял он, помялся и пошел в избу переодеться по-праздничному. Как не пойти — зовут. Да и Луку обидеть боязно. Сосед — одно. Начальство! Интересно, опять же, с мужиками свидеться, потолковать.

Харитон Нюролька невзирая на тепло, в меховой малице поверх холщовой рубахи, в броднях. Пропускает жидкую черную бороденку через кулак, рассказывает мужикам, рассевшимся на крыльце и завалинке:

— Сижу, морокую это я с патронами...

Хотя внешностью скуластый и черноволосый, Нюролька пошел в отца и считал себя ханты, но говорил только по-русски. От матери-волжанки он перенял даже оканье.

— А он-т, язви его, уже подкосолапил к улью и — в охапку. Бегу это я с ружьишком, пчелы очумели, путаются в ломах, а ему хоть бы што! Прет колодку мою в кусты. «Миша! — ору ему.— Ты чо, ослеп? У соседа вон дюжина колодок, а ты у мя последию спер!» ОглянулсЯ-таки. Тут я в шары-то его бесстыжие...

Счет добытых Нюролькой косолапых хозяев тайги перевалил за третий десяток. Но однажды наткнулся он на двоих в одной берлоге, и разъяренная медведица чуть не открыла свой счет: ударом лапы располосовала охотнику оленью кухлянку и плечо до кости. Затронула когтем и ле-

вую скулу: неширокий сизый шрам от виска к носу оставила... Ладно, Нюролька не из робкого десятка: ножом совладал с ней.

Наконец вышел и Лука, поздоровался ласково, обвел глазами притихших мужиков. Митрич даже картуз стянул, примял патлы свои ладонью. Лука прокашлялся, погладил бородку и проговорил негромко, но торжественно.

— Граждане хозяева! Трудовой пролетарьят, детишки горожанов ждут от нас, крестьян, масла-мяса, рыбы и всего такого прочего...

Одет он просто, по-мужицки, но в хромовых сапогах и картузе с лакированным козырьком.

— Ишь ты! Холера его возьми! Верно бает,— кивает нечесаной головой Митрич. Одного не возьмет в толк: куда клонит хитромудрый Лука, с чего вдруг развел антимонию?

Но тот и не мастак был на речи. Дня три ломал голову, под каким соусом подъехать в духе времени, пока не осенило насчет «трудового пролетарьята». Сухопарый, подвижный, он стрельнул туда-сюда цепким взглядом и закрутился так же неожиданно, как и начал. Поскольку, мол, испокон веку зря гибнут дары таежные, замыслил он коптилку-сушилку построить. Бочкотару под масло и рыбу. А посему-де просит мужиков о помощи. Подмигнул с улыбкой.

— За магарычом не постою, братцы. А завернем дело — по настоящей цене брать буду усё... — Потер острый нос, сказал решительно: — Объявляю помочь! Само главное — ишшо один погреб-ледник надоть миром вырыть, обиходить.

Митрича и еще двух мужиков он отрядил готовить клепку для бочек, а сам кинулся запрягать коней — возить лес на коптильню и облицовку ледников. Думал радостно: «Эт-то мы живо провернем... Живехонько... Самогону залить имя шары у мя хва-атит!»

А на другой день Ромка пригнал дюжину разномастных коровенок, закупленных в причутымских деревнях.

Лука объявил о сходе для передела сенокосов — не по едокам, как раньше, а по головам скота.

— Потому как,— пояснил он,— людям сено не ись, а скотинку забижать негоже. Она бы и захотела положить зубы на полку, да не умеет. И полки нету,— улыбался Лука.

Созвал Лука сход, переделали луга по головам скота. Особенно никто не возражал: жителей немного, сенокосов хватает. Вот только ездить до них стало подале да сено вывозить потяжелей, подольше...

Вскоре Лука привез новинку — трехведерный сепаратор и, по словам Ромки, «погнал масло в город». Подошла осень — снарядил три воза мяса. Но хоть и выручил большие деньги, вернулся хмурым, злым. И не один — с сестрой, вдовой лет тридцати. Минул день-другой, Лука пораспродал, а больше просто роздал в долг переселенцам десять коров, двух лошадей. Сестру фиктивно расписал в сельсовете с Ромкой, выделил им коня и половину дома. Но Ромка, как договорились, получив отступные и расчет, тут же исчез, а сестра вернулась на коне в город, продала его, а деньги выслала Луке. Оказалось, прознал он: вознамерился рик раскулачить его. И верно, вскоре пришли от сельсовета описывать хозяйство. Спросил председатель:

— Сколь коров? Двенадцать?

Покачал Лука головой горестно:

— Были коровушки, были. За долги, за труды отдал. Сам-то хвораю — печень, язвы ее... Инда пластом лежишь, а кусать и самому, и жене с сыном кажинный день что-то надоть. Имя и кормился, и лечился.

Маленькие глазки его то зло сверлят непрошенных гостей, то смиренно прикрываются веками.

— А коней сколько? Пять?

— Были кони, да изъездились. Зять, Ромка, держал у меня два коня, а один сестрин. Отдал. Потому как замуж вышла, свое хозяйство. Одну корову и одну клячонку да пол-избы сам-то имею, сказать по совести, распоследний бедняк.

— Так-так,— растерялся председатель сельсовета. Еще этой весной он батрачил на чужом неводе, с подобным случаем столкнулся впервые. Может, и впрямь оговорили человека, не разобрались?

А Лука, почувствовав слабину и сомнения, продолжал:

— Ох, люди-люди! Наплетут семь верст до небес...— Схватился за бок.— Ох, опять, язвы ее, эту печень, замучила, проклятая. Не протяну, похоже, и до весны... Уж вы извиняйте, я прилягу. Цельну коровушку ноне пролечил, а без пользы.

— Да у тебя ж сейчас в конюшне два коня! — начинает уличать Луку председатель сельсовета.

— Господи! Да ты коль заглянул уже, так гляди: жеребчик то! Необъезженный, необученный!

Осмотрела комиссия двор, завернула к Митричу. Как-никак, сосед Луки, человек самостоятельный, середняк незажиточный. Спрашивает председатель сельсовета о Луке, его хозяйстве.

— Да кусок хлеба имел. Кормился.

— Работников держал постоянных?

— Да не!

— А Пахтачев с сыном?

— Они пасут скот всего опчества. Ну, инда дровишек попилят аль привезут сенца, так ведь квартируют оне у Луки. Самим обогреться надоть, приварок сгоношить. Как без дров?

— А Ромка?

— Так это ж зять их. А ныне оба с женой невесть где.

— Выходит, Лука держал-кормил чужих коней? — явно не верит комиссия в благотворительность Луки. Но Митрич хоть и не жалует Луку, но, приученный к общинной круговой поруке, не свидетельствует ни за, ни против:

— Вполне могло быть. Не чужа — сестра!

Разбирайтесь-ка, мол, вы сами, не путайте меня в это дело.

Так и уехали сельсоветчики ни с чем.

— Хитер, везуч,— не без зависти говорили в деревне о Луке.

«А можа,— думал Митрич,— оттого и везуч, что на подъем легок — не наш брат, мужик сиволапый, не прирос к ней, землице-то, корнями. Вон как со скотом живехонько разделался!»

В первую мартовскую ростепель, едва стемнело, подкатил к усадьбе Луки бывший жандармский офицер Ипатов с грузной, властной бабой. Пока Марфа заводила ее в избу, Ипатов шепнул:

— Родная сестрица купца Куперина. Игуменьей была. Деньги дает! Но хитра, умна. Сотни людей в кулаке держит. Ее убедить надо, что у нас — сила. Понял?

Лука засуетился, послал Марфу за самогоном. Остановил, сказал:

— Да к Нюрольке заверни, попроси рябчиков... Ох-ма, и приветить, угостить добрых людей нечем. Скоро ль кончится юдоль наша...

— Скоро, скоро, Исаич,— прервал его нытье Ипатов.— Не я один — сто офицеров послано в наш округ.

— Дай бог, дай бог! — Лука пал па колени перед образами, стал неистово бить поклоны. Когда поднялся, гостья заговорила доверительно:

— Слышала, в начальстве ходишь, кто чем дышит, знаешь. Поднимется мужик весной?.. Что-то беспокойно у меня на душе.

Чуть заметный кивок Ипатова придал голосу Луки давно поутраченную страстность.

— Мужик — аще море-окиян ропщет. Глухо ропщет, но подымеется, взревет — услышит господь, услышит! — Мысль, что успел-таки купец Евграф Порфирьевич припрятать свои капиталы в монастыре, вдохновляла, будоражила. Бывшая игуменья слушала, устало закрыв глаза.

За ужином Ипатов сказал:

— На весну намечено. Начнет Кольвань, а там пойдет аки пожарище. Винтовки в зимовье сохранны?

Ни о каком зимовье и винтовках Лука и слыхом не слыхивал, но ответил уверенно, чуть обиженно:

— Да чо им подеется? Смазаны, укрыты. Два пулемета сам спроворил,— с ходу прихвастнул он.

— Это ладно. Хорошо.— Анастасия Порфирьевна подняла взгляд на образа: — Людей вразумить надо, людей!.. А о командирах пусть не печалются: только по Сибири поболе сорока тыщ офицеров ждут часа! — Перекрестившись, закончила деловито: — Призыв с нами печатный. Развезешь по селам. До Рыльска вплоть. По весне расклеишь с верными людьми, по рукам пустишь.

Ипатов достал из сумы толстую пачку листовок, подал.

— Ой, трудно сие, зело опасно,— и Лука выразительно посмотрел на гостю.

— Святого дела ради Христос на распятие взошел,— сказала та наставительно.

— Воистину так,— поспешно согласился Лука под грозным взглядом Ипатова.— Воистину.

Не удостоив Ипатова и взглядом, Порфирьевна бросила:

— Дай. На хлеб людям, на овсецо коням. На сорок пудов.— И Луке: — Да смотри у мя — ударит господь в набат — чтоб стар и мал...

От волнения не нашел Лука слов. На колени пал, перекрестился клятвенно. Получив деньги, сунул их тотчас на божницу, за образа.

Ночевать гости не остались.

Усадив спутницу в кошеву, Ипатов спохватился:

— Водицы б испить, Исаич! — и вперед Луки прошел в дом. Кивнул на божницу: — Гони половину!

Лука переступил с ноги на ногу.

— Живей! — прикрикнул Ипатов.

И сам вскочил на лавку, на глаз взял полпачки и выбежал, не прощаясь. Плюнул Лука вслед, но на крыльцо

вышел с улыбкой и поклонами, махал рукой. Вернувшись в избу, достал сверток с листовками, просеменил к железной печке и швырнул его на раскаленные угли.

«Ишь, катается, глупей себя ищет... — Пересчитал у яркого, ласкающего огня оставшиеся деньги. Улыбнулся, довольный. Поворошил кочергой листовки, изрек:— Дураков, их не сеют, они сами рождаются».

Белоярский Плёс по-прежнему кормился охотой и рыбалкой. За голубоватые шкурки белок, по добыче стоявших на первом месте, давали охотникам припасы, муку, сахар, мануфактуру. Кое-что перепало и Луке но — крохи. И когда открыли ларек, Лука не зазевался, устроился продавцом. На трех небольших некрашенных полках у него как-то умещалось все — от керосина до пряников.

— Поди, в своем-то магазине ты б не держал пряники рядом с керосином,— упрекнули его.

Лука поджал губы и с нечастой для себя откровенностью отрезал:

— Да в старое время я б на всякий товар приказчиков имел!

«А не прислуживал вам, быдлу!» — добавил мысленно.

Постепенно и общинные права передавали сельсоветам. Особенно жаль было Луке уступать сбор средств по самообложению. «Враз ополовинили кассу!» — сокрушался он. Вместо надбавки к зарплате Луки «за многовластие» ввели платную должность избача в читальне. Обязали заключать письменные договоры с батраками. Вовсе морока. И контроль, налог...

— Обкладывают, как медведей в берлоге,— жаловался Лука, но сочувствовали ему все реже, неохотней.

Увял и поскучнел он. «Скис»,— определил Митрич.

В магазин, как в клуб, по вечерам тянулись мужики: покурить в компании, побеседовать, узнать новости. Завернул на огонек и Митрич. Посмотрел-посмотрел на Луку и наступил на его любимую мозоль:

— Умел человек хозяйевать — не дали. До приказчика низвели.

Лука хоть и за прилавком, а навеселе: потихоньку пропивал шальные деньги. Подхватил:

— Наживал, наживал, а кто-то задарма пользуется.

— Задарма — это наши бабы на тебя горб гнули,— добродушно, словно нехотя, возразил Митрич.— Этак любой-каждый...

— Чо кажный?! — не выдержал Лука. Прорвалось: — До чего дошло? Хозяин, как проклятый, ни сна, ни отдыха не знат, а работнику ныне кажинну неделю выходной подай. Навроде барина. А срок пришел — денежки на кон. А они ведь на березах не растут!.. Или он валяется, болесь изображаеть, а ты тож плати! Да ишо не обругай... Тьфу! Не жись лодырям — малина!

— Поговаривают, батраков вовсе запретят иметь. Иванто Пахтачев, слыхал?.. Обвел, грит, ты сельсовет вокруг пальца,— предвкушая потеху, подливает Митрич масла в огонь.— Полномочный-то как прибыл — он к нему. К ногтю, грит, мироедов пора. Чтоб сообща, значица, все.

— Собча... — нарочито коверкает Лука, поглаживая бороденку и стараясь успокоиться, не сболтнуть лишнего.— Хозяевать — эт-то не языком молоть. Сопча хорошо кашу ись — быстро подается! С кашей-то и одноручь управиться можно. Из одной милости давал ему заробить. Ишь, «обвел»! Язык-то, знамо, без костей. Ужо, наболтает... — И после паузы, уже вдогонку уходящему Митричу, выкрикнул: — Я не шалтай-болтай, а государственный служащий!

Митрич только рукой махнул: подкусить Луку любил, но ругани, скандалов избегал. Но и Лука зря на рожон не лез. «Служить» тоже поднаторел. Иной день и не заявлялся в магазин. Попросил его вскоре Пахтачев:

— Открой.

— Чего надоть?

— Да спички вышли, и мыла нет.

Лука пошарил в своем окованном железными полосами сундуке со звоном.

— Держи. — И не преминул добавить: — Я трудового человека завсегда уважу. Хоть и неблагодарный ноне пошел народец. Иному-т кусок хлеба из одной милости даешь, а он тебе ж норовит пакость исделать.

Пахтачев понял намек, но промолчал, оценил деликатность Луки. Бывало, и безо всякой причины избыет хозяин батрака и выгонит, не заплатив ни копейки. Договаривались-то на словах, без свидетелей. Не учитывал Пахтачев одного: старые переселенцы пообжились и уже неохотно, редко шли на поденщину, а новых — не было. Ромка и тот куда-то исчез.

Почти весь май Иван с сыном пилил Луке дрова — на год. Всем своим жилистым телом помогал удару топора.

— Хес-сь... Хес-сь! — выдыхал в такт взмахам. Но много ли одноручь наколешь? У сына и то уже лучше получалось. Он же и укладывал тяжелые, сырые поленья.

Уработавшись, Иван сел на чуть подсохшую землю, привалился к березе. Грустно смотрел в просвет между деревьев на бегущие облака. Эх, сел бы на ту вон тучку, как на ковре-самолете обогнул землю! Неужели везде так тяжело дается хлеб насущный?

Взгляд опустился на первую, чуть проклюнувшуюся зеленень, на почерневшие Васяткины лапти и штаны из домотканого холста. Вспомнилось: привез он сыну с гражданской войны фабричные ботинки. Первые в жизни. Обрадовался Васятка, с неделю не выпускал из рук, любовался, играл с ними. А на ночь завернет в тряпицу, спрячет. Берег, до поздней осени босиком пробегал. А там грязь пошла — опять жалко, лапти носил. Лишь весной, в праздник, решился надеть. Так и сяк бился — не лезут на ноги. Малы стали. Весь день проплакал...

И вот парня женить пора, а он из лаптей не выбился. Такая уж доля батрацкая. Да еще и худощав Васятка, не росл, а чалдоны так судят: бороды, усов нет — мальчишка.

Такая и плата. Но особенно Луку злит — не растается он с книжками. В лодке ли, в телеге ли куда едут, или перекур какой — достанет, уткнется.

— Вот что, Васятка. Заведу я тебе ботинки. Потребую у Луки за дрова расчет и куплю, — вроде ни с того, ни с сего объявил Иван.

Василий молчит, не тем занята голова его. Что ни день — новые вопросы. Есть ли жизнь на других планетах? Отчего кулаки такие зловредные? Почему, если делить и делить воду, то получится уже не вода? Чудно и непонятно.

С конца мая Пахтачевы пасли скот всей белоярской общины; пойма еще стояла под водой, и стадо выгоняли на материчные елани. Милое дело: ни тебе сенокосов, ни полей, охрана которых от настырных коровенок особенно портит кровь пастухам. Бредет стадо по лесу — только не теряй его из виду. Василий то и дело пристраивается на пни, читает все подряд, что находит в деревне, — романы без начала и конца, журналы «Лапоть» и «Безбожник», учебники разные. И это заметил Лука. Сказал Ивану:

— Чем дурака валять, пока скот в лесу, попилите-ка ишо дровишек. Зима, она до-олгая!

Согласился Иван, все лишняя копейка.

Лука делал из березового сока брагу и, как только потеплело, днями торчал в лесу. В леднике березовка сохранилась долго.

Как-то на досуге обошел он поленницу, по привычке указал Ивану на «изъянец»:

— Не плотно укладывай-то, не плотно. Пуцдай ветерком продуват. — И с десяток полешек положил сам. — Вот эж!

И Василия раньше Лука не достаивал своим вниманием. Но то ли пора сейчас такая — делать нечего, а весна пробуждала тягу к общению — присел он на пенек рядом, закурил. Щелчком сбросил с руки муравья, заключил:

— Ишь, всяка тварь засуетилась, на свет божий полезла... Рада!

И сплюнул. Да и сказал так, словно божий свет — его собственность, а всякая чужая радость — неприятна, тяжела.

Чувствовалось, недоволен Лука всем ходом жизни. «Подрубили, подрезали», — все чаще прорывалось у него в такие вот минуты внутренней раскованности. Но вырвется злость, как лишний пар из чайника, и на лицо вновь наплывает дежурная полуулыбка; голос то журчит вкрадчиво, то «рцыт» уверенно, по-хозяйски.

— Читаешь все? Умом-разумом разжиться охота? Вроде слова как слова, а жгут. Будто крапивой прошлись по спине. Или вся суть в тоне — насмешливом, хозяйском? Или в его, Васяткином, положении? «Кто дает вам кусок хлеба?.. Я даю!» — вспомнилось ему. Промолчал он. А Лука пососал сигарку, покачал головой; не то огорченно, не то назидательно заговорил:

— Книга, она и та ноне с порчей. Лапотная, для охмурения честного люда. Вот библию — признаю! Да и та не людьми и писана. С божьих слов. Апостолами.

— И вовсе не с божьих. И никакими не апостолами, — впервые отважился на спор с Лукой Василий.

— Умный уже, выходит? — кривит Лука губы в усмешке.

— Не жалуясь.

— Да рази кто жалуется, что он — глуп?! — щурится Лука от удовольствия. — Нет таких дураков! А вот почему ты, коль такой умный, у дураков в подпасаках ходишь? А?.. И власть ноне ваша, голоштанная, а ты все одно — никто! Ответь. — И смотрит в глаза торжествующе.

Вопрос застал Василия врасплох. У Луки все давно обдуманно, он умеет обнажить суть, задеть почувствительней. Молчал Василий: то, что приходило в голову, Лука и сам знал. Тут отшить бы, да так, чтоб и впредь не хорохорился, знал свое место в нашей жизни!

Молчал Василий, делая вид, что оскорблен вопросом.

— То-то. Нечего сказать, — бросил Лука и пошел довольный.

— Уйдем от него! — заявил Василий отцу. — Ни одной чурки не отпилю ему больше!

Помолчал Иван, заткнул за пояс выбившийся пустой рукав, потер небритый подбородок и сказал твердо:

— Правильно, сын.

Хотя пилить дрова договаривались посаженно, с платой Лука не спешил. Злили слова Пахтачева «мироед» и «обвел сельсовет», настораживало, что крутится тот с разными уполномоченными. Прижало — сам попросил работу, а дал, спас, можно сказать, от смерти голодной — стал, вишь ли, врагом... Во как ныне-то!

Лука говорит об этом одному, другому, — вроде с юморком, с улыбочкой, а глаза нет-нет да и сверкнут решимостью, обдадут ледяным холодом. А тут еще встревожил Митрич. Сказал:

— Кто не пойдет в артель — посмотрят еще немного, посмотрят да и раскулачат. Особливо, кто работников имел. Да.

— Это кто такую рассказню пуцат? Опять однорукий? Не докурив, швырнул сигарку, растоптал сапогом.

Но заговорил спокойно, рассудительно:

— Ну, а ежль, к примеру, у меня возьмут боле, — у другого мене, то как? Учтут?

— На том свете. Там зачтется, — пахнув дымком, Митрич погладил свою пышную бороду.

Никак не поймет Лука своего рыжебородого соседа, не раскусит, когда тот говорит всерьез, когда хитрит или шутит. Все бы шутки-прибаутки ему! Везет Митричу, легко хлебец достается, вот и балагурит, мелет языком. Но подозревает: это он только с ним, Лукой, так. Такое уж, видать, настает время: каждый сам себе пуп земли.

— Отчего ж тогда Нюролька, раз нет коня, быка Прошку собирается свесть в колхоз? — все же допытывается Лука.

— А дурак!

— Ужо доведет тебя язык, Митрич! — покачал Лука головой.

— Говорю, как думаю. По чужим подсказкам жить не умею.

И пошел — веселый, уверенный в себе, лицо гладкое, спокойное.

И верно: когда и где что взять — Митрич не промахнется. Орех или клюква уродится — воз, а то и два отправит в Рыльск. И себя не забудет: на два года припасет. Отец его из нужды не вылазил, а Митрич хоть и рано, мальчишкой, остался сиротой, не растерялся — ружьем сам кормился. А рыбу надо — голыми руками добудет в одночасье. Как говорил Софрон, «нужда заставила калачи есть». В несколько лет встал Митрич на ноги: завел новый дом, «зауэр», коня, скотину. Неизвестно, как бы пошло дело дальше, появись у него лишние деньжонки, но не очень рвался к ним Митрич. Зимой отдыхал; порой, неделями, случалось, погуливал, дочерей старших одевал по-городскому. Так что пока ни в чем, ни перед кем не грешен он... И нечего, мол, им командовать: живи так, ходи этак. Не сиротская гордость у него с детства. Да и как было не появиться ей, если с босоногих лет только и слышал он от самых бывалых таежников: «Добытчик! Соображат». Молод, силен, трудолюбив, сметлив — вот она, удача-то, и плыла сама в руки. А у Луки чем дальше, тем суетней, тревожней было на душе. Охотиться, рыбачить не умел, ходить за ягодой, орехом — не хотел. А с перепродажей так прижали, что... И с магазинчишка — никакой корысти. Товару — слезы, зарплата никчемная, да и той платят половину — по обороту. Как дале жить? «Хоть зубы клади на полку», — говорил то и дело.

Даже ко всему притерпевшаяся Марфа однажды не выдержала нытья Луки:

— Да ведь сколько тыщ в сундуке, под полом... Забыл ли чо? В долгах не мене...

— Цыц! — аж подпрыгнул Лука.— Есть, да не про твою честь! Ты нажила эти тыщи?! А на черный день? А на старость? А на...

И пошел, пошел. Еле отвязалась от него Марфа. Утих, увидев у крыльца Ивана Пахтачева. Похоже, не зря крутился он давеча с начальством, подумалось Луке, пришел требовать расчет.

— Чо? Не по шорстке погладил? Аль клад унюхал? — с улыбочкой потеребил Лука бородку, хоть и скребли на душе его кошки.

— В колхоз вступаю. Создаем!

— А... Ну, спытай. Все едино терять неча: одна душа, да и та не христианская. Только тады и с фатеры сходи. Седни же!

— Не квартира — чулан.

— Хоть таку займей — тады хай!

Лука долго собирал по карманам и короткими прокуренными пальцами тер смятые, слипшиеся рубли. Отсчитывая, размышлял: «Не связываться с голью аль поприжать за язык длинный?» Очень уж хотелось унизить строптивца, показать, что над ним пока он хозяин.

— Двадцать! — швырнул Лука деньги на стол.

«Не швыряй! Не собаке кость...» — хотелось крикнуть Пахтачеву, но он сдержался. Не шелохнулся.

— Бери и уматывай.— Лука зевнул, перекрестил рот.

— Тридцать сажен по три рубля — сколько? Двадцать?!

— Чо орешь? По три — ежль одну березу резать, а ты — пополам с осиной. А ее и пилить легче, и жар с нее рази одинаков?

Пахтачев изумленно посмотрел в маленькие глазки Луки: да что он — шутит так, «по-купецки», или издевается? Всегда договариваются о цене за сажень, а пилят уж, что отведет лесник. Он все же осторожно перебрал большие разлохмаченные рубли.

— Да тут тринадцать!.. Ты кого обманываешь?! — По худому, казалось, одной кожей обтянутому лицу его перекатились желваки, глаза сузились.

— Не фыркай! — шмыгнул волосатым носом Лука.— Я те помогал дрова в поленницу складать? Помогал. Дрова пилить — не языком молоть. А то как помело!

— Да мы же тринадцать сажен нарезали, а ты что суешь? — чуть не прослезился от обиды Пахтачев.

— То-то и оно, что тринадцать,— с обезоруживающим миролюбием продолжал Лука.— И цифра-то нечистая. Только греха наживешь с тобой. Бери, а то свидетелей у нас нету.

— Ах, нету!

Ошибся Лука, приняв совестливость работника за безответность. Покраснел Пахтачев, схватил своей единственной, но жилистой рукой тщедушного Луку за ворот новой плисовой толстовки, потряхнул.

— Я те укорочу носину!

Захрипел Лука, выдавил:

— Пусти... Зори, душегуб!

Всхлипнул, но отсчитал деньги сполна.

— Вот это, хозяин, по уму, — добродушно заключил Пахтачев.

«Погодь! Ишо попомнишь Апулькина, быдло!»

Не прошло пяти минут — Пахтачев перебрался к Ньюрольке, у которого вторая комната использовалась вместо кладовой. Освободил угол, разместился.

Ночью к злому, хмурому Луке заявился Ромка. Выдув ковш березового квасу, закурил и начал поучать:

— Отгуляли, Исаич! Но ты — ни-ни. Рыбкоп — рупь и коп — твоя стихия. А Марфу запиши. Пущай, едрена кош-ка, числится в колхозе. Работница с ие — одно званье, а каки ни есть — льготы.

Так и подмывало Луку осадить много возомнившего о себе батрака: «Дожили! Яйца курицу учат!» Но дослушал, тогда вспыллил:

— Расселся! Поучат!.. Я чо? Уже не хозяин тебе? Забыл? Глупее себя ищешь?

Долго длилось молчание. Первым не выдержал Ромка:
 — Прости, Исаяч. Я от души. Сколь делов обтяпали вместе!.. Ипатов грит: вращать в коммунию тебе надо, вращать до поры до времени. У людей поумнее, грит, завсегда есть вторая, запасная, дорожка.— Черные, заискивающие глаза Ромки отливали нездоровым блеском.

— Садись, будя,— пригласил Лука нежданного гостя к столу. Выставляя кой-какие харчи, прикидывал, соображая: «Разобраться, по нонешнему времени — дело говорит... Инвентарь — шут с ним. Вот коня — жалко».

Ромка налег на еду. Помолчали.

«А почему я должен коня отдать, ежль у половины этих самых, о хомуте заскучавших, дуги и той нету? Я им чо — благодетель? С меня три шкуры, а с кого ни единой?.. Не-е! Давай сначала я продам коня-т, денежки в карман уложу, тада пиши и Марфу в колхоз. Равенство, так равенство!.. Пущай-ка Ромка сведет коня татарам на махан. Украли, мол, и вся недолга!»

Марфа, прихватив прялку, где-то сумерничала, но Ромка, насытившись, приглушил голос до шепота и рассказал: Ипатов хоронится в тайге, в ските заброшенном. Прогремел он в Колывани, ищут его. Обрез, наган у них есть, еще бы охотничье ружье да припасов поболее и хлеба — они б жили и жили там, добывали ему, Луке, белок-соболей.

Лука и сам давно подумывал об этом, да где найдешь таких простаков? Ноне-то! А тут прижало — сам господин Ипатов сподобился. Вот она, жизнь-то, как крутанула!

— По рукам, Ромка! Накладай овсеца мешок — и в тайгу! Коня дам! — Глянул на иконы, перекрестился торопливо.— Припасы дам, то-се...

...Увел Ромка ночью коня — ни одна собака не взлаяла. Лишь костер из бани Апулькиных долго розовел над деревней: дожидаясь глухой поры в бане, заронил Ромка искру от сигарки.

Утром у общинного амбара, где валялось несколько бревен, белоярцы впервые собрались не на земельный,

или общинный, а на введенный решением ВЦИК сельский сход — под руководством сельсовета. Хотя не раскулаченный Лука по-прежнему имел право присутствовать на сходе, он не пошел. Собирались наискосок через улицу, и Апулькин сел у раскрытого окна. Ему было видно, как сначала выступил уполномоченный, за ним — Однорукий. Лука потрогал волосики на своем носу, почесал. Вспомнил: нос чешется — к выпивке. Достал полбутылки, отхлебнул. Со схода донесся хохот, шум. Лука не выдержал, засуетился, натянул картуз. В голове его созрел новый план, и он засеменял из дому. У забора приостановился, узнал голос Нюрольки:

— А как, граштанин... — Нюролька забыл слово «уполномоченный» и повторил: — граштанин товарищ, охотиться в колхозе дозволяется?

— А как же! Давайте так и назовем колхоз — «Охотник и рыбац».

— Тада пиши меня...

— Православная! — вбежал во двор, чуть прихрамывая, Лука. — Люди! — Он всхлипнул: — Ночей не спал... Горбом нажил... Мужики, суседи! Последнего коня у мя угнали! Баню спалили-и...

Кража коня — событие в деревне чрезвычайное — сход превратился в гудящий улей. Кое-кто побежал проверять своих лошадей — дома ли? Уполномоченный — худой, с воспаленными глазами мужчина лет пятидесяти — стучал кулаком по колченогому столу, вынесенному из избы-читальни, призывал к порядку, но где там! Гвалт усиливался.

— Дай-ко мне ружьишко свое да пуль поболее! — кричал Лука Нюрольке, хотя тот стоял рядом, тянул его за рукав. Вместе с ними ушли еще многие. Кто-то, нацелясь после схода выпить, подалее от недремлющих очей жены, прихватил спирту, и вот с брошенных у забора старых саней разнеслось:

С-судьба игра-аит чел-ловеком...

Сход перенесли. На поиски же пропавшего коня так никто и не собрался.

— Куды пойдешь? Может, его и в живых-то уже нету,— всхлипнул Лука.

Уполномоченный издала приметил в кучке выпивающих Луку с зажатым меж колен ружьем.

— Это вы сорвали сход! Специально!

Лука подождал, пока тот подошел ближе, заговорил тихо, с укоризной:

— Да нешто я против кольхозу? Да я, ежели хотите знать, с агитацией думал выступить. Ведь одноличник — как? Сперли коня аль сдох — хоть по миру иди. А у кольхозника рази украдешь? Не-е! Потому как нету иво, коня-то. Все ничейные.

— Агитируют не баснями, а примером. Вступаешь?

— Я в кольхоз? Пошто я-то? — растерялся Лука.

— С какой же тогда агитацией хотел вылезть? Против?

— Упаси бог! Плетью обух... — Лука примолк, переkreстился, немигающие глазки округлились. А уполномоченный наседавал:

— Вот бумага. Пиши: «Прошу принять...»

— Хе-хе,—преодолел испуг Лука.— Не положено.

— То есть как? — красные от бессонницы глаза остановились на лице порозовевшего Луки.— Ты что, лишенец?

— Не лишенец, а государственный служащий. Рыбачий магазин на шее. И община.

— Так какого... головы морочишь?!

— Вечно он круть-верть! — пояснил Пахтачев.— На чужом горбу в рай норовит.

Прищурясь, Лука пристально посмотрел на иссинябледное лицо уполномоченного, потом на Пахтачева. «Назем бы вам у меня таскать, а не власть изображать... Ужо!» И как человек, знающий порядок, разъяснил:

— Женку свою, Марфу Игнатьевну, желаю записать.

— А что ж она сама...

— Как неграмотну.— И на лицо Луки снова наплыла улыбка; он взял уполномоченного под руку, отвел в сторону и шепнул: — Подлипаев здесь воду мутит. Только дураки, грит, в колхоз идут. Так что довожу, как властям. Поимейте в виду.

Лука возвращался домой горделивый, довольный: «Не может быть, чтоб при таких властях,— представил он уполномоченного и Пахтачева, потом сельсоветчиков,— он не нашел ключик к новой жизни. С умом и магазин, и колхоз, и промысла — все даст деньгу живую... Не хлопать ежль ушами...»

— Телята... С бычьим гонором,— заключил Лука и сплюнул.

В артель вступило лишь десять самых бедных семей. Председателем, как и предполагал Лука, выбрали Ивана Пахтачева. На другой же день, облачившись в новый суконный пиджак, он решил обойти семьи единоличников, членов общины, потолковать с глазу на глаз. Начал с хантййки Эд, не уступавшей на охоте и Нюрольке. Жила она в единственном на всю деревню чуме; войдя, Пахтачев не сразу освоился с темнотой. Сначала увидел очаг — кучу углей, подернутых пеплом. Эд чинно восседала на лосиной шкуре с кружкой в руках.

— Садись, начальник, чай пить.

Пахтачев присел на низкий, иссеченный теслом чурбак, сказал о колхозе. Эд одобрительно кивнула:

— Одна деревня, один род. Ладно!

— Добро! Я распоряжусь, чтоб тебя в охотничью бригаду.

— Кака бригата? Сачем? Мой урман одной — самый рас.

— Все урманы станут общими, все — твоими.

— Сачем все? Жадной можно стать, как Лука.

— А если заболеешь в тайге? Как одна-то?

— Ай-ай, чо буровишь? Сачем болеть?

— Артельно и промышлять веселее.

— Зверя много — весело; охотников много, зверя мало — плакать надо...

Вернувшись домой, Пахтачев посетовал на свои неудачи Нюрольке. Тот удивился.

— И Эд не хочет? Пошто? Хочет. Посиди.

Не прошло пяти минут — он вернулся вместе с хантыйкой. Та с порога:

— Пошто не сказал: «Нюролька записался!..» Ай-я-яй! Нехорошо, начальник!

Чувствовалось, сердилась искренне, а Пахтачев не смог скрыть радостной улыбки.

Обошел Нюролька еще домов десяток. Вырос колхоз вдвое.

— Открой секрет, Харитон Прокопович,— попросил его Пахтачев, заталкивая пустой рукав пиджака в карман.— Может, кого сам сагитирую?

— Я тебе, председатель, всех настоящих таежников привел.— После паузы добавил: — Окромя Митрича. Тот сам с усам.

Община или колхоз? Промартель или коммуна? Как жить, куда идти? Споры, ругань, тихие беседы...

Для колхозников клубом стала контора, а мужики позажиточней по-прежнему тянулись к ларьку. Как ни увлекла Митрича охота, но едва начались в колхозе разговоры о посеве овса для лошадей, душа потомственного хлебороба заговорила и в нем. Опершись на перила крыльца, он курит крепчайший самосад и, покашливая, говорит:

— Для себя и ржицы немного сеять бы можно.

Лука рад любой возможности поспорить.

— Веками здесь не сеяли, не жали, а жили — дай бог всякому. Аль крупчатка приелась? — почесывая нос, под смешок добавил он. Его белесые брови вздрагивают от беззвучного смеха.— Хоть мильон тайга с рекой прокормят.

— «Мильон»! — сердится Митрич, не привыкший к легкомысленным спорам. — А случись неурожай на орех-ягоду, следно быть, и на зверя-птицу — тогда чо?.. «Матушку репку» в мильон глоток петь? Ты без пушпинки-то, за здорово живешь, дашь мне крупчатки?

— А рыба? Завсегда спрос!

— Я так сужу: рожь должна вызреть, — стоял на своем Митрич.

— Ноне богатство не в почете. Есть штаны — и сиди радуйся.

Прибежал сынишка Луки Адик. — Дядю Митрича ищакуют! — объявил он, прижимаясь к отцу.

Митрич поднялся. Нехотя: зачем и кому опять понадобился? И так, и этак прикинул, выходило одно — будут агитировать в колхоз. Он присел, достал кисет, принялся не спеша сворачивать сигарку.

— Не баре. Обождут. Покурю вот ишшо...

Показалось обидным: приедут, командуют. Будто у него своей головы нет. Сроду не лез в воду, не зная броду. И нужон — приди сам!

Темной осенней ночью опять заявился к Луке Ромка. Черная борода его раздалась вширь, а нос заострился, лоб и подглазья избороздили складки да морщинки. Только глаза, как мокрые спелые смородины, не сдавались: смотрели озорно и весело. Надо, дескать, муки, соли, табаку, чаю, керосину. Лука схватился за голову: до чего избаловался человек!.. И не дать нельзя — уговор исполу! И дать — сколько можно? Вдруг нагреют? С цыгана да беглого взятки гладки. Хмыкая, Лука переспросил:

— Керосин? Ничо, наши деды-прадеды в глаза его не видели, с лучиной сидели. И вы не баре. Чай? Ягод запасите, чаги. Трав опять же. Ну, табак поищу, валялся иде-то самосадишко. Мох, однако, добавляйте, мох. Пользительней.

Муки и соли Лука все же пообещал привезти, растолковал, где и когда ждать его.

Через неделю Лука отвез к условленному месту муку и соль; по пути он приметил отбившихся от стада колхозных телят и быка Прошку. «А не угнать ли одного? — прикинул. — И время, и дрови-пороху на дичь-приварок потратят мене — боле добудут пушнинки». И он потихоньку погнал телят дальше: вместе они шли охотно, но отбить от стада облюбowanego черного бычишку никак не удавалось. Лука совал ему пирог, прихваченный на дорогу, но он, даже отхватив кусок, при виде хворостины взбрыкивал и, задрав хвост, удирал. Только привыкший к людям бык Прошка, пошевеливая толстыми шершавыми губами, сам послушно тянулся за аппетитно пахнувшим капустным пирогом. «А ежль? — дрожь прошлась по спине Луки: потерю Прошки заметят сразу, искать станут. — Ну и чо? — расхрабрился он. — Завяз, мол, в дрягве, утонул. И медведь опять же. Задрал — и вся недолга. Зато на весь сезон снабжу приварком...»

Ромка уже ждал. Лука взвалил Прошке на спину лузан с солью, на него пристроил мешок с мукой. Предупредил:

— Придерживай... В лузане в клубке ниток иголки воткнуты. Чтoб соль зазря не тратить, до осени-то бык пусть привязанным аль как попасется, а по холодку заколете. Шкуру повьдeлай и сваргань унты.

Усмехался в душе Ромка, нетерпеливо выслушивая хозяйские советы. Повернув назад, Лука увидел за кустом вереска человека, и первое, что бросилось ему, струхнувшему, в глаза — узкий ремень под зеленым дождевиком. «Обрез!» — сообразил Лука и не ошибся: человек шагнул, пола зацепилась за куст, оголив вороненый ствол. «Ишь ты, ремешок длинный — навскидку может, не снимая с плеча... — Лука поднял глаза. — Господи! Да это ж Ипатов! Неужто и мне не доверяет?» Еще не в состоянии произнести ни слова, он молча протянул руку. Ипатов слегка тронул его мягкие, не знавшие мозолей пальцы, усмехнулся:

— Коллективизируем скотинку?

— Хе-хе, — несмело хихикнул Лука.

— Это правильно. Хвалю!

Закурили, побеседовали о том, о сем. И рассуждениями, и видом нагнал Ипатов на Луку безотчетный страх: «Озлобился, хоронясь, скитаясь, а злоба — худой советчик. Сорвать бы ему ее на ком-нито, приспособить к делу...» Заговорил без околичностей:

— Не пронюхал бы Однорукий о зимовье, о Прошке... Вы вот чо: кокнули б иво. Для всех костью в горле засел, сволочь! Чо стоит? Чик — и нету. Никто не знат о вас. Шито-крыто.

Ипатов задумался.

— Документ мне справишь?

Помолчал и Лука. Припоминал знакомых в Рыльске, всякие ходы-выходы.

— Настоящий — не обещаю,— сказал честно.— Однако спробую. Справку каку-нито — добуду.

— Пришлешь с Ромкой. Да не проболтайся спьяну — червей кормить обоим! Понял?

— Чо я, дитё?... Глупе вас? — оскорбился Лука.

«Посмотрим!» — подумал Ипатов, но смолчал.

— Как разыграем? — спросил Ипатов Ромку, когда они вернулись с Прошкой в зимовье.— На орла — решку?

— Чаво? — не понял тот.

— «Чаво, чаво!» Голову Однорукого! Лука зря трясти штанами не станет.

Ромка растерянно пожал плечами.

— А то оценим, и — в картишки? — предложил Ипатов. Частый компаньон купца Куперина, он — стоило захотеть — легко обыгрывал своих партнеров. Из «любезности» обычно проигрывал, но — по мелочи. Ромка подивился: с ним, цыганом, в карты?... Усмехнулся в душе, согласился небрежно.

— Дело мокрое... Надо, чтоб по совести, едрена кошка.

Условились: кто первым проиграет червонец — тому...

— На руку-т рупь сбросим,— попробовал Ромка позубо-
скалить, но посерьезневший Ипатов так зыркнул на него,
что тот виновато осклабился:

— Шутю.

Играл Ромка скучающе, лениво. Не прошло часу —
просадил девять рублей. Ипатов оживился, повеселел.
Тоже попытался шутить:

— Можешь заряжать обрез.

А Ромка сидел на топчане из колотых плах, покрытых
плотно слежавшимся сеном, покачивал ногой небрежно.
Взял засаленную, задымленную колоду ласково, разделил
пополам, пустил в разрез. Дал, как положено, снять.

— Э-э, залетный! — замелькали Ромкишы пальцы.
Объявил: — Все девять просаженных мной рублей ставлю!

— Сдурел? — вытаращил глаза Ипатов.— По всем не
жди, не пойду! Выиграю рубль, и — заряжай!

Ромка молча скалил зубы.

Сходил Ипатов на рубль, потом на два, на четыре —
чтоб разом покончить дело. Что такое? Ставит и ставит!
Раззадорился:

— Иду на восемь!

Чего бояться? Ромка еще свои не отыграл, а ему лишь
раз срезать банк! И все: иди, Рома, снаряжай патроны жа-
канами!

Но ни разу больше не срезал банка Ипатов. Вставая,
Ромка обыграл ту же «шутку»:

— Предлагал на руку скинуть рупь?.. Шли б до девяти
— твоя победа!

Промолчал Ипатов. Лег на топчан. Вот так всю жизнь
— в большом и малом: дохнет она, Фортуна, игриво, жарко
и — взмахнет ручкой. Прощайте-с...

Коня Луки Ромка сплавил и купил двустволку, при-
пасов, кое-что из еды и одежды, но пища, как ни крутись,
однообразная, грязь, гнус. Похудели они оба, обовшивели.
Спали плохо, нервничали, все меньше доверяли друг дру-

гу. Поддерживало сознание: у обоих рыльца в пушку, а в одиночку тут не житье. Конец — так или этак...

Поехал Иван Пахтачев в лес и не вернулся. Нашли мертвым с пулевой раной в груди.

Была у следователя беседа о Пахтачеве и с Лукой.

— Даром что одноручь, а скот у опчества пас и дрова пилил не хуже иного прочего. Работящ и башковит... Я так и души в нем не чаял.

— Кто, по-вашему, мог его?

И плечами пожал, и руками развел Лука.

— Некому!.. Рази, ребяшня по ошибке? Бывает, пуляют в лесу. Метили в цель аль ишшо во што, а пуля, она дура. Сам-от я ружья не имел и в руках не держивал, тут бы вам с Нюролькой потолковать...

Бился следователь, бился — ни следов, ни зацепок. А человек был — и нету.

Василия, сына покойного Пахтачева, послали в Тайгинск — учиться.

Председателем колхозники предлагали избрать Нюрольку: член правления, дело знает. Но подкачала грамотешка: лишь на тридцатом году, в ликбезе, научился он выводить подпись и впервые узнал, что земля кругла, а дважды два — четыре.

— Этот и двум свиньям пойло не разольет,— ядовито отзывался о нем Лука.

И районное начальство так рассудило: пусть подучится и для пробы возглавит сельский Совет. Предписание такое имелось: в Москву на курсы послать от района представителя малых народов. Впервые в Приобье создавались национальные округа и даже отдельные национальные сельсоветы. Долго отнекивался Нюролька, а потом все же поехал.

Вернувшись, почти каждый рассказ свой о курсах он начинал так:

— Народишшу в Москве! Белок в тайге столь нету. Беседовал с нами сам Калинин, я и скажи ему: «Пошто зря туда-сюда ходят? Не протолкнешься на улице. Пошли-ко, Михаил Иванович, к нам тыщу — другу!» Ну, расспросил он, кто я таков, откель. Закончили мы, это, беседовать, вышли покурить, а Михаил Иваныч и говорит: «Пойдем, Нюролька, ко мне, чай пить!» Пили, значица, о жизни беседовали...

Однако к работе в сельсовете так и не легла душа Нюрольки.

Придя весной, как условились, к потайному зимовью, Лука не нашел ни Ромки с Ипатовым, ни обещанных гор беличьих шкурок. Неужто наткнулся кто? Заарестовали? Да быть того не могло: слыхали б. Знал Ипатов, где хорониться! И от деревни вроде недалече, да за такой непролазью ни человеку, ни лешему делать нечерта.

А день выдался редкостный. Голубое небо с клочками облаков отражалось в лужице, и свет слепил глаза. Тишина, слышен нежный шумок крылышек стрекоз. Разморенный приятной жарой и трудной дорогой, Лука присел на валежину близ землянухи. В раскрытую настежь дверь видна глинобитная печка и подполье; стена из колотых плах обита лосиными шкурами. Опушка пихтовой гривки понизу опоясана желтыми лютиками, чуть выше — белым иван-чаем, а по верхнему краю, меж пихт — пурпурным «татарским мылом». По лепесткам цветов ползали дикие пчелы. Зыбкое марево над болотом и сограми, окружившими пихтач, казалось, можно было потрогать, порвать.

«А он, видать, и тут жил не худо,— завистливо подумал Лука об Ипатове.— За мой-то счет!.. Умет жить, умет!.. А Ромка-т! Ну, оборотень!»

Вороша в памяти прошлое, Лука припоминал: когда Ромка стакнулся с Ипатовым? И, словно росчерк молнии в темноте ночной, цепкая память Луки, стоило дать ей направление, тотчас высветила то, на что он раньше просто не

обращал внимания: они ж оба из Одессы!.. Слыхал же от самого Ипатова: начинал он с перепродажи бычков и на этом деле, еще в Одессе, стакнулся с Ромкой... «Ох-х-хо, грехи наши тяжкие! А он-то им, прощельгам, коня, быка, муку, дробь-порох... Так тебе и надоть, старый дурак. На мякине провели старого воробья! Видать, за пушнину-т Ипатов теперь и сам, аль через Ромку, каки-нито добыл документы и — хвост трубой. Ищи-свищи ветра в поле...»

Вернулся Лука поблекшим. Осунулся даже. Не отвечая на расспросы Марфы, налил ковш браги. Выпил — отлегло немного. Вспомнил об Одноруком: «А ишо прокурором грозил! Мне!... Ужо, недолго царствовать голытьбе, придет час — усех!» И взглянул на часы, словно и впрямь с минуты на минуту ждал «часа». Давно уже все выделились из общины, а он все еще хранил пожелтевшие общинные списки, устав, протоколы сходов...

Шло время. Ходики Луки позеленели от медной ржавчины. К гире он привязал гайку, потом долото, а долгожданный «час» не приближался. В очередном подпитии вспомнилось ипатовское: «Врастать, Исаич, надо в их коммунию, врастать».

— Адик! — крикнул он сына. — Хошь в прокуроры выйти?.. Выучу! Вот-те крест!

Адик еще и не знает, что такое прокурор, скривил рожу и убежал. А Лука дернулся, грохнул но столу кулаком.

— Эх, жись, растуды-т ее, растуды!..

* * *

В самый длинный июньский день сорок первого года Нюролька отсыпался за весь месяц. Младший сын Николай уже съездил на обласке за диким луком. Привез целую охапку, чтоб до своего, огородного, хватило. Старший, Василий, ушел проверять вентера — без доброго приварка немного наробишь; похоже, думал, в белую тайгу за бол-

ванками для ружейных лож отправит Пахтачев. Телефонogramмой получено задание такое.

Аграфена, управившись со скотиной, хлопотала в огороде. Подбежала к изгороди Митричева Пелагея. Еле перевела дух, простонала тихо:

— Аграфенушка, война...

Ощувив материнским сердцем беду, которой хватит на всех, но еще надеясь на что-то, Аграфена переспросила:

— Да с кем? Где?

— Немец и... не упомянула я други-то земли.

Побежала Аграфена домой, растолкала мужа.

— Вставай!.. Да вставай ты!

— А што?.. Выходной же!

— Война!

Вскочил Нюролька.

— Где сыны?.. Отправь Кольку за Василием. Я в контору, а ты спроворь мешки с ляжками. Да небольшие, посподручней.

— Неужто обоих да сразу заберут? — запрочитала Аграфена.

— Вот дура-баба! Не два, а три готовь. Как придет Василий, скажи, пускай заколет кабанчика. Сала осоли на рогу. Табаку достань с подволоки, да поболее!

— Господи! Да какой из тебя-то вояка? Не служил ни дня, необученный.

— Ученого учить — только портить! — даже обиделся Нюролька.

И сбежал поскорее — от слез подальше.

— Дядя Харитон, к председателю! — за два дома крикнул Адик Апулькин, а сам — бегом дальше.

Контора уже полна людей.

Через день в Таежное прибыл пароход «Козьма Минин». Сыновья Нюрольки и многие другие, помоложе, уехали на нем, а вскоре Белоярский Плес проводил мужей и отцов. Вторым эшелон — на «Дмитрии Пожарском» — отправили Митрича и других мужиков.



...За все начальство остался в деревне «рядовой необученный» Нюролька.

Бригадирствуя, поднаторел он и в делах, и в какой ни есть грамотешке — счете, письме. Приняли его в партию, пригласили для утверждения на бюро райкома.

— Какое у вас образование? — спросил заведующий районо, человек в Рыльске новый.

Смутился Нюролька. Один ликбез у него за плечами. Выходит, никакого нету. Ни одного класса. «Откажут — стыда не оберешься,— думалось.— И в сам деле, какой из меня партиец?» — Аж пот бисеринками засверкал на его лбу.

Первый секретарь посмотрел на Нюрольку воспаленными от бессонных ночей глазами, протянул руку к папке с личным делом.

— Ну, что вы?.. Есть образование? — услышал Нюролька тот же голос, не смея поднять глаз.— А то ведь Ленин говорил, что неграмотный человек — вне политики...

И тут вспомнился Нюрольке покойный Пахтачев, посылавший его в ликбез: «Классовых образованнее у нас с тобой, можно сказать, но два высших. Теперь бы научиться читать и писать!» И Нюролька, бесхитростно глядя в глаза молодому заведующему районо, сказал:

— Два высших.

— О! И какие?

— Гражданская война и коллективизация.— И томимый паузой, напряженной и непонятной, хотел добавить: «Ишо ликбез», но больше вопросов к нему не было, прозвучало дружное: «Принять!»

Вернулся Нюролька — разгар рыбалки, враз приспели прополка, сенокос. А бригада полеводов сплошь из баб и ребятшек. Ни косить, ни метать сено некому. Луку и того в трудармию призвали.

— И тут слукавил,— возмутились солдатки.— Одне на фронт, а он в тылу топором потюкивать, паек красноармейский ись.



— Да печенью он всю жись мается!

— Дурью он мается, а не печенью!

С первыми похоронками притихли защитники Луки.

А сейчас, пока Ньюролька соображал, кого бы из оставшихся мужиков снять с рыбалки, подбежал к нему Адик Апулькин.

— Харитон Прокопович, вы обещали...

Помнится, обещал ребятам послать их подвозчиками копен — сиди себе на коне да погоняй! Усмехнулся:

— Каки копны, раз трава не кошена?.. Пока на прополку, а там держи связь со мной. Косить ишо некому!

— А мы с Митричевым Санькой и косить можем. Мы пробовали!

— Не врешь?

— Хо, а чо там?

— Давайте! Посмотрю.

— Только... мы ездить умем, а запрягать — не.

— Научу! Не хитра наука!

Помчался Адик за Санькой.

Из всех полевых работ Адик больше всего любил возить копны. Веревку под сухое пахучее сено подтыкала обычно Марфа.

— Н-но, пшла! — всякий раз азартно кричал Адик, хотя привычная ко всему рыбооповская коняга и без понуканий трогалась с места, едва Марфа прицепляла к хомуту второй конец веревки.

— Давай, давай, молодчики! — подгонял их, как, бывало, батраков, Лука и подхваливал: — Ведро-то како бог дал!

Кинув два-три навильника, присаживался в тень. Курил, поучал:

— Сенцо, оно спех-торопь любит. А коровушка — уход. Корми ранним да зеленым — маслом задоится!

Теперь убирать сено Адиду предстояло не с отцом и матерью, а в компании сверстников: кажи и удаль, и умение; работа и игра — все вместе.

Каждый раз перед прополкой, сенокосом или уборкой, перед множеством других дел и забот ужас брал Нюрольку: завалит он, ей-ей все завалит! Кому работать? На чем?.. А наступала страда, и — по словам Аграфены — «глаза боялись, а руки делали». Все как-то крутилось, двигалось, и Нюролька дивился: еще хвалят колхоз в районе. От те и бабы да ребятишки!

Сила, оказывается.

Вот только по первости слабая грамотешка часто подвела Нюрольку. Счетовод тоже еле пурхался. Летом, правда, выручали старшекласники: то перепишут бумагу, то сами сочинят — только подай мысль. А осенью уехали они в Таежное — одна десятилетка на все верховье чутымское. Только Митричева Пелагея сказала своему Саньке:

— Сынок, совсем худо с рыбалкой. На неводе тоже одни бабы остались. Помог бы немного. Все мужик! А уж председатель обрадуется...

Назавтра у дощатой завозни с неводом Нюролька, выслушав Санькино объяснение, нахмурился:

— Сын фронтовика из школы дезертировал?! — и заговорил сурово: — И воевать знания во как нужны! — чиркнул по горлу. — А вам нову, мирну жись строить. Топай, топай в школу.

— Мама сказала: худо с планом,— упорствовал Санька. Хотелось ему, как взрослому, понеvodить.— И еще красивый обоз для фронта готовят...

— Я сам встану сѣдни на невод. А для тебя ученье — тот же фронт. Отец чо наказывал?

— Я и бумаги писать бы мог,— ухватился Санька за последнюю соломинку.

— Гумашками нашими ворога не осилишь.

Отправил Саньку в школу.

Любил Нюролька и белую тайгу, и урманную, а особенно боры во все времена года. Бывало, весной часами сидел в Глухарином бору у костра, слушал бойкий лопот осинок,

степенный шепот кедров, птичий гам. А едва примолкнут на закате солнца пичужки и уляжется ветер — наслаждался тишиной перевозданной,пил душистый смородиновый чай.

Чем дальше в лето, тем обильней в лесу грибов, ягод, зелени и всякой живности, но самая любимая пора у Нюрольки — осень. Несравнима, неповторима она в боровом разнолесье и дарами своими, и красками, и легкой светлой грустью увядания. Об одном жалеется — слишком коротка она, мимолетна: зачистит бусенец с проливнем, дохнет на росы сиверко, одарит листву предрассветным заиндевелым кружевом, и враз померкнет, побуреет щедрое разноцветье.

В осенней охоте на боровую дичь, особенно глухарей, не было Нюрольке равных. Глухарь — иссиня-черный красавец тайги — всю осень лакомится клюквой и брусникой, а зимой — хвоей да древесными почками и, если не запасется камешками для перетирания грубой пищи, — погибнет. Древний инстинкт влечет эту могучую, огромную птицу на дресвяные береговые осыпи и редкие в тайге песчано-гравийные порхалища. Знал Нюролька эти места наперечет с детства. Пятьсот глухарей добыл он на них за неделю. Чувствовал — перебрал, да не до заботы о глухарях, когда такая война идет. Больше пяти тонн дичи отправил тогда колхоз для раненых под Москвой и лечившихся в Тайгинске воинов. Правда, за самовольную отлучку Нюрольке объявили выговор, но тут же решили послать его старшим с красным обозом в Тайгинск. «Снайпером таежного фронта» назвали его на митинге при проходах обоза.

Белоярский Плѣс и до войны был необычайно тихим: молодежь постарше — пошумливей, побоевитей — училась в Таежном, а фермы на окраине, в соснячке, да и большинство взрослых зимой и летом в поле, на лугах, в тайге, на озерах. А теперь и вовсе попритихли улицы, реже, тусклее светились в ночи окна. Дед Софрон Пальшин, как подморазживать начало, заявил Нюрольке:

— Словом перемолвиться не с кем! Бери ноне и меня на подледный лов!

— Взять — пошто не взять? Смотри, здоровье как? Возьму...

И по тому, как Софрон, щурясь, приставил ладонь к уху, Нюролька понял: не прошла и ему эта осень даром.

За первыми морозами белоярцы на многих подводах выехали на таежные озера, известные лишь Нюрольке.

— Пошто карась в них ходить начинает поздно? — спросил Нюролька отца еще мальчишкой.

— Лёка в них стар, однако. Лениво гоняет карасишек,— отвечал тот. Лишь спустя много лет узнал Нюролька: карась начинает икромёт, когда вода прогреется до определенной температуры. А те озера — глубокие, холодные. Только и всего...

Миновали непролазные летом болота. Кажется, от деревни рукой подать, а обоз идет час, другой — и ни единой приметы, что здесь хоть когда-нибудь ступала нога человека. Неописуема красота зимней тайги. Над промоиной, древним руслом безымянной речонки, шатром смыкаются развесистые кедры; хрустальные бороды куржака на их лапках искрятся, переливаются невысказанной расцветкой. Там, где лощинка расширяется — на бывших омутках, ямах,— позванивает лед, чернеют вмерзшие в него стволы поросших мхом пихт и елей.

Птица не пугана; невзрачные с виду таежные аристократы рябчики любопытным взглядом доверчиво провожают неведомых пришельцев.

— Фюис-с! Фур-р! — иссиня-черным обгорелым пнем вырвался из снега царь пернатой тайги глухарь и мгновенно исчез в еловой чаще.

Вот и озеро. Оно так и называется — Первое. Высокий материчный берег его порос соснами, а другой, болотистый, занесен снегом. Лед еще не толст, прозрачен: видно, как теньями проносятся огромные щуки, снуют туда-сюда красноперые окуни.

И вот уже взлетают фонтанчики ледяных брызг: пешнями долбят рыбачки проруби, с помощью веревок с шестами растянули невод на всю ширину озера. Теперь все решает лишь время да неизбывная сила солдатских жен и вдов. «Руководировать» ими остался дед Пальшин, а Нюролька отправился на Второе озеро. Продолбил лунку. Чебаки, язи, окуни, готовые, кажется, выпрыгнуть на лед, тесня друг друга, бесстрашно хватали свежий воздух; черные спины рыб покрупнее маячили ниже. Нюролька тихо опускал в воду сачок, подводил его под все новые и новые стайки. Гора прихваченной морозцем рыбы росла.

На десятке подвод вывозили ее с тех озер.

Софрон не впервой здесь, но и тогда Нюролька оставлял его с неводом, а сам с сачком уходил на второе озеро. Почему? Озера одинаковые, рядом, оба заливаются в половодье. Спросил он об этом Нюрольку. Тот ответил:

— Сачком на первом, а неводом на втором и на уху не добыть.

Не поверил, даже слегка обиделся Софрон. Упрекнул:

— Мы с тобой, Харитон, не вечны, а им, их детям,— кивнул он на молодых женщин,— это надо знать. А ты, похоже, шуткуешь.

— Не до шуток мне, Софрон. Устал я, как собака,— не понял его обиды Нюролька. Пояснил: — На этом озере дно наполовину песчаное. И ключи бьют из-под яра, вот рыба и не задыхается зимой. Сачком, стал быть, тут и на погляд не добыть. А во втором — трава и карчи, там невод и не протянуть. И без ключей оно, заморное. Копеечный сачок на ем — дороже невода.

— Вот те и однаки! — покачал головой Софрон.

Трудной была та первая военная зима. Колхоз готовил ружейную и лыжную болванку, вывозил лес. Не до охоты было Нюрольке, хотя и пушнину требовали: валюта! Впервые за всю жизнь сам он не ходил в эту зиму с ружьишком, не до того было.

В первый же выходной весеннего межсезонья белоярцы по традиции спозаранку вышли заготавливать дрова. Позже всех прошествовал комиссованный недавно из трудармии по болезни Лука. Приветливо поклонился соседям:

— Бог в помощь!

— А и ты поможешь, дак не откажусь,— пошутила Аграфена.

— Чего ж не помочь добрым людям? Завсегда... Не надо ль бочат, кадок?.. Аль жбан под квасок? — подмигнул он вернувшемуся по ранению Митричу, намекая на брагу.— Могу по-соседскн...

— Ой, как не надо! — не выдержала Митричева Пелагея.— А почему?

— Да ведь товар-то не мой! И смотря что. Опять же, ежели сосна — одна цена, кедр — другая. Деньги-т ноне как вода. Я, буди, свои отдам, а вы мне напилите сажон сколь — и ладно.

Митричу теперь не до охоты, раны побаливают, и с деньгами у него туго, и пыльщик из него плохой, кивает на женщин:

— Это уж как они.

А те и рады; договорились, и Лука повернул домой. Чего самому потеть — напилят!.. Уходит гордый от сознания: не просил, а — облагодетельствовал!.. Уж если кто умеет жить, то умеет! И самому кадки задарма достанутся: труд свой — это Лука знает! — белоярские бабы ценят дешево...

Секрет апулькинской «доброты» открылся зимой — когда белоярцы прибыли в леспромхоз на вывозку леса. На уже выработанном лесоучастке с одним ветхим баракком их встретил лишь вертлявый сторож. «Ромка! — еле узнал его Софрон.— Ишь, куда прибился,— прижала, видать, и его война! А в деревне и глаз не кажет! С чего бы это?»

— Располагайтесь. В тесноте — не в обиде. Так? Дрова не куплены, не замерзнем. А ежль спиртишко есь — и вовсе куды с добром!

Ромка зарос широкой черной бородой, схлопотал что-то на правый глаз, окривел. Оказалось, все лето он делал тут бочки.

— Мне пару человечков! — насел он на Софрона. — Будем тесать клепку.

— У нас план вывозки, о клепке ничего не знаю!

— Да ты, едрена кошка, не переживай, бочка идет под рыбу фронту, сынам нашим. И тебе не все едино? Так и так нам скоро помирать!

Но Софрон сказал как отрезал. Да и не все разбирал он в скороговорке бочкаря. Покрутился тот, поворчал и достал пласт соленого сала и бутылку спирта. Показал Софрону на табуретку.

— Садись, погреемся, едрена кошка! Хотя так, хоть етак — помирать. Сначала ты, опосля я...

Понял Софрон, откуда оказались у Луки жбаны и бочки. «Тут бабы кажинну зиму лес возят и знать ничего не знают, а он и не работал, да все знат. И лазейку нашел. Опять стакнулся с этим Ромкой, пьянчужкой. Воистину рыбака видит издалека».

Софрон, хоть и не дурак был выпить и в лесу сам уже не работал, от угощения отказался.

— Не потребляю,— сказал.

— Кержак?

— Ага. Он самый.

* * *

Однажды по первопутку приехал в Белоярский Плес предрика Филигранов. В ночь собирался и уехать, да расковался конь, и он остался на воскресенье. Нюролька пришел из тайги помыться в бане и, напарившись, в тулупе и пимах присел на крыльце конторы покурить, узнать новости. Разговорился с ним Филигранов об охоте и посетовал: который год, мол, тянет его побродить с ружьем, да все не-

досуг. Лука, скромненько притулившись у двери, ожил, зашебутился:

— Вашу работу рази переделаешь?.. А зайца, рябка у нас сколь хошь. Рядом, Харитон, дай дорогому гостю ружье, а припасом я снабжу!

Тут же пальцем поманил точившего лясы в конторе сына, сказал ему тихо:

— Сбегай за Митричевым Санькой. Тот знат, где выводки. Покажете!

Не устоял Филигранов перед таким напором. Собрались и в бор пришли в одночасье. Мест, где днюют и кормятся новые выводки рябчиков, Адам не знал, но, пошптавшись с поднаторевшим на охоте с отцом Санькой, подсказывал Филигранову сам, где идти, куда свернуть. И верно, вскорости подняли зайца, за ним рябчиков. Но Филигранов почувствовал не азарт и легкость в душе от общения с природой, а неловкость.

— Стреляйте... вон! Да скорее же! — шептал Адам, а Филигранов, поначалу ни о чем не подозревавший, сейчас осознал, что Лука устроил ему охоту по-барски: подхалимаж, но какой-то обидный, неумный.

Рябчик улетел, а Филигранов спросил Адама:

— Почему сам не стрелял?

— Не. Вы.

Посмеявшись в душе над самим собой, Филигранов сказал с улыбкой:

— Отвел душу, и довольно. Вы продолжайте, а мне пора. Наверное, подковал уж Митрич коня.

«Да почему?!.. Чем не угодили?» — было написано на лице Адама, и Филигранов снисходительно похлопал его по плечу.

— А ты молодец, лес чувствуешь. Кончай школу, поставим егерем,—Адам никак не отреагировал на это, и Филигранов добавил: — Или подберем работу по душе. Спасибо, ребята! — закончил он и повернул обратно. Вернулись и Адам с Санькой.

— Уже?! Да пошто? — встревожился Лука и шепнул Адаму, несшему Санькиного рябчика в руке: — Отдай рябка-то,— кивнул на Филигранова.

Но тот вместе с ружьем отослал Нюрольке и своего единственного зайца. А как только Митрич закончил свое дело, сел в черную резную кошеву и помчался, вздымая коваными полозьями снежную пыль.

«Буду и я в такой ездить...» — заверил сам себя Адам.

Но самоуверенность, с детства вдолбленная грешившим этим же Лукой, подвела Адама: не заладилось ученье. С треском провалив экзамен в десятом классе, он отказался учиться дальше в школе.

— Пересдашь! — увещевал Лука.— Куда в нынешнее-то время без образования?.. Ноне оно, а не богатство в моде. Как ни вертись, все обстригут, обрежут. Хошь в люди — учись. А не хошь — потянешь, как я, чужу лямку.— Лука примолк, продолжив мысленно: «Рази в доброе-то время я ходил в приказчиках, у чужого товару? Я б и у своего-т приказчиков имел!»

Но ни уговоры, ни ругань не помогли. Осенью Адама призвали в армию, а, отслужив свой срок, он, не заезжая домой, устроился на работу в Рыльске. Потом поступил в сельскохозяйственный техникум, на заочное отделение. Закончил. Поступил в институт.

Давняя мечта Луки сделать сына прокурором рухнула окончательно. Их отношения так и не наладились, да Лука пока и не стремился к этому: «Агроном,— кривил он губы.— Чо может агроном? Сам зубами щелкает. С меня ишо потянет...»

Еще в техникуме Адам женился на племяннице Филигранова, доярке, пошли дети, на заочное ученье уже не хватило ни сил, ни времени, со второго курса его отчислили.

Белоярского «Охотника и рыбака» к тому времени преобразовали в сельхозартель, рыбокооповский ларек закрыли, и Лука с год болтался на разных работах, а потом строился на колхозном складе.



В это же время, в середине шестидесятых, завернул на родину Василий Пахтачев, сын покойного Однорукого, батрачивший у Луки вместе с отцом, а ныне — работник райкома партии. Странное чувство испытывал он: припоминал родные места, не узнавая. Там, где некогда веселыми ватажками выбегал на берег молодой кедровник, взметнулся к небу раскидистый кедрач. Казалось, давно ли бегал тут мальцом босоногим? Эх, время-время!..

Пахтачев невысок, но коренаст. Под брезентовым плащом с капюшоном меховой жилет. Знать, не домосед: ни весенние грозы, ни осенние падеры в такой одежде не помеха, размышляет моторист колхозного катера Генка. Чудной только! Увидит деревушку — смотрит так, будто жена с детьми ждут его на берегу. В деревушках же этих на Генкиной памяти и не жил никто. Пустые стоят домишки, бесхозные. Или увидел на взгорье село Таежное — даже галстук и кепчонку поправил, усы разгладил и: «Пристань!» Верно, създали глянуть — село как село. Школа виднеется двухэтажная, улицы. Дома все больше круглые, из вековечных лиственниц. Но, ухмыльнувшись, Генка не спешил с ответом. А Пахтачев и сам увидел: заколочены крест-накрест окна, заросли улицы муравой да бурьяном... На просьбу Пахтачева пристать ненадолго к Белому Яру — километрах в двух от деревни — Генка тряхнул вихрами и растянул рот в улыбке:

— Говорят, когда-то взгромоздился на Чутыме ледяной затор. И Плес, и яр топило!.. Напрямую, через кедрач, лед пер!

Катер ткнулся в берег.

Занятый своими мыслями, Пахтачев, только поднявшись на яр, осмыслил слова парня. Для того и послевоенные события — как преданья старины глубокой: «Говорят, когда-то...» А для него, Пахтачева, даже двадцатые годы — вот они, рядом, живые — в лицах, красках, колотороте буден. В притрактовых селах порой стыдились клички

«чалдон», а дед говорил с гордостью: «Я-т, паря, коренно-ой чалдон».

На медведя шел — не брал оружия, кроме рогатины. От всех болезней признавал одно лекарство: настой березовой губы чаги...

Вихрастый Генка недоуменно поглядывал из рубки: сколь помнится, гол, бесплоден яр. Ни клубники на нем, ни костяники. Чего, спрашивается, торчит там, будь он неладен, чиновный пассажир? Бригадир ждет не дожидется запчастей, а он тут прохлаждается! Шутка сказать — из-за нескольких шестеренок катер в такую даль гоняли. В Рыльске перехватили, приказали ждать, навязали пассажира...

— Эй-эй! И так припоздали мы! Груз срочный! — не выдержал Генка.

— Иду! — откликнулся Пахтачев и тут же передумал: — Езжай, я покурю и пройдуся.

Хотелось посидеть у дорогих могил, не суетно подумать о жизни...

В сегодняшнем, так дорого оплаченном мире, только б жить да жить — работать смело, радостно, как хозяевам судьбы и жизни, умеющим смотреть в лицо и самой горькой правде. До того, как сделать это вынудит Время. Или враг.

«Вырвем заразу с корнем!» — грозили отцу. «Яблоко от яблони недалеко падает», — слышал Пахтачев до и после его гибели о себе. И потом любая из миллионов солдатских могил могла стать его могилой. Но ведь не стала! Потому что те, кто был рядом, всегда оказывались сильнее...

— Ге-енка! Э-эй! — донеслось из кедрача поодаль. — Обождь!

Согнувшись под тяжестью мешка с шишками, к яру сменил сухопарый старикашка. Виделась лишь часть остроносого лица, но уж очень она была характерной, знакомой.

Лука Апулькин! И тот, видать, признал Пахтачева: мешок со спины его сполз и глухо жмякнулся в траву, а Лука, растерянно улыгнувшись, кашлянул.

— Шишчонок вот — хе-хе! — посбирал. Никак, Василь Иваныч?.. На родину, значаща, потянуло? — и еще раз обернулся к мотористу: — Ген, я чичас.

Лука поблек и усох, но живость сохранил; та же вкрадчивая речь и взгляд — то холодный, с хитрецей, то настороженно-выжидающий.

— Сына моего, Адама, часом, не встречал?

— Видел. Поговорить, правда, не удалось. Он что, сельхозинститут закончил?

Лука вздохнул:

— Да не... Вроде, ишо учится. Заочно. Но по должности уже агроном. И руководящий!

Пахтачев кивнул. Усмехнулся про себя: «Агроном недоучившийся, но — руководящий». А Лука уже семенил на катер. Спотыкаясь, выдыхал не оборачиваясь:

— До сви... даньща, Василь Иванч...

...Полузаросшая тропинка петляла по берегу, в мелколесье. Здесь, у Белоярского Плеса, тайга смыкала тысячеверстные лапы свои на обоих берегах, а ниже, до самого устья, тянулась неширокая лента заливных лугов; лишь изредка их разрезали пади с ручейками, стекающими в Чутым с верховых таежных болот.

День еще солнечный, тихий, но уже холодный, чутко затаившийся в ожидании капризов осени. И чуть набежал вместе с тучками серый сумрак — сразу пахнуло в лицо ветерком с реки, легкой озноб тронул плечи. Казалось, все висит на волоске: и свет, и тепло, и тишина. Из придорожного куста вдруг вымахнул не к сроку побелевший заяц. Пахтачев инстинктивно пригнулся, словно намеревался пуститься вдогонку. Эх, с ружьишком бы на денек!

Вспыхнул позолотой березничек; из его ситцевого разноцветья выпорхнула неунывающая домоседка-синица и скрылась в темном бархате пихт. Под их защитой примолкли даже осинки, будто прислушивались к последним вздохам угасшего лета. Пахло прелой листвой, грибами.

Сквозь поредевшие тучки щедро пробрызнулось солнце, и Пахтачев увидел, как впереди по болотинке, кивая головкой вправо-влево, пробежал и скрылся в кустарнике рябчик.

«Брусничит!»... Пахтачев, как мальчишка, присел на придорожный пенёк: не хотелось спугнуть не столько доверчивую птицу, сколько мысли, и что-то более неуловимое, тонкое — настрой души. Он осмотрелся: годы, прожитые вдали от родных мест, обострили зрение и чувства, и земля-отчина открывалась заново — не пережитым, неизведанным; смотрелось на все с любопытством, наверное, схожим с тем, с каким космонавт открывал бы для себя новую планету. Ну что, казалось бы, дорожная колея проселка! А Пахтачев взглянул на нее, и живо вспомнилось: при нем лишь несколько телег было в деревне. А тут следы и гусениц, и тракторов-колесников, и разных шин от мотоциклетных до «мазовских»... А разве отношение к природе не обогащает прожитые годы? Разве он когда-нибудь раньше замечал, что острые запахи тимьяна, шалфея и пихтовой хвои настояны на озоне соснового бора, смягчены влажным ветерком, погулявшим по озерам и сограм, березовым колкам? Над зарослями вереска и смородинника пунцовеют пышные гроздья рябины, как на картине большого мастера, созданной небрежно-вдохновенными мазками, где в то же время каждый мазок обдуман, взвешен. Так и здесь, в мастерской природы, все как бы продумано, уравновешено. Только умей смотреть, умей видеть. Рябина чередуется с вишнево-алой россыпью шиповника, потускневшую зелень черемухи перемежает золото осин. И тесный клин пихтача, и величавые, вразброс, кедры, и светлый сосновый бор на взгорье, и редколесье на болоте... Всему нашлось свое место под солнцем.

Лес притих, посветлел, как бы выставляя напоказ свои дары: иди, бери, человек! Я извечен, неисчерпаем: ведь так же сто и тысячу лет назад роняли здесь березки свой убор, с грустью провожая журавлей с их прощальным «курлы-курлы...»



Увидеть краски леса может всякий. Научиться различать, понимать его голоса, радоваться им — нужны годы. Зрение, слух, память сердца.

Аграфена рассказывала Пахтачеву: недалеко от деревни, но в такой заболотной глухомани, что туда и тропок нет, стоит у Нюрольки чум. Там и отводит он душу: рыбачит на озере и на зорьках охотится, а днем собирает бруснику и клюкву. Пахтачев знал то озеро: подпаском набрел на него — искал бычка. Вокруг хмарь, топи, лишь у самого озера, в зарослях ив, — небольшая гривка с десятком пихт. И сейчас он прикинул: а не завернуть ли с ночевой на председательскую «дачу»? Решился.

В своем чуме отдыхал Нюролька и душой, и телом. Дышится ему здесь легко, думы спокойные, светлые. Умотавшись за день, лежал он у костра, посматривая, как огонь лижет бока закопченного охотничьего котелка и уха дымится, вот-вот закипит — блаженная минута ожидания; устал, спина немножко зябнет... Сердце тосковало по сотоварищу, неторопливой охотничьей беседе; память послушно воскрешала прошлое: сколько радостных часов проведено им у костров и с ружьем за плечами!

Внешне Нюролька изменился мало. Та же жидкая черная бородка, копна волос, стриженных, как и прежде, «под горшок». Сединой да морщинами па лице, коричневом от несходящего загара, и отличался он от прежнего Нюрольки-охотника. Только одежда стала другой: грубые суконные галифе, потертая вельветовая толстовка. Обкатался, пригладился его язык, стал грамотней, но... бесцветней: пообмелел в Плесе океан языка народного, позанес песок времени самоцветы его...

Нюролька пригласил гостя к ухе. Пахтачев прошелся, осмотрел добычу. У входа в крытый корьем чум — двухдверный берестяной кузов клюквы, два мешка кедровых шишек. Тут же ружье и связка уток. У берега, в тени ивы, — са-

док-вентерь; видно, как спина к спине, в пять-шесть рядов стоят в нем, пошевеливая хвостами, караси.

— И все — за день? Один?

— Шишку ветер набил — только собирай. Утки — те на зорьке. Сами подлетали. Караси сами залезали. А ягода... Помоложе-т был — втрое боле брал.

— И вы все еще не миллионеры?

Нюролька помешал палочкой угли.

— Для себя и то, можно сказать, украдкой. Колхоз у нас теперь зерновой, не планируются дары таежные.

— А через кооперацию?

— Окромья зерновых и скота — звероферма, птица, па-сека, да мало ль дел. Хоть все одни убытки дает, а рук и заботы требует.

— Но ведь главные сельхозники сейчас — земляки. Они-то не только умом, но и сердцем должны понимать суть проблем. Что они?..

— Адам Лукич так сказал: совхозы у нас убыточны, и ничего, не шумят, растят то, что с них требуют. Так это ж беда, а он...— Нюролька не стал продолжать, перевел разговор на другое: — Теперь путявые таежники поразъехались, молодежь к технике тянется, а труд таежный все по старинке... А пишут: один гектар кедрача дает столько же масла, сколь шестьсот коров. Выходит, мильоны коров стоят недоены... Ну, остыла, поди?

Ложку с миской он отдал гостю, а сам под караса использовал ломоть хлеба, запивая его ухой из кружки. Пахло дымком, кипреем, смолой хвойного леса.

Насыщались молча; караси, попавшие в котелок прямо из озера, без промежуточных инстанций, казались Пахтачеву вкуснее осетрины.

После ужина разговор пошел об общих знакомых, их судьбах; вспоминали, размышляли. Заново, с вершины пережитого, заглядывали в прошлое и будущее Причутымья, Белоярского Плеса. Вспомнилось Пахтачеву, как перед отъездом в Рыльск зашел он в тайгинский магазин «Дары

природь». Удивило безлюдье. Вышла с покупками какая-то старушка, и он оказался единственным покупателем на двух продавцов.

— Кедровые орехи есть? — спросил.

— Только грецкие. Комиссионные.

— А что сие значит?

— Ценой дороже, качеством хуже,— откровенно объяснила, видать, не лишённая юмора продавщица.

— А брусника, клюква?

— С осени были.

— А дичь?

— Что вы!

— Даже грибов нет?

— Да вы что, с луны свалились?.. Когда бывает — тут не протолкнешься!

С чувством горечи и обиды за родные края осмотрел Пахтачев полки: консервы, консервы. Украина, Дон, Кубань... А где же плоды земли сибирской, дары таежные?

Из беседы с Нюролькой стало ясно: не земля сибирская оскудела, а ведомственные шараханья, непродуманная ликвидация промартелей нанесли ощутимый урон народному столу. Правда, сейчас создаются коопзверопромхозы, но когда-то они встанут на ноги — ведь бывшие кадры таежников-промысловиков поредели да порастеряны...

Перед возвращением в Рыльск Пахтачев прошел на берег к устью Безымянки. Хотелось побыть одному. Сидел, смотрел на осветленный ключами ее стрежень, слушал тихое, но неумолчное журчание, думал: несчетное число таких вот говорливых ручьев и делает Чутым могучим; лишь застойная вода зарастает тиной, тухнет, а живые струи самого малого ручья достигают океана. Так и человек. Кажется бы, кем были, теми и остались Митрич и Нюролька, а сколько веса, внутренней силы прибавилось в слове их каждом!.. А сколько подросло таких, как моторист Генка,

неведомых деревне и всему Причутымью раньше: механизаторов, мастеров на все руки!.. А вот зыбкий образ суетного Луки представился Пахтачему грибком, паразитирующим на древе жизни; сросся со стволом, не отдерешь, а только и заботы-дела: сосет добытое корнями, пролагая путь короедам и прочим губителям живого. «На то и щука в море, чтоб карась не дремал»,— вспомнилось вдруг отцовское. Выходит, и мы, человеки, не можем обойтись без них, мелких хищников. Но доколе?

* * *

Лука слыл покладистым, сам себя считал душевным, добрым; умел затаить обиду, в спорах, и не соглашаясь, уступал, на резкости, случалось, отвечал улыбкой. Но уж потом, наедине, как бы переживая все заново, не стеснялся в выражениях. Марфа смолоду ему не перечила, а он, распаяясь от хмельного и какой-нибудь обиды, не щадил никого.

Сидя у окна, днями потягивал бражку-самоделку, на которую Марфа была мастерица. На чем только ни варила: на березовке, разных ягодах, даже на свекольном соке. Как-то само собой выходило, что и Луке не говорили о людях хорошее. К нему шли поделиться новой сплетней, жалобой на кого-то или просто вспомнить старое:

— Эх, бывало...

Работая в последние годы кладовщиком, он все тоньше чувствовал, кому и когда следует поддакнуть, где покаяться или поплакаться: «Камни в печени, язвы их, замучили», хотя, не то чтобы лечиться,— не обращался к врачу ни разу. Только с Митричем по-прежнему он не в ладах постоянно. Человек хозяйственный и прямой, тот не дожидался ни собраний, ни начальства, сам во все вмешивался. Заглянул как-то в склад, выговорил и Луке:

— Не ладно, Исаич.

— Чо опять?



— Грязь, паутину везде развел. Самому некогда («лень» — хотелось ему сказать) — Марфу заставь. У доброго хозяйина в конюшне чище.

— Ну, какого... ты в каждую дырку нос суешь, кровя людям портишь? Ужо, накажет тебя жизнь, погоди!

И ведь как в воду поглядел, не обошла беда Митрича: после нечаянного купания на осеннем лучении обострился старый ревматизм, заныли раны. Даже во дворе стал ходить «о трех ногах». И спиртом натирал ноги, и в травах Аграфениных парил: полегчает на день-другой и — снова без палки никуда. Сделал Митрич себе посох с резным орнаментом, примиряясь с такой участью, но тут заронил в душу беспокойство и надежду Генка.

— Ехал бы ты, дед, в санаторий,— сказал.— Грязи есть такие — за месяц твою хворь начисто вышибут...

Гладил Митрич свою бороду-лопату, прикидывал: где раздобыть денег? «Чулка» он сроду не имел: лишние продукты: мясо, орех, ягоды — сыну шли. Поедешь — как без гостинца? Пудами возил. А сам заявится — того больше выцыганит. Правда, впервые зиму встретил без денег: подвела болезнь, ни разу не смог сходить даже за клюквой.

Раздумья прервала Пелагея:

— На то-се продай масла, а на лечение пусть Санька даст!

«Даст, да не раздастся»,— хотелось ответить Митричу, но он промолчал: а и в самом деле? Теперь сын пообжился, чай, сумеет отцу помочь. Лишь на всякий случай усомнился:

— На зарплату не больно разбежишься.

— Да ты отец аль кто? На большие тыщи ему всего передавали! Нет денег — барахла у ево всякого с три холеры, продаст чо-нито пуцай!.. Кого ждать?

Решился Митрич. Засобирался радостно. А то уж вовсе было пал духом. Когда Генка подъехал, чтобы увезти попутно в город, резво поковылял к воротам. Услышал, как Лука в сенях отчитывал жену:

— Заелась! Разбогатела! В городе за каждый огурчик можно по полтине выбрать, а ты — скотине!

— Да ведь пересолены и то скисли. Долго в тепле де...

— Да рази каждый с пробы их берет, в городе-то! Вот, ужо, Митрич едет...— Показавшись в проеме открытой двери, он сунул в рот огурец. Надкусив, сплюнул, кинул во двор. Увидев Митрича, сказал: — Сусед! Увези-ко бочонок огурцов!

Луке редко кто отказывал, продавали по назначенным им самим ценам, и поэтому до него не сразу дошел отказ Митрича.

— Чо «нет»? Увези, говорю! — сурово повторил он, подходя к разделявшему их заборчику.— Адаму попутно занеси тусок медку.

— Я со своими-то сроду не стоял на базаре.

— Ну, ладно, ну, гляди! — запыхтел Лука и, повернув в дом, гневно думал: «Обождь, толкнешься и ты к Апулькину! Апулькин, он не последняя спица в колеснице,— кладовщик!» Митрич зимой по-прежнему работал в колхозной кузнице и, случалось, имел дело со складом.

Назначить Луку кладовщиком предложил сам Нюролька. Лука сурово осуждал каждого, кто, бывало, выйдет на люди навеселе, и слыл трезвенником. И, оценив это, Нюролька добавил на правлении: «А продавцом он привык к товару, счету, ответственности». Простодушный Харитон Прокопович никогда бы не поверил, что Лука «потребляет» всякого зелья куда больше немногих, но намозоливших всем глаза выпивох. Но он знал не только меру, но и время, место. Лишь с этой осени, поняв, что мечты его найти «свою дорожку» к таежным богатствам уже не сбудутся, он как-то сдал и, закупив мешок сахару, начал, кроме бражки, изобретать наливки и настойки из разных ягод. А едва заглодало, и на работу стал прихватывать бидончик: зазябнет — приложится... И заговорил как-то злей, а при случае и откровенней, циничней.

По первопутку неожиданно появился к нему Ромка. Раздеваясь, объяснил: много лет кочевал с табором цыган: рыбачили, лудили посуду, ковали коней... Надоело!.. Он повесил полушубок, достал из кармана поллитровку, молча поставил на стол.

— А сейчас тружусь, как бывалоча, в леспромхозе. Сторожу матценности. Понял?.. Так что давай, Исаич, дружить...

По Ромкиному тону Лука понял: потому и появился, пройдоха, что прознал о колхозном складе. Почуял навар. Дармовщинку!..

Распили, закусили. Лука не помнил, с чего зашел разговор о сене, но объяснил, где на обратном пути можно незаметно наложить воз. Когда Ромка оделся, повторил:

— Значит, на елани, с распчатого стожка накладай.

— Сколь, едрена кошка? — полез тот в карман, вынул несколько смятых трешек.

Но не левые деньги прельстили Луку, а неизбывное желание подкузьмить Нюрольку.

— Не надоть. Не. Апулькины идут по закону, как по струнке, — запротестовал он. — Не мое сенцо, колхозное-бесхозное. Хошь — бери, не хошь — как ить хошь.

Потоптался Ромка, нацелив на Луку бельмо, но деньги спрятал не без удовольствия.

— Значица, до встречи на том свете. Так?

— Бывай!

Ушел нежданный гость, и Лука опять расперезживался: «Господи! Живут же люди!.. Всю жись тянет, с кого только может, а как гусь — все сухой из воды... Тут и копейки чужой не брал, а все так и целятся — абы как укусить за мягкое место... Воруют только дураки. Умный человек, он завсегда в законе найдет изъянец. Извлечет выгоду. Комар носу не подточит». Завернувшись в тулуп, он вышел и сел на завалинку. Раскачиваясь, тянул что-то нечленораздельное. И тут случилось непредвиденное. Приехали инженер и кладовщик из совхоза «Маяк»: еще с осени договорился Нюролька о взаимном обмене неходовыми запчастями. Вы-

звал Ньюролька Луку, а тот и лыка не вяжет. И раньше он заявлялся навеселе, да все как-то мирились. А тут опозорил и перед соседями.

— Ты чего это в рабочий день нализался? — спросил его Ньюролька.

— С радости, Прокопыч!

— С какой?

— Гостей дорогих дождался! Прошу усеx ко мне!

Извинился Ньюролька перед гостями за неувязку, но ждать, когда Лука проспится, не стал. Собрал членов ревизионной комиссии, и те отпустили все, что надо, составили акт. А правление рассмотрело тот акт и решило освободить Луку от заведывания складом. Хватит, мол, сколько можно?

Сдал Лука склад и немедля обмыл «снятие хомута». Пошел по деревне.

— Ну, вот хоть бы на эстоль чего нашли,— показывал он кончик пальца одному, другому.— А уж копались — подкапывались! Сами колобродят, а рядовой труженик и не вышей!

— Сызмальства такого нет, чтобы путать в счете,— говорил третьему.— Полный ажур! А вот сенцо колхозное разбазаривается! Ужо, весной хватимся, да поздно будет, вспомните тады Апулькина! — Лука говорил негромко, укоризненно. Чувствовал, слушали его неохотно, молча: с чего ж последнее время завсегда ходил пьяненьким?

— Лука Исаич! — срезал его Генка на полуслове.— Снял, говоришь, хомут?.. Ну и гуляй, тихо радуйся. Тихо, понял?

Примолк Лука; встретив Ньюрольку, сказал горестно:

— Бог тебе судья, Прокопыч. За напраслину и самодурствие твое взыщется!

Он стал склонять Марфу к переезду в Рыльск.

— Чо в городу-то делать? Каку холеру? — возражала она, пугаясь неведомой городской жизни.— Деньги не грибы, сами не растут.

— А базар? Около его, знашь, сколь народу кормится?

— Да чо на базар-то понесешь? — И с добродушной укоризной напомнила: — Все рубли с миру не соберешь, в могилу ничо не потащишь. Сыты, одеты, чо нам ишо надо? Пить бы тебе, окаянному, помене надо!

— Дура! Рыба — неразумная тварь, и та ищет, где глубже. Вот, ужо, Адам подъедет — обговорим, обмозгуем...

Вскоре Ромкины пути-дороги пересеклись и с Нюролькиными. Харитон Прокопович договорился с директором леспромхоза, где пихтовую лапку обычно сжигали вместе с отходами, вывозить ее и поить скот хвойным настоем. В первый рейс он поехал с Генкой и сам, но припоздал, в жарко натопленном вагончике на верхнем складе оказался один сторож. «Ромка!» — сразу признал его Нюролька.

— Ты чего тут?

Ромка охотно поведал: приехал за новой справкой, чтоб «подтянуть пенсию до полезного уровня», а директор, мол, уговорил потрудиться до весны — сторожем.

— Я ж тут всю войну бочки рыбакам шлепал,— пояснил он.— А теперь в Одессу-маму собираюсь. Совсем!

Имея в виду лишь бочки, сплавляемые Ромкой «налево», Нюролька протянул:

— Слы-ышал! Робил ты тут.

— Куда прешь! — вдруг накинулся Ромка на Генку, который разворачивал трактор с прицепом.— Не видишь кабеля, едрена кошка!

Генка огрызнулся, заглушил мотор. Нюролька объяснил суть дела. Ромка снисходительно смерил его косым, тусклым взглядом.

— Письменной команды нету? Нету! А балачку к делу не пришьешь.

— Какому делу? Все равно лапку жжете.— Генка вылез из кабины, по-хозяйски осмотрелся.

— А вам хвою нашу надо? Надо. Значит, имеете с нее?.. И хотите иметь задарма?

— Это вам выгода задарма: не собирать хвою, не жечь, а зарплату иметь. А мы вкладываем труд, трактор гоняем. Ради вас!

Ромка хмыкнул, покрутил головой. И пошел: не до вас, дескать. За кострами надо глядеть в оба. А потом передумал.

— Вижу, жмоты вы,— обернулся к Нюрольке.— Давай, Прокопыч, на полбанки — возьму, едрена кошка, грех на душу. По старой дружбе!

— Пошел он к черту! Давайте накладывать,— шепнул Генка.

Нюрольке ни самоуправничать, ни времени зря терять не хотелось, и он подал Ромке трешку. Тот небрежно сунул ее в карман полушубка и, вздохнув, чмокнул губами:

— Пошарь-ка по карманам — еще б семь коп. Эта стерва Сонька опять одной «Столичной» приплавила.

— Все едино ж на закуску не хватает,— усмехнулся Нюролька, обезоруженный хоть и циничной, но откровенностью.

— Закусь у мя всю жись в кармане,— и Ромка показал луковницу.

* * *

Лука пораспродал все ненужное в городе барахло и, заколотив окна, уехал в Рыльск. Остановился не у сына, а у давней знакомой: пристань обочь и базаришко недалече. Пока Марфа возилась с мытьем-приборкой в отведенной им комнатухе, Лука посеменял к сыну на службу в райисполком: хоть раз взглянуть, где восседает... Прошел без церемоний в кабинет. Обсказал все, что и как. Оглядел мебель: потрогал. Ободренный вниманием, от семейных дел перешел к живописанию «самодурных колобродиев Нюрольки».

Выслушал Адам Лукич отца не перебивая. Помолчал. Постучав в раздумье пальцами по столу, заговорил твердо:



— Тебе председатель не угодил, Петрову-Сидорову не нравится. Что же, в чехарду играть с лицом, народом избранным? А кто позволит? — Адам Лукич поднялся, прошелся по кабинету. — Ты на что меня толкаешь? На беззаконие? Личные счета?.. Нельзя так, отец. Фактически деловых, основательных претензий у тебя нет. Нету! Так что кончай с этим. Уехал — уехал! Живи. Маме поклон. Будет продых — зайду.

— Эх! — Лука засеменил к двери. Взявшись за ручку, обернулся: — Защищаешь, а не знаешь, о тебе самом он как? В чужом он, ты то есть, говорит, сидит кабинете. Во как! А ты — эх! — И хлопнул дверь. Но вторую, внешнюю, прикрыл тихохонько, почтительно.

Адам Лукич понимал: его ответ отцу не мог быть иным. Природная сметливость и трудолюбие, откровенность и доброты Нюрольки с лихвой компенсировали его упрямство и прямолинейность. Чего ни делал он, Адам Лукич, для него и родного Плеса! Где, бывало, ни мотается, а чуть продых от забот неотложных — вспомнит. Впрочем, претензий к Нюрольке — деловых! — немало! — Адам Лукич прикрыл ладонью залысины, как бы ограждая мозг от нахлынувших воспоминаний, но его пухловатые губы, сжимаясь, потончали. Главное — отстал Нюролька. Безнадежно. Последний из могикан. Давно уж почти все председатели в районе с высшим, а он... Адам Лукич привычно переложил тома Мичурина и академика Пряничникова с одного конца стола на другой. Хотя он одолел лишь два курса сельхозинститута — отчислили за неуспеваемость, после этого еще года три постоянно держал на столе своем и институтские учебники. А недавно, при удобном случае, впервые обронил с трибуны: «Когда я был еще студентом сельхозинститута...» И ни у кого уже не возникло сомнения: конечно же, Адам Лукич специалист с высшим...

Лука недели две ходил по Рыльску — читал объявления о продаже домов, квартир. Приценивался. К удивле-

нию хозяев, интересовался не столько жильем, сколько огородом, сараями, погребями, соседями. Искал он небольшой особнячок. И такой, чтоб недалеко от барахолки и базара.

В этом его поддерживала и Марфа:

— Главное — на особицу бы...

Лука и Марфа — люди разные, но со временем характеры их «притерлись» друг к другу. Слюбились-стерпелись, или «примолчались», как говорила Аграфена. И действительно, когда Лука и Марфа жили в мире, их разговоры редко выходили за пределы двух-трех слов: «собери на стол», «истопи баню». Марфа почти никогда не спорила, но, помалкивая, часто поступала по-своему. Эту, хотя и кажущуюся, покорность в деревне обычно осуждали, но Марфа только грустно улыбалась:

— Да чо спорить... Кого делить?

И вдруг неожиданно для жены Лука с ходу купил пятистенок в тихом окраинном переулке на берегу Чутыма. Он сразу выложил Марфе главный козырь:

— Видела огород? Это ж не огород, а золотое дно. А там присовокупим пустырек. Парнички... Смекай! И недорого взяли.

Так в переулке Тупиковом появился новый хозяин. На следующий же день во двор въехала автомашина, груженная тесом и старыми досками, а вернувшийся с работы, пораженный сосед увидел, что их общий двор разрезал двухметровый глухой забор, и за ним дробно рассыпался перестук топоров. Почти тотчас у калитки появился Лука.

— Позвольте?

Улыбаясь, он пожал соседу руку.

— Уж вы, дорогой, извините, клумбочку вашу попортили. А заборчик воздвиг — опять же беспокоить вас не хочется. Мало ли — свинок, курчонок заведешь, собачку. А вам я завсегда рад — чем могу. Сын у меня, между прочим...

— Ничего, пожалуйста! — пожал плечами сосед и, давая понять, что к дальнейшему знакомству не расположен, захлопнул дверь перед носом Луки.

«Ну и лешак с ним,— решил Лука.— Он сам по себе, я сам по себе».

Лука расширил дровяник, пристроил к нему утепленные стайки для свиней. Тешил себя думами: «Через годик-два денег куры клевать не будут».

Хотя деньжонок немного еще осталось, никакой обстановкой Лука обзаводиться не стал.

— Неча зря-то глаза мозолить людям. И Адаму опять же. На фатерку сгношили, а дале оно как бог пошлет. А там — ужо! Приспеет время!

Устраиваться на работу Лука тоже не спешил: присматривался, заводил знакомства. На другой же день по приезду в город он на пути к базару перехватил у молодой колхозницы барана и продал на червонец дороже. В очереди у магазина строительных материалов предложил свои услуги стекольщика, и женщины, окружив его, говорили наперебой:

— Крестьянская, три.

— Советская, семнадцать...

Лука записал десяток адресов и, обойдя желающих иметь в рамках новые стекла, за три дня положил в карман без малого сотню. Самодовольно думал: «Вот так жить-то надо!»

Когда наконец Адам посоветовал подыскать работу, Лука устроился кладовщиком в орс. Решил работать честно; надеялся на предприимчивость Марфы: купил ей четырех подсвинков, дав им общую символическую кличку — Копилки. В длинном приземистом дровянике закудахтали куры.

— А с кормом-то как? — простодушно усомнилась Марфа; сероватые, неяркие глаза ее испуганно округлились.— С воды-то сало не нарастет. А с базара — чистый разор...

— Бог не выдаст, свинья не съест. Заготзерно видела? — напомнил он Марфе. Та только похлопала ресницами и махнула рукой. Не понимала она этой городской жизни.

Действительно, через несколько дней Лука привез воз отрубей. Распивая магарыч с возчиком, он неожиданно увидел Нюрольку.

— Харитон!— встал Лука.— Прощу к нашему шалашу.

Взяв пирожки и кружку пива, Нюролька подсел. Новый знакомый Апулькина молча опорожнил свою долю и, сунув в карман бутылку, ушел. Лука первым делом сообщил о себе — где он, что. Нюролька не без ехидства спросил:

— Что же это тебя опять в кладовщики-то потянуло?

— Не нами сказано, рыба ищет где глубже... А мне что карасю: где потравянистей — там и сытней.— Лука приподнял стакан, заглянул в него, чуть прищутив левый глаз, взболтнул.— Да оно и рад бы забыть о себе — не получается! Прошло полдня — жрать захотелось. И получше. Одеться опять же. И выпить, само собой.

Находившийся за день до седьмого пота, Нюролька вытянул под столом гудевшие от усталости ноги и с удовольствием медленно тянул холодное пиво. А захмелевший Лука разговорился:

— Я, Харитон, так маракую: дело мое беспартийное, образованьишко тоже не так чтобы — «гимназия на дому», сам знаешь. Такая уж моя планида. Всяк бьется, да не всяк выбивается. Да и внизу-то, как карасю в тихом озере, покойней: ни волны тебе, ни щук...

— Совести нет в тебе, вот что! — коротко и спокойно ответил Луке Нюролька.— Слышал я,— отставив кружку, продолжал он после недолгой паузы,— есть такая насекомая: коричневая, пахучая, что твой хорек. Заведется— не выморишь. Травят ее, а она забьется в щели и сидит, аж почернеет, высохнет от голода, а недохнет.

Лука удивленно поднял глаза: чего человек мелет?

— Опять вопьется в тебя,— продолжал Нюролька,— насосется крови и плодиться, стерва, начнет, почище мухи...

— Клоп? — усмехнулся Лука над ослабевшим, видно, памятью Нюролькой.— Дусту, что ли, тебе достать?

— Вот-вот! Шибко напоминаешь ты мне клопа, Лука Исаич. Чистый клоп! Так из одной щели в другую и хорошишься... Никак не придумают на тебя дусту.

Нюролька встал и ушел, не простившись.

На первом же месяце работы в орсе Лука понял, что он не более чем кустарь-одиночка. Внезапная ревизия вынудила его бежать к сыну: так и так, мол, каюсь. Хоть сам и не грел рук, не грешен, а приплести могут: видел, знал. Может, и посодействовал где по незнанию, по неразумению... Адам Лукич скосил глаза на дверь — прикрыта ли? — и откинулся на спинку стула. Переставил пепельницу, включил вентилятор. Лука осторожно присел на краешек стула.

— Вот что, — не глядя на отца, начал Адам Лукич. — Я тебе сразу хотел сказать: на мое заступничество не рассчитывай. Ни в чем. За меня ведь если что — никто не заступится. Не можешь работать честно — я не говорю «жить», а только работать — уезжай в другой район.

— Господи! Да я всю жизнь по закону как по струнке! Комар носу не подточит. А только береженого и бог бережет. На всяк случай зашел. Мало ль...

Адам Лукич молчал. Лука поелозил еще на стуле, вздыхал и с захолонувшим сердцем вышел.

«Неужто приплетут?... Эх, сыны, мать их... пошли!»

Но волновался он напрасно. Его фамилия не попала в акт. И все же Лука подал заявление об увольнении.

«Надо место ишо потише», — решил.

Работы «не пыльной, но денежной», как говорил Лука, не находилось, мелочевая шабашка на ремонте квартир к зиме кончилась, но главное — против сытных «вольных хлебов» восстала Марфа:

— Тебе ж до пенсии осталось всего ничего! Дослужи, оформь, а уж тады — что хошь!

И Лука, скрепя сердце, поступил по соседству в баню. И работа, разобравшись, не бей лежачего, но Лука пришел на новую работу хмурый, с всклокоченными вихрами нече-

саных волос. Голоса клиентов — «Откройте сорок пятую!», «Тридцать!» — все труднее отрывали его от табурета у тумбочки, где он сидел, пригорюнясь: не видел навару. Но вот в первый же день его поманил пальцем грузный, упарившийся клиент.

— Дорогуша, нет ли у тебя водички?.. Сбегай! — и он сунул Луке хрустящий рубль.

«Я те не лакей!» — уже чуть не сорвалось с губ Луки, но грузный так подмигнул, что Лука живчиком юркнул в фойе, купил в буфете бутылку лимонаду. На сдачу клиент махнул рукой. Вернувшись на свое место у входа, Лука стал осмысливать ситуацию. Вода в буфете, конечно, всегда есть, да ведь дорого яичко ко христову дню. Иной в парной-то полчаса сидит, отходит. А голым за ей, извините, не пойдешь. Да и не всегда бутылочна-то есть. Опять же как-никака — очередь! А ежели к тому ж приносить пиво?! Да никто и не заикнется о сдаче! «Свою дарю! Последнюю. Из уважения...»

И Лука ожил: одно дело — без сдачи, другое — бутылки. Кто ж их потащит с собой?.. Тоже чистый навар!

Закупив для начала три ящика пива, пришел на дежурство с вместительной сумкой. Наметанный глаз его с ходу, почти без осечки, определял, кому и что предложить: «Не угодно ль пивца подать? Сам собирался в парную, да раздумал...» А потом и веники, мочалки, переданные ему для продажи, припрятал и, когда их спрашивали, вздыхал:

— Перебой, опять перебой с ними. Кому охота ноне с вениками-т возиться?.. Сам вот вчера один приобрел на базаре... — И вздохнув еще раз, оживлялся:— А то выручить?.. Я солидного посетителя,— льстил Лука,— завсегда готов уважить.

После такой тирады как-то неудобно отказываться или мелочиться...

Вечерами Марфа приносила новую порцию пива и уносила пустые бутылки. На досуге Лука прикинул: зарплата виделась теперь таким довесочком, ломтиком на «буханке



доходов». Но не зря говорят, что аппетит приходит во время еды. Накальвая на штырь очередной билетик, хитромудрый Лука задумался: «А зачем на ем делать дырку? Ведь ежль половину аль для начала треть складывать целыми да договориться с кассиршей и пускать их в оборот еще раз, это ж!». И перепродажа веников, сбор бутылок по кабинам представилась делом мелочным, жалким. «Это деревня во мне,— вздохнул Лука.— Вот только столкнуться бы с кассиршей...» На другой день, придумав повод, он решил вручить ей, для начала, плитку шоколада.

— С чего? Зачем? — как-то не по-доброму усмехнулась та.

— Уж очень вы по обличью на дочку мою похожи. В ваших годах умерла...— и хотя дочери у Луки вообще никогда не было, он даже всхлипнул.

— Сочувствую, но, извините, не надо.

До начала работы оставалось еще несколько минут, и Лука зашел в красный уголок — посидеть наедине, обдумать ситуацию и новый ход.

«Пивка — кому?!» Этот заголовок в стенгазете, похоже, вывешенной еще накануне вечером, бросился в глаза Луке сразу. А главное — рисунок. Художнику явно удалось схватить какие-то черты, Лука узнал себя. Сутулясь, он несет пиво. Бутылки рассованы по всем карманам и торчат даже из рукавов пиджака. «Брехня! В сумке носил, по одной вручал! — мысленно возражает он.— Культурно удовольствие доставлял!» Лука прочел заметку. В ней говорилось и о вениках, и о конкуренции с буфетом. «Кто позволил товарищу Апулькину в нашей советской бане возрождать купеческие нравы?» — писал автор, и Апулькин, не дочитав до конца, взглянул на подпись. «Господи!» — даже прошептал он. Заметку написала эта самая кассирша.

«Хорошо, что поостерегся, не сунулся...» Лука оглянулся на дверь и — «Тьфу!» — плюнул на подпись.

Жизнь как-то сразу обесцветилась, работа утратила смысл. В тот же день он уволился.



* * *

С первым паузком хлеба нового урожая на колхозном катере Нюролька приехал в Рыльск и, ожидая у «Заготзерна» очереди, подошел к витрине районной газеты. Увидел под статьей «Кукурузный силос — залог высоких урожаев» свою подпись. Протер очки, посмотрел еще раз. Прочел. Вспомнил, как рассказывал газетчице Галине, жене Подлипаева, о таежной целине — и только; отвечая на ее вопрос, сказал, что кукуруза без початков, которые не успевают вызреть, ничем не лучше травы, хотя труда и затрат требует много. А чуть припоздал с уборкой — и вовсе гибнет от первых заморозков. Отстаивал вместо нее горохоовсяную смесь. Оказалось, все это вымарали, или просто она и не записала, а расхвалила от его имени кукурузу.

Предупредив Генку, он немедленно пошел в райком, мысленно репетируя разговор с секретарем: «Ишь, Галина аль там кто, сами круть-верть, а меня выставляют на посмешище...» Никого из секретарей на месте не оказалось — уборка. Походил-поразмышлял он и решил зайти к Апулькину. Все ж земляк и ко всем этим делам причастен.

Адам Лукич встретил его необычайно приветливо; вышел из-за стола, сел рядом, попросил на сигарку самосада. Прикуривая, сказал:

— Читал, читал твою статью. Правильно мыслишь, по-государственному:

— Статью?! — вспыхнул Нюролька. — Так ее ж не я писал, а корреспондентка, подлипаевска баба...

— Неважно, кто писал, главное — правильно... А я, знаешь, о чем мечтаю?... Вот, смотри. — Протянул несколько исписанных листиков бумаги.

Нюролька хмуро покосился: «Сад в тайге. Очерк».

— Сады бы нам! На всю страну прогреметь можно. Подумай. На южном склоне Белого Яра — чудное местечко!

— Отчего ж... Можно. Хорошее дело. И место, — растерянно тянул Нюролька: уж ко всему, казалось, привык, но этого не ждал, — Только б директиву надо.

— Какую еще директиву?

— А чтоб климат нам заменили. Другой дали.

— Ну, знаешь! Я не шутки с тобой шучу!

Нюролька по вмиг побагровевшему лицу Адама Лукича почувствовал: зря он выбился из привычной роли — поменьше спорить с Апулькиным. Можно и насадить по скло-ну рябины с черемухой.

— Сделаем! Оно и в самделе — яр тот песчаный будет как... эта... эмблема нашего колхозу: хошь, не хошь, а — цветы! Задавай форс!

Адам Лукич подозрительно скосил глаза: соглашается старикан пли — издевается?

Сказал на всякий случай добродушно:

— Не приказ — совет даю. И не моя вина, что иной раз совет принимают за директиву. А потом — недовольство, то-се...

Прощаясь, Адам Лукич похлопал Нюрольку по плечу, проводил до двери. Нюролька снова вспомнил о статье, когда на берегу увидел Галину.

— Не подбросите меня до нефтеразведчиков? — попросила она.

— Места хватит. Садись. Потолкуем заодноим.

Заждавшийся Генка с шиком включил мотор катера.

Вздымая белые буруны, вышли на стрежь, и вскоре приземистые потемневшие от времени избы Рыльска скрылись за поворотом. У противоположного берега на лодке негромко пели что-то знакомое Галине, и она прислушалась:

Ой, Чутым, Чутым,
Ты течешь в тайге,
И волна твоя
Глубока...

Галина сняла шляпку. Встречный ветерок приятно играл волосами. Зеленый пояс ив и за ним далекий, голубой — хвойного леса — умиротворял, успокаивал.

За белой с прожелтью песчаной косой, засучив брюки, бродил в канаве сухопарый старикашка в белом. Женщина в черном ходила за ним с мешком. Нюролька крикнул что-то Генке, и катер, развернувшись, ткнулся носом в песок. Нюролька спрыгнул на отмель, обдав катер веером сверкнувших на солнце брызг. Перегороженный в устье лиман обсыхал, и рыбной молодежи в нем было столько, что вода то и дело подергивалась рябью. Нюролька покраснел от гнева, задышал часто-часто. Улыбаясь, навстречу семенил Лука. Сыпал скороговоркой:

— Гостеньки дорогие, прошу к нашему шалашу. Люблю, грешным делом, компанию на свежем воздухе. Марфа! Давай-ка...— И, обернувшись к Галине, добавил горестно: — Что-то хряки хиреть стали, совсем аппетита лишились. И ветврач, и Адам мой посоветовали рыбкой свежей, витаминной... Как здоровье Сан Саныча?

— А после тебя и волк траву ешь?! — не выдержал Нюролька.— Хоть потоп после тебя?

— Без запретных снастей ловлю! Сачком да корзиной! Законно! — выкрикнул Лука одним духом.

Меж тем Марфа достала кусок сала и бутылку «Московской».

— А чего ж ты с угощением заелозил? Я ведь за всю жизнь с тобой рюмки одной не выпил,— прищурился Нюролька, сдерживая гнев.— Слыхал, что окромя закона есть у людей совесть?

Он подошел к запору. Хруст щитов, перегораживающих лиман, под его сапогами ноющей болью отдавался в сердце Луки. И при людях эх позорит! А что запор — кто видал, что он, Апулькин, его ставил!.. Не вспомни предостережение сына, Лука, наверное, кинулся бы на Нюрольку, хотя и без малейшей надежды на успех — тот и в плечах пошире, и помускулистей. Но сейчас он все же пересилил себя, забрел в воду и, поплескивая руками, замышкал:

— Кыш, кыш! Плывите, растите, малечки!.. Кыш, кыш!

Как-то враз отошел, подобрел Нюролька. Покачал головой, усмехнулся:

— Ишь, «кыш-кыш»!.. Совесть ты, Лука, из себя начисто выкышкал!

А про себя добавил: «Ежль была она у тебя», — и повернулся, пошел на катер. «И ведь за таким вот мелким навозным гребуном никаким законам не угнаться. Одну лазейку прикроют, найдет другую».

— Что он? — спросила Галина, приподняв свои густые, почти сросшиеся брови, напоминающие чернокрылую чайку.

Нюролька поморщился и не ответил ей, только рукой махнул. Вспомнилось, как он, бывало, до мозолей натирал руки лопатой, раскапывая песчаные шнуры, отделявшие такие вот обсыхавшие летом пойменные озерушки, открывая рыбьей молодежи путь в Чутым.

Запогромыхивало. Тучи набежали быстро, незаметно и шли все гуще.

Августовский дождь в Причутымье частенько случается не по-летнему канительный, беспросветный. Но Нюролька с детства любит следить за единоборством наплывающих туч с солнцем; наедине с природой тускнеют горести-обиды, и душа полнится чем-то таким, что уж и захочешь — не грустишь. И года будто не к седьмому десятку подбираются, а что-то... Даже не скажешь — десять тебе, тридцать или шестьдесят с гаком. Ото всех возрастов что-то такое есть в душе.

Из-под надвинутой на глаза шляпки Галина с любопытством наблюдала за Нюролькой: то взорвался невесть из-за чего, то невесть чему радуется. На Луку рассердился, а ей не ответил даже! Бестактный. Оттого, наверное, и в статье были перехлесты. Такой уж...

Словно угадав ее мысли, Нюролька, не оборачиваясь, спросил:

— Что ж это вы статью изуродовали?

Галина порозовела; она и ждала этого разговора и боялась его. Поначалу казалось: стоит объяснить Нюроль-

ке, что ее по неопытности ввели в заблуждение, и оба они вздохнут с облегчением. Бывает... Но ведь он же спросит: «Кто? Зачем»?... Что скажешь на это? Да и все в Нюрольке — его поведение, характер, тон вопроса — не располагали к откровенности, и сознание собственной вины у Галины сменилось сознанием ее формальной правоты.

— Я долго колебалась,— суховато пояснила она.— Были крайности. А колхоз ваш не типичен. И вообще такие вопросы надо поднимать с участием специалистов.

— Я и говорил: правьте, только суть искажать зачем? Просил: поместите в газете, пускай тогда и специалисты, и практики обсудят.

— В частности, о кукурузе спорить нечего.

— А что она за особа такая?

— Не особа, а — королева полей. Так что сомнения в ней — это, Харитон Прокопович, дважды два — пять.

Вздохнул Нюролька. Ну он — ладно. А неужто другие и, главное, Митрич ничего не смыслят? Ведь смолоду с хлебом дело имеют. И все бригадиры, механизаторы приглядывались, сравнивали. Думали. Так что, считай, и говорили, и писали вместе.

— Фактически вы против и многоотраслевых хозяйств,—продолжала Галина,— этот вопрос тоже обсуждению не подлежит.

— Тоже, выходит, пять?

— Пять, Харитон Прокопович, пять. И статью вашу подработали, потому что дважды два — четыре, и против этого, извините, не пойдешь. Такая уж, как говорится, стезя наша — следовать за авторитетами.— Она с улыбкой развела руками.

— Значит, судьба наша, что ли, такая: не думай, а следовай? Вроде как с завязанными глазами?

— За авторитетами! — с несмелой, как бы извиняющейся улыбкой предостерегающе подняла Галина палец.— Признанными.

— Оно, конечно... Только, скажем, для тебя авторитет Иван, а для меня — Сидор.

— У нас один авторитет — райком,— отрезала Галина.

— Оно, конечно.

Нюролька не стал спорить. Какой из него хлебороб? Давно ли ржи от пшеницы не отличал? Отошел в сторонку. В душе, однако, решил, что теперь он не отступится, будет добиваться превращения колхоза в промысловую артель. О пенсии и в самые тяжкие часы не думалось. Знал: будет трудиться, пока видят глаза и носят ноги.

Домой возвращался все же в добром расположении духа. Как-никак, а признал Адам Лукич: погорячился он напрасно. И оставляет колхозу горох и овес.

Отходчив, незлопамятен Нюролька. Многое опять простил он Адаму Лукичу за его не бог весть и какое признание, просто за добрые слова. Да и кто не взрывается понапрасну, коль так сурова, непостоянна сама матушка-природа причутымская?.. А и какой ей быть? Не хозяйствуем, как велит она, щедрая и разумная, а выписываем кренделя на острие ножа?

Подставив лицо ветру, Нюролька с тихой грустью встречал каждый урман — все здесь исхожено им вдоль и поперек. Самые тяжкие години скрашивал сызмальства привычный труд, и, вспоминая сейчас о беспрестанно нывших и немевших тогда от усталости руках и ногах, он улыбался...

* * *

В пивной на базаре Лука заводил нужные знакомства. Прислушиваясь к разговорам и, размышляя, на чем вернее зашибить деньгу, он часа два сидел с одной кружкой. Вдруг соседний стул разъехался от грузно плюхнувшегося на него пожилого неопрятного мужчины.

— М-маляры! Стулья и те...

Лука, не отрывая губ от кружки, скосил глаза и сразу вспомнил, где видел его: у церкви, торговал из-под полы иконами. И по виду — за шестьдесят. «Он!.. Ипатов!» — уверился Лука. И встретившись с ним взглядом, невольно кивнул. По-соседски.

Ипатову принесли пива; залпом осушив кружку, он откинулся на спинку стула, огляделся и принялся рассказывать Луке о чьих-то интригах, о том, что есть у него сотни этюдов и набросков и, если б занять у кого тыщонку — на квартиру-мастерскую, — втрое б тому вернул: «Выдал бы такое, что иным заслуженным и не снилось!»

Лука охотно поддакивал, но напомнить о себе не спешил. Ему хотелось сначала послушать Ипатова о житье-бытье, узнать, где и как провел он все эти годы. Ведь прошел человек огни и воды! «Иной с виду-то лапоть лаптем и должность самая немудрящая, а живет кум королю и сват черту, — думал Лука. — А Ипатов хоть и понимал вроде толк в жизни, а вот поди ж ты! На угол не нажил?.. Заливает, ей-бо, заливает!»

На рассказы о себе Ипатов стал скуп. Только и выведal Лука, что исколесил он чуть не все окраины страны. Задумался: почему окраины? Искал места поглуше аль поденежней? Или народ попроще, подоверчивей? О том, что Ипатов и смолоду промышлял иконописью, Лука, конечно, знал, но считал это причудой, временной блажью.

Когда-то у Ипатова курчавилась холеная бородка, хмелем вились кудри. Теперь к потным залысынам липли какие-то жалкие косички, а щеки поблекли, опали, мелкие морщины иссекли все лицо.

«Эх, жизнь-индейка! Такого человека укатала, ужулькала!» — с грустью подумалось Луке.

С горя он пошел купил бутылку вина...

Выпили, незаметно перешли на «ты», но друг другу так и не назвались. «Узнал и он меня, — думалось Луке. — Та-ится, стервец!» Из пивной вышли вместе, Лука даже попридержал качнувшегося на крыльце Ипатова.

— Тыщу? — вспомнив, переспросил он. — Да это ж с твоими руками раз плюнуть. Коврики, к примеру...

— К-коврики?! — остановился Ипатов; чувствовалось, он был послабее, да еще хватил «ерша» — пива с вином. — Да ты понимаешь, кто я? Художник! А не маляр! Не шаромыжник какой-нибудь. Но на одну пенсию жить — принципиально н-не желаю!.. Вот ты зайди. Взгляни!

«Ага, какую-то пенсию все ж заробил», — отметил про себя Лука, но идти к Ипатову не хотелось. Чего-то опасался.

— Потом. Поздно уж.

— Да это ж рядом, — заупрямился Ипатов. — Чтoб своими глазами. Не фигли-мигли, а искусство. Товар! Всякий. Понял?.. Кто устроит тыщонку, развернусь — озолочу! Я на чай сотенные давал! Понял?

«Не похоже...» Лука дивился не столько неизбежной бойкости, хватке Ипатова, сколько тому, что при всем при том так и не достиг он ничего в жизни. Эх, ма!..

Лука решил, что Ипатов зазывал его случайно: один как перст, рад всякому. Вот и вцепился как клещ. Сдался:

— На минуту. Взглянуть.

— Во! Свой глаз — алмаз.

По пути Лука прикидывал: какую бы выгоду поиметь ему с Ипатова? Вот бы кладовщиком его куда-нито пристроить!..

Зашел. Ипатов снимал клетушку у одинокой немощной старушки. В углах грязь, на потолке паутина. В углу прямо на полу стопкой лежали дощечки, пучок дубья-лыка. Сверху — готовая икона. Почернела, лак потрескался — ни дать ни взять, времен патриарха Никона. Ипатов не таился в обмане. «Узнал!» — понял Лука.

— Икона древлего благочестия.

Лука взял, повертел. Выварена в дубье и еще черт знает в чем, кое-где потерта наждачком, прокопчена... Скоморох! Богохульник.

— Ишь, сколь их. И о деньгах плачешься? — делано удивился Лука.

— Не идет! Повымер, оказывается, потребитель! К этой,— кивнул он на дощатую стенку,— принес, а она: «Не верую я, батюшка, уж годков сорок. Гореть мне в аду, грешнице...» — «Так и купите,— говорю,— вот бог и простит! А мне за угол платить нечем: родовую, от прадедов досталась — отдаю». Разговорились. «А коль в бога веруешь,— сказала,— живи у меня. Обоим веселее. Дровец привезешь, инда — и ладно!» Перебрался. Ну, это пока. Ненадолго.

— Баят, у туристов с закордонья спрос на них дикой. В Москву б с энтим делом!

Промолчал Ипатов. Подумал: «Ага. Погореть! Нет уж... Клеван».

На этюды Лука и не взглянул. Заинтересовала настенная тарелочка: фрукты из алебастра, покрытые воском и раскрашенные, выглядели «красивше настоящих». Особенно яблоки и кисть черного винограда.

— Во! Самое то. Значит, надобно тыщу?

Ипатов чиркнул по горлу:

— Во как! Позарез!

— Деньги сами плывут в руки. Слушай, как тебя?.. Гони фрукт на тарелочках! Из чего там она? — оживился Лука: почувал и для себя навар.

— Пластмасса.

— Ага, ну вот. Устрою! С руками похватают. Потому как север. Любой фрукт в цене... Доходишки, ясное дело, пополам.

— Ну, а?.. — неопределенно протянул Ипатов, крутнув пальцами у своего чуть приплюснутого, картошкой, носа.

— Цемент и воск? — догадался Лука.— Беру на себя!

Ипатов как-то странно, с удивлением посмотрел на его длинный, с седыми волосиками нос и всплеснул руками:

— Лука Исаич?.. Прости, не узнал. Склероз!.. Да с тебя, дорогой ты мой, с самого картину писать надо! — засуетился он.— Такого сына воспитал! Талант!.. И уж ты, будь добр, презентуй ему от меня... Вот — царственным жестом пока-

зал он на стоявший на полу у стены натюрморт.— Ипатов понял, что Лука ему будет нужен.

Наконец-то собравшийся навестить родителей, Адам Лукич даже ахнул от удивления: на какую-то развалюху польстились!.. Но, бросив взгляд на обширный огород с недостроенными парниками, понял, что привлекло Луку.

— Встречай сынка-то! — подсказал Лука сидевшей у окна Марфе, и та выскочила на крыльцо, восклицая что-то бессвязное, но радостное. Войдя вслед за Адамом в избу, достала из окованного железными полосами сундука цветастый праздничный фартук, сняла замызганный старый, свернула их оба вместе, сунула куда-то и засуетилась, накрывая на стол.

Адам Лукич любил мать за ее безответную заботу и доброту — в нелегкие годы молодости она, часто втайне от отца, помогала ему и деньгами, и щедрыми гостинцами. И чем реже заявлялся Адам Лукич под родительский кров, тем обостреннее ощущал какую-то не до конца даже осознанную вину перед нею. Вот и с квартирой помочь бы мог... А впрочем, ему и о своей-то семье подумать некогда. И ремонт нужен квартире, и жена после безуспешного лечения сообщила лишь телеграммой, что заедет к сестре, поживет... И на вопрос: «Как Аня-то?» — ответил механически:

— Давненько нет письма. Боюсь, уж не вышла ли за муж.

— Что ты, бог с тобой! — перекрестилась Марфа.

Адам Лукич шутил так со знакомыми, стараясь скрыть от посторонних глаз, что давно уж ничто не связывает его с женой, кроме общей крыши и постели. Порой мечталось: разойтись бы по-доброму, без шума, коль дочь подросла, — и дать волю чувствам. Можно долго скрывать желания, но нельзя же подавить их на всю жизнь. Слабый росток травы и то весной ломает асфальт. Но не было в сердце любви, не было ненависти. А безразличие и равнодушие как-то мирили с тем что есть.

Из глубокой задумчивости Адама Лукича вывели шаги в сених. Появился отец с двумя ядовито-зелеными поллитровками; раздвинул тарелки с закусками, со стуком поставил. Пригласил:

— Придвигайся.

— А вот это ты зря, батя,— присаживаясь, кивнул на водку Адам Лукич.

— Что, и пить разучился?

— Отчего? При случае, немного, но сегодня и настрой не тот, и вообще...

— Эх-эх! — покачал головой Лука.— Водки не пьешь, табак не куришь, и баба, похоже, бросила.— И как ни сдерживал себя Лука, застарелая обида все же прорывалась.— Шел это я и думал: с чего бы это он о родителях вспомнил? И так рассудил, что дома-т теперь и словом перекинуться не с кем. Все репутацию бережешь?

Адам Лукич по-детски облизнул свои маленькие пухлые губы и наложил баранины с хорошо обжаренным картофелем. Сверху кинул кружок огурца, поперчил, намазал, по давней столовской привычке, хлеб горчицей. Сказал:

— И без этого нельзя. Попробуй выйди на улицу навеселе — сразу ткнут пальцем...

Лука выпил один, но закусывал вяло — ткнет вилкой туда-сюда, пожует лениво. Молчит хмуро. И хоть рвалась в душе самолюбивого Луки обида, он подавил ее, загнал в угол: «Пользуйся моментом, старый дурень! Ведь сын, родная кровь...» Но подходящих слов не находилось. Затянувшую паузу прервал Адам Лукич:

— У тебя, говорят, опять неприятность?

— Неприятностей, их всегда хоть пруд пруди. Только ежели ты о складе, то уволился я. По собственному. По желанию.

— Знаю я это «собственное»! А ведь говорил я тебе, говорил! — У Адама Лукича вертелось на языке: «Говорил, чтоб уезжал из района, пока не подвел меня», но он так и

не добавил этих слов. — Опозоришь ты фамилию нашу. Шабашничаешь, говорят!

— Скажи спасибо! Ежели б не мы, шабашники, на тебя ж и другое-прочее начальство жалобы в верха пудами б шли!

— Вон даже как? — расхохотался Адам Лукич.

— А вот так! — разошелся захмелевший Лука. — Рамы застеклить, крышу покрасить аль там печь-плиту сложить — куда, к кому сунешься? Ваши сельхозники, учрежденцы — и те без частного никуда. Организации и то, случается, насчет покраски-побелки нас, дикарей, просят. Выручайте, говорят. Во как! И выручаешь. Входишь в понимание. — И, вздохнув, обиженно добавил обескураженно примолкнувшему сыну: — А ты мне — «шабашник». Я по закону как по струнке. Комар носа не подточит. — Лука помолчал, искоса взглянул на сына и продолжал: — Не Ньюролька ли напраслину возводит?.. На тебя он тоже бог знает что плетет, а ты терпишь. Эх! Да другой на твоём-то месте давно под монастырь этого остячишку... Однорукого, отца-т Пахтачевского, помнишь? Все мне прокурором грозил, подкапывался. Да сам на умного мужика нарвался. Жмякнули — и концы в воду.

Адам Лукич налил себе водки, выпил.

— Да, чуть не запамятовал, — спохватился Лука, радуясь начавшемуся примирению — по жестам, взглядам, тону он почувствовал это. — Познакомился я вечер с художником. Хоть и на пенсии он, а приехал, грит, в Рыльск природу нашу вековечить. Очень уж складно о тебе говорил: и самородок, и твердая рука. Мол, далеко пойдешь. Картину просил презентовать. Счас... — Лука сходил в сени, вынес натюрморт в массивной раме из лепного багета.

— А что ж он сам не...

— Из нежелания, грит, по мелочам беспокоить, отрывать от дел государственных.

Чуть заметно кивнул Адам Лукич — правильно, мол.

— Не из Москвы? Может, помощь какая нужна?

— В том и суть: из ее самой, из столицы. Оттель. Только рази такой человек снизойдет до просьб? — развел руками Лука.— А из беседы понял я: холстов, красок — всего этого у него навалом. Только лепка разная... как это?

— Скульптура?

— Вот-вот, она заботит. Гипс аль там цемент не повезешь из Москвы. И с воском, сам знаешь, беда.

— Ерунда! Пусть зайдет. Или напишет, что надо. Помогу. Искусство на пенсию не уходит. Наоборот! Смыслю. Пускай запечатлеет наших людей труда. Образ аборигена вылепит. Оплатим. Не поскупимся! — И Адам Лукич разлил остатки водки по стаканам.

Но Луку не обрадовало щедрое предложение, а встревожило: клюнет на него Ипатов, зачем ему тогда компаньон?.. А на фруктах-ягодах обоим погреть лапы хватит.

— Неужто местные художники не могут? Видел я...

— Местные — не то! Их в черном теле держать полезно — чтоб носа не задирали. Не воображали.

Но Лука уже сообразил: «С этой вестью я обожду, а там видно будет...»

Не прошло недели, Лука сам привез Ипатову цемент, воск и моток проволоки, предупредил:

— Пока катай шарики, а я о ту пору найду тарелочки.

Вскоре на колхозном и вещевом рынках у торговков, сбывавших разные кустарные поделки, появились невиданные здесь настенные тарелочки с фруктами. Товар не залеживался...

То ли предыдущие жизненные неудачи, то ли перебор с зельем — или все вместе — подкосило здоровье Луки. Слег он, и надолго.

Навестил Ипатов.

— Адресочки бы... Перекупищиц,— начал с ходу.— Я заплачу.

— Само собой! — и Лука уступил адреса оптом. Ипатов аккуратно все записал, спрятал книжечку в карман.

— Ну а что врачи говорят? Какой диагноз? Я выясню,— пообещал Ипатов и потер сначала свой шишковатый нос, потом квадратный подбородок.— Если дело табак, врачи скрывают...

— Да, вот оно, брат, как,— покачал головой Лука.— Собираемся жить с локоть, а выходит — с ноготь. И добро бы жись была! А то...

— Жизнь, она, конечно, дрянь,— подтвердил Ипатов.— Только тебе, Исаич, некого винить. Когда мы кровью умывались в Колывани, ты что делал? Денежки паши пропивал?!

— А кто надоумил?! — даже вскочил Лука, заходил по комнате в одних подштанниках.— Насчет винтовок плел, подмигивал?

— А ты — о пулеметах! — хохотнул Ипатов.

— Исполу заливали дуре, исполу денежки делили, так что неча теперь! — фыркнул Лука, надел штаны, сунул ноги в шлепанцы и присел к столу.— Нет уж, коль такие генералы с Антантой вкупе с Советами не сладили, то кака-то игуменья с битым, беглым офицерьем — тьфу! — Лука плюнул, растер ногой, — Дурачков искала...

— Порфирьевну не тронь! — оборвал его Ипатов.— Собственноручно коммунистов вешала!.. У меня на руках предстала пред господом... А сюда — это уж я ее затащил. Чтoб в зимовье Ромка глянец навел. На случай поражения, хлеба, того-сего завез.

Теперь хохотнул Лука:

— С ей на пару, значица, схорониться метил?

— Было, все было, Исаич! — вздохнул Ипатов.— Пожила баба. Вкусила! Потому и дралась! Зубами... А хорониться в тайге она, брат, и не помышляла. Не стала б. Не та закваска! Это я втихаря дал Ромке задание. Потому как не верил я в успех. И помирать мне, разобраться, еще не за что было: не пожил, ни хрена не имел. Фантазии одни да пример ее братца...

— То-то и оно,— подтвердил Лука.

Но Ипатов, собираясь к Луке, думал не о досужей болтовне. Решил: пора о деле. Самом главном.

— Лопухи мы с тобой, Исаич. Имея такого сына...

— Да он...

— Слышал. Реноме бережет. И с тобой не очень. Все знаю. С умом, постепенно надо. Подход найти. Обложить. Есть у меня думка... А ему озолотить нас, а след-но быть, и себя с пашей помощью,— раз плюнуть. И комар носу не подточит. Что ему, что тебе, хоть перед смертью! — разве не хочется попить коньячку с шампанским? С зернистой-паюсной икоркой?

Вздохнул Лука, о другом завел разговор:

— Сколь, думаешь, стоят мои хоромы?

Ипатов обошел комнаты. Сказал, на тысчонку потянет.

— Три отдал! — дернулся Лука.— Да своих трудов сколь вбухал! Все перекрасил, погреб выкопал! — И он предложил Ипатову дом за полцены, но чтоб деньги сейчас, а во владение вступить после его смерти.— Ей-бо, чую: не протяну я и году.

«Отчего б ему не продать и за свою цену? — чувствуя какой-то подвох, размышлял Ипатов.— А жить — арендовать комнату». Лука, однако, пояснил: Марфа не даст продать, ей-то где-то надо жить. А когда документ обнаружится лишь после,— Лука крутнул рукой,— пусть кусает локти. У сына доживет!

— Как оформим? Завещанием? Знаю я тебя! — шутиливо погрозил Ипатов пальцем и подмигнул.— Сегодня — «Люба», а завтра — в зубы. А вот если купчую с оговорочкой — кладу монеты на бочку.

«То-то. Картины блажь, а дом — всем вещам вещь!»

Оформив договор, Ипатов перебрался во вторую его комнатушку. «Развезет малярию, не продохнешь»,— запоздало посетовал Лука. Но тянуло его к Ипатову. Беседа и та — вроде праздника. Знал: ушами с ним не хлопай, палец в рот не клади — только хряснет! — но с молодых лет ни к кому за всю жизнь не испытывал Лука таких чувств, как к

Ипатову: тайного восхищения, зависти и желания подражать. «Умен, дьявол, оборотист. Из ничего чего делат. Да рази без него эстоль заработили б, прости господи, на одном дерьме? Ужо ишо провернем!»...

Разорился Лука на коньяк, чтобы посидеть, потолковать с Ипатовым по душам. И верно: набравшись, он наконец разговорился. Да только уж и не рад был этому Лука. Вглядывался в дряхлое землистое лицо Ипатова, видел запавший его рот со вставной челюстью и качал головой в немом оцепении. Последний идеал померк и рухнул. Оказывается, всю жизнь проскитался Ипатов без дома, без семьи; вербовался на золотые прииски и рыболовные путины, случалось, голодал, и тюрьма привечала его дважды. Начинал исповедь не без похвальбы, вроде: «Вот он я каков: огни и воды...», а кончил старческими противными слезами:

— По две дорожки имели мы с тобой, Исаич, в жизни, да все четыре — в никуда.

Живой занозой врезались в мозг Луки эти слова...

Вместо холстов и красок Ипатов раздобыл где-то две старых завозни, пригнал их вдвоем с Ромкой.

— Здоровеньки были, Исаич! — оскалил Ромка зубы и торопливо прошел в комнатку к Ипатову.

«Знает кошка, чье мясо ела», — зло и ревниво поглядел вслед Лука. Теперь он уже не сомневался: кому ни служил Ромка, а настоящим хозяином его всегда был Ипатов. И что за веревочка связала их?

Назавтра Ромка заявился снова.

— Живем, Исаич? — на ходу сунул он Луке руку и повернулся к Ипатову: — Рабсила та еще, едрена кошка! Стари, но жилисты. Аборигены.

Лука понял: крупным барышом пахнет дело. Ипатов молча кивнул и пошел на берег. Неудержимо потянуло вслед и Луку.

На плахах, скрепивших две дощатые лодки, рядами стояли пустые бочки. Лежал тюк мешков: «Под орех!» — понял Лука.

— Чьи? — кивнул Лука на лодки. — Ты чо ж меня не пригласишь в долю? — придержал он Ипатов за локоть.

— У Ромки мотор, лодки, палатка. Везет всех туда-сюда. Шишкарить будет. А ты? Какой с тебя? — потер он пальцы.

У Луки заболела душа, но виду не подал, произнес заискивающе:

— Лодки с мотором покараулить могу, места показать...

— На лодках я и один позагораю, а места Ромка знает не хуже. Так что, Исаич, извини! Социализм: кто не работает, тот не ест.

— А ты?

— Я внес идею! — отрезал Ипатов и отвернулся.

В сторонке сидело около десятка пожилых женщин с ведрами и рюкзаками с провизией. Дружно поднялись, поздоровались почтительно, с поклонами. Ипатов чуть приподнял руку и сказал строго:

— Потребсоюз идет вам, товарищи, навстречу. В порядке исключения. На место доставим, ягоду и орех примем прямо в лесу. Довольны?

— Да уж спасибо! Постараемся и мы, — дружно заговорили все.

— Товарищ шкипер! — Не взглянув на Ромку, Ипатов приказал:

— Объявляйте посадку!

Лука круто повернулся, засеменил домой. «Ах, вы-ы, шантрапа, жулье! Заелись, обнаглели...»

Наметанный глаз Ипатова заметил по походке: обозлен Лука, взвинчен. Неровен час, подкинет свинью... Он присел на чью-то лодку, прикинул: против течения Ромка пропетляет по Чутыму не меньше трех дней. А ему по прямой да на машине — полдня хватит. Луку же надо нейтрализовать немедленно.

— Готово! Садитесь, товарищ начальник! — объявил Ромка.

— Плывите. В Белоярском Плесе я встречу вас. Проводив катамаран, Ипатов вернулся домой и с порога объявил Луке:

— Вот теперь, Исаич, потолкуем. Я ж как бы от кооперации, а ты — при посторонних! Не сказал тебе раньше — сам не верил, что найдет Ромка дур... Да и не нужен мне ни орех, ни ягода. Грех мне таить от тебя, признаюсь: купец Куперин, старший братец Анастасии Порфирьевны, умер в двадцатом где-то близ Белоярского Пlesa от тифа. А золотишко спрятал, понятно. В дупле аль под лесиной приметной. Понял?

Лука смотрел недоверчиво, испытующе. «О чем досель не искал?» — вертелось на языке. Но Ипатов предупредил вопрос.

— Мне-то Анастасия Порфирьевна недавно, перед смертью, открылась. За тем я и прибыл сюда. Да понял — не молодые годы, ждал, чтоб поближе к осени — лес светлее, гнусу меньше и заделье есть...

Лука порозовел, оживился. Но виду не подал. Соображал, прикидывал. А Ипатов продолжал:

— И еще, по секрету: сына твоего на колхоз метят.

Лука вскочил, зафыркал, брызнув слюной:

— Да ты-т ополоумел?.. Адама на кольхоз?! — закинув руки за спину, он прошелся туда-сюда — резво, в гнев.

— Пути господни неисповедимы, Исаич. Что есть земное?.. Суета сует.— Но он все же подсластил пилюлю: — Сегодня колхоз, а завтра?.. Слыхал: с одного совхоза директора — в министры!.. И Адаму там свой, верный человек во как будет нужен! — чиркнул Ипатов по горлу. Так что перебирайся-ка туда совсем. И мне нужна твоя помощь: кто знает, сколько времени потратим на поиски? Не наездишь-ся. А пуд золота — не баран чихал!

— Но-о?! — недоверчиво скосил Лука глаза. Приглушив голос, Ипатов добавил:

— Ведь Куперин-то в первой гильдии смолоду! И в за-гранку пробраться метил. По Северу, к морю... А и не найдем — какой еще тебе клад нужен, если сын колхоз возглавит?

— Да он... — Лука небрежно махнул рукой. Сам на грош казенного не возьмет и отцу родному не даст поблажки.

— Да мы ж все ходы-выходы там знаем. Сами с усами. А сбуду орех, иконы — сюда квартирантишек пущу. Так что будет у нас два дохода и барыш. И не найдем клада — лапы погреть хватит.

...Ночью Лука долго лежал с открытыми глазами, до мелочей припоминал все свои встречи с Ипатовым. «Похоже, за тем и приносили тогда черти игуменью: в землянухе, видать, вместилах с ем жила, по тайге втихаря шарилась».

Назавтра Лука все же сходил к сыну. Прав оказался Ипатов. В колхоз Адам Лукич вызвался сам. Надоело быть, по его словам, «на подхвате». Белоярский же Плес оказывался в центре крупного месторождения нефти. Намечается город. Значит, быть «Охотнику и рыбаку» подсобным хозяйством нефтяников или совхозом, а ему — директором. Денег, людей, техники — всего будет в достатке, и само время станет работать на него, Апулькина... Луку эта перспектива особо не обрадовала, но, разобраться, и ему с Марфой ни к чему теперь Рыльск. Пенсию схлопотал: ларек в Белоярском Плесе хоть и мал был, а стаж большой дал. В деревне-т харч дармовой, дом цел.

— Не тяни только, — предупредил Ипатов. — Найду клад до тебя — шиш дам!

Марфа восприняла весть о возвращении в деревню, да еще вместе с сыном, с радостью, засобиравшись тотчас. Ипатов сам нашел подводу, помог перетаскать с нее вещи на речной трамвай.

Хотя в договоре на продажу дома Лука и оговорил себе право на бесплатное и бессрочное житье в нем, но, в отличие от Ипатова, не искушенный в юридических тонкостях, даже не подумал, что вместе с пропиской это право утратит:

отказался, уехал — вольному воля. А Ипатов, заранее нашедший покупателя, тотчас продал дом с барышом в две тысячи и выехал в Белоярский Плес. Мольберт с красками и несколько листов картона он отправил на катамаране и сейчас прихватил лишь саквояж с продуктами. Он редко, при крайней нужде брался за кисти. А художник — что пловец против течения: перестал грести — понесло назад. Правда, после войны в глухих уголках Молдавии неплохо промышлялось «древними» иконами, но с тех пор все портреты стали смахивать на постные лики святых...

Лука уже рыскал по лесу. Обезножит, отоспится и — снова... А Ипатов позорует с удочкой, сварит уху. Посидит с мольбертом «на натуре». Не для души, для отвода глаз. За этим и застал его, возвращаясь с охоты па уток, Ньюролька, теперь уже пенсионер. Он присел поодаль, закурил.

«Черт принес не вовремя», — хмуро косился Ипатов; Ньюрольку он признал сразу. Вот-вот должны вернуться из тайги его шишкарки и ягодницы — Ромка уговорил какого-то колхозного паренька подбросить их на тракторе, а старикан, чего доброго, поднимет шум...

— Вы, случаем, не Ньюролька?.. О, кстати! Меня Адам Лукич Апулькин просил: напиши аборигена. Создай, мол, образ человека труда! Не спешите?.. Я сейчас, я живо...

Ньюролька развел руками.

— Не абориген я, а немножко хант. Да и отработал свое...

— Ханты и есть аборигены. Сиди так! Я — момент!

Ипатов резво сходил на катамаран, взял новый картон и принялся набрасывать портрет углем. Спешил, нервничал, да и поотвык без практики — несмотря на колоритность фигуры, работа подавалась плохо. Ипатов понимал: Ньюрольке не образ нужен — портретное сходство, а оно-то и не получалось. Донеслось, нарастая, тарактенье трактора. Ипатов водил рукой для виду, а думал — как говорить с людьми при Ньюрольке?

Подъехали с шумом-гамом, весело.

— Геннадий? — вскочил Ньюролька. — Тебя ж, варнака, на зябь поставили, а ты — налево?

Генка спрыгнул с трактора, кивнул Ромке: «Разгрузайте!» — и повернулся к Ньюрольке.

— Я, Харитон Прокопыч, знаешь! — чихал на левую монету. Бесплатно вывез. Я правую всегда могу зашибить по моей скромной потребности. Это не барышницы, а труженицы. От потребсоюза... Хантыйки, кстати, есть. Не помочь — последнее здоровьишко погробят, а ни в жись не вытащат. Попробуй-ка такую прорву в рюкзаках перетаскать!

И он сам помог сгрузить ягоду и мешки с орехом. Ипатов отвлекал Ньюрольку расспросами. Затем, не выпуская из рук картона, объявил:

— Товарищи рабочие и работницы! Приемщик потребсоюза и кассир уже прибыли, отлучились смородинкой побаловаться. Не ждали вас так рано... Харитон Прокопович, — обернулся Ипатов к Ньюрольке, — придется закончить в другой раз.

— Ну, что вы, и стоит ли? — смутился Ньюролька и тотчас ушел.

— Расчет получите сейчас, — объявил сборщикам Ипатов. — Сполна! И — вольные казаки! Вернетесь трамваем.

— Подходите, гражданочки, расписываться в ведомости.

Получив деньги и прихватив свои пожитки, женщины отправились в деревню.

— Отчаливай! — тихо приказал Ипатов Ромке. Когда отплыли, он изорвал ведомость и клочки бросил в воду.

Спрятавшись от прохладного речного ветерка за бочками, Ипатов снял рубашку.

— Загорам?! — тряхнув густо тронутым сединой чубом, оскалил Ромка мелкие желтые зубы. От хитрых масляных глаз его к ушам разбежались пучки морщинок. — Здорово, едрена кошка! Ты — молоток!

Ипатов достал из саквояжа бутылку портвейна. Тянул медленно, смакуя. Не по годам дряблое, морщинистое лицо его тронул румянец.

— Кооператорам сколь сдадим? — решил Ромка на разговор, давно его волновавший.

— Трекнулся? Аль с дурака ходишь? — впервые откровенно заговорил и с ним Ипатов. А то все строил из себя «представителя»...

— Шутю,— снова оскалил довольный Ромка зубы.— Плесни мне чуток.

— Хороша шутка — из десяти тыщ рублей сделать три.— Он заразительно смеется. И Ромка, поглядывая на Ипатова, то строит уморительно серьезную рожу, то растягивает рот до ушей. Ипатов пояснил: — Сдам оптом хапужатам — и до Одессы-мамы. Плеснуть, говоришь? За рулем вредно!

— Да я б и твою долю на рынке по настоящей цене продал! — ужасается Ромка ипатовской нерасчетливости.— К чертям нам перекупщик!

— Нет, Ромка! Я люблю деньги кучкой. За две-три лишних сотни стоять... Фи! Мы с Одессы, Ромка!..

Но для Ромки и сотня — деньги. Он за трешку барыша готов торговаться и мерзнуть целый день.

— Базар я люблю. Стихий мой. У! Едрена кошка. Скажи, где найти тебя. Зимой я как штык!.. Плесни! — снова канючит он.

— На Привозе, Ромка, на Привозе. Мои дела теперь, Ромка,— па южном солнце, за кружкой чешского, о! Толкну свою долю скупщице оптом и — самолетом!.. Лови! — бросает он чуть недопитую бутылку.

Натужно гудит мотор, сшибаясь, пенятся за осевшими бортами катамарана чутымские волны. Сколько лет крутился он, Ромка, в Причутымье — и один, и с табором, а не додумался до такого — организовать дикую бригаду. Это ж в урожайный год лопатой деньгу грести можно! Голова! — восхищенно посмотрел он на Ипатова. И с грустью осознал,

что без Ипатова, пожалуй, не пройдет такой номер. И речь не та, и внешность, а главное — башка...

А Ипатов смотрит на худую морщинистую шею Ромки и думает: «А зачем он мне в Одессе?.. Много знает, и потом упустить с ним минимум три тысячи? Глупо. Семьи у него нет, нигде не прописан — никто его и не хватится. Места здесь безлюдные. Вечерком тюк! — и концы в воду...»

Такая же мысль, только чуть позже, пришла и в голову Ромки. «Я нашел аборигенов, вез их, сам гнул спину, а Ипатов огребет вдвое больше! Несправедливо!.. Кокнуть его сонного и — в воду. Корми налимов. Хватит! — распалаял себя Ромка.— Сколь на его совести зря загубленных душ... И тысячи — игра стоит свеч. Последний шанс!»

А Ипатов, вспомнив о Луке, улыбнулся: вернется в Рыльск, а его из собственной хаты — в шею!.. Пусть и этот пройдоха покусает локти. Чтоб помнил одессита Ипатова. И не строил из себя хозяина над ним. Умнее... А то ишь — клад захотел!

Одного не учел Ипатов: Адама перед отъездом на родину черт понес в их переулочек Тупиковый. Приехав в Бело-рыльский Плес, он сказал отцу:

— Не ждал от тебя такой прыти!.. И рыльский дом пустил в ход. Зашел, а там, оказывается, после тебя уже второй хозяин...

Лука изменился в лице, но смолчал. Понял: надул его Ипатов с кладом. Наплел, чтоб выманить из дома. Он поспешил на берег. Увы, Ипатова и след простыл. Вернувшись, Лука попросил у сына коня, на котором тот приехал на колхозное собрание — пока без вещей: вдруг не выберут. Он надеялся перехватить Ипатова по пути или в Рыльске.

— Зачем тебе конь? — посуровело лицо Адама.— И какого дьявола тебя опять понесло вслед за мной?.. Я ж сказал прямо: компрометируешь ты меня!

Пошумел, пошумел он, но коня все же дал.

Прихватив еды, Лука выехал тотчас, вскоре настиг ка-тамаран и стал следовать за ним, стараясь не потерять из



вида. Там, где дорога срезала речные петли, ждал. И чем дольше растравлял себя мыслями об Ипатове, тем обидней казались слова сына, тем больнее ранили. Тупая боль не отпускала сердце. Ну, Ипатов — ладно, матерый волчище, но сын-то, сын... Последняя, надеялся, надежда и опора...

У очередной срезанной им по прямой дороге чутымской петли Лука привязал коня за кустами и вышел на берег. И когда катамаран показался из-за мыса, Лука стал свидетелем короткой схватки. Дальнее расстояние и надвигающиеся сумерки не позволили ему различить, кто из двоих после удара свалился в воду, но он побежал, погнал коня в недалекую деревню и оттуда позвонил в милицию... И упал здесь же, у телефона в совхозной конторе. Все пережитое в этот день стало для Луки той каплей, что переполнила, наконец, чашу... Вызванный из медпункта врач ничем не смог ему помочь. Вскоре Лука потерял сознание, так и не узнав, кто же кого убил: Ипатов Ромку или Ромка Ипатова.

Начинались их вторые дорожки когда-то порознь, не раз сходились на дни, расходились на годы, а кончились, считай, все три в одночасье, еще раз подтвердив простую, но нестареющую народную мудрость: сколько веревочке ни виться, а концу быть...

1957, 1965 гг.



Алексаха

* * *

Отфыркиваясь, Рохмин с удовольствием подставлял густо загоревшие плечи и спину под кран, а на душе было беспокойно: из-за передряг с транспортом только-только вернулся из отпуска, еще никого из бригады не видел, а уже на вахту...

Позвонили. Страхнув с рук воду, он взял трубку.

— Бригаду нашу раскурочили! — доложил помощник, забыв даже поздороваться, и Рохмин спросил подчеркнуто спокойно:

— Почему?.. Да без эмоций.

— Получили еще станок. Вам дали юнцов желторотых! Хана, словом! — и мембрана задрожала так, что Рохмин инстинктивно отдернул трубку от уха.— Новая метла... Третий директор,— доносилось бессвязное.

...«Желторотые» уже ждали его. Первой, у картонных ящиков с продуктами, стояла девушка в цигейковой полудошке и белом, домашней вязки, платке. Представилась:

— Инга. Кулинар.

— Санька,— назвался ее сосед — долговязый жилистый парень. И тут же поправился: — Александр Цыпляткин.

— Все были на буровой? Знаете, что у нас сухой закон?

— Слышали. Краем уха,— откликнулся один Цыпляткин и, перехватив взгляд Рохмина, понял, почему тот спросил об этом и смотрит на него. Тронув торчащее из кармана горлышко бутылки, он пояснил:

— Это сироп. Кулинара,— кивнул на Ингу. Та торопливо закивала.

— Эт-то насчет выпивона? — разулыбался приземистый малый в собачьем полушубке и старой заячьей шапке, одно ухо которой торчало вверх, другое в сторону, и представился с явной претензией на рубаху-парня: — Алексаха. Работягой назначен, на верхотуру.

Рохмину вспомнилось: «Хана, словом...» Да, впервые за двадцать лет видит он таких буровиков. Стоявший рядом с Алексахой бородач, дымя козьей ножкой, бросил небрежно: — Колотопкин.

«Ну, хоть с одним, вроде, повезло. Бывалый.»

— По-настоящему познакомимся на буровой.— Выдержав паузу, добавил: — В деле. Пошли.

Расхватали груз — мешки и ящики с продуктами, потянулись на вертолетную площадку. Колотопкин шагал вразвалку, не спеша, ноги ставил тяжело, прочно. Шел с чемоданом, словно намеревался обосноваться на буровой капитально, надолго. Семенившему рядом Алексахе говорил покровительствующим баском:

— Сибирские морозы — барышень пугать. Столичных. Ах, сорок, ах, пятьдесят!.. Да тут оделся соответственно — и в ус не дуй! Ни ветра тебе, ни сырости. Даже в «Дагнефти» зима коварнее: то дождь зарядит, то ветер с ног валит. И пускай лишь минус десять, но ведь во влажной одежде и на ветру! О полярной зиме — ночи я уж и не говорю...

— Вы работали за Полярным кругом? — почтительно спросил Алексаха.

— Спроси лучше, где я не вкалывал!

Алексаха восхищенно заглядывал Колотопкину в лицо, следил за губами, словно с них может сорваться такое, без чего не станешь ни нефтяником настоящим, ни человеком. Колотопкин, чувствуя это, добродушно хлопнул его по плечу:

— Держись за меня, парень. Не пропадешь!

На посадочной площадке Рохмин спросил у Алексахи:

— Где диспетчерская, знаете?.. Возьмите там питание для рации. Да поживее, сейчас будет вертолет.

— Есть рвать аллюром!

Бежит Алексаха, туда-сюда болтается ухо заячьей шапки. Рохмин и Колотопкин курят, молча присматриваются друг к другу. Вот и вертолет занудил над лесом, снижаясь. Рохмин забеспокоился: где запропал этот Алексаха?



А его, уже с батареями, окликнули с крыльца конторы: — М-лдой человек! Вы из рохминской?.. На секунду!

Алексаха поколебался, но начальственный вид и тон немолодой женщины заставил его двинуться за ней.

— Повариха ваша Инга горчицы и соли «экстра» просила. Передайте. И «Алгебру» ей же...

Алексаха осторожно положил на стол батареи, завернул пачки соли и горчицы в газету, сгреб и, увидев в окно вертолет уже на земле, — рванул. В голове одно вертелось: не забыли б о нем, не оставили.

А его и впрямь уже ждали, помогли забраться в салон. Так, со свертком в руках, он и просидел всю дорогу.

— Дайте-ка батареи, — лишь у вагончика остановил его Рохмин.

— Ой! — изменился в лице Алексаха. — Их-то я и забыл... Эта соль с горчицей..:

Вздыхнул Рохмин. «Ну, кадры! И зачем нелегкая их на север тянет?»

Удивился Алексаха, что ничего не сказал мастер, не стал его отчитывать, а лишь печально посмотрел на удаляющийся вертолет.

Вокруг поляны, в конце которой оранжевела стайка вагончиков, темной стеной высились пихты и ели. Алексаха юркнул в балок, на стене которого красовалась надпись белилами: «Отель Берлога». Обшарпанный столик, буржуйка на кирпичках, шесть коек. Обледенелое окно цедило тусклый, сумеречный свет. Алексаху потянуло на буровую, под низкое северное небо. Понаблюдал он с дощатого настила за работой верхового. Морозец пощипывал уши, и подумалось: часов через пять ему самому лезть на «верхотуру». Чего ж он торчит здесь, как экскурсант? И насмотрится, и намерзнется вдоволь! И Алексаха вернулся; не раздеваясь, завалился на койку поверх одеяла, прикрывшись полушубком.

Разбудил его Полярник. Поглаживая бороду, предупредил:

— Заправляйся поживей, но — капитальней.

— Мы шо — салаги? Учишь! — огрызнулся за Алексаху Санька, нехотя вылезая из-под теплого одеяла.

Верно, тут Алексаха не промахнется! С деньгами пока, конечно, не очень, ну да если все будет на мази — перехватит у Саньки. Тот хвалился не раз: «Я, брат, завсегда икряный». — «Много платят?» — наивно полюбопытствовал Алексаха, и Санька сказал: «Все люди делятся по ушам: у одних они как хлопущки, у других — как радары. У меня радары. Понял?» Ни черта Алексаха не понял, но сделал вид, что, само собой, и он, где надо, ушами не хлопнет.

...Уминая гуляш, Алексаха огляделся. Санька все еще торчал у раздаточного окошка. «Ну, приди один, — подумал он о Саньке. — А чего торчать с ней на виду у всех? Как глухарь токующий — никого не видит и не слышит. И тут нашел кого охмурять!»

Перед глазами Алексахи вдруг замельтешило смеющееся лицо бывшей одноклассницы Зинки. «Смейся! Еще поплачешь!» Он сурово нахмурил брови, а Зинке хоть бы что! Маячит и маячит...

Проморгался Алексаха и приналег на вторую тарелку гуляша.

К ночи морозюка закутил гайки до скрипа.

Есть у жителей Севера выражение: ледяная песня тайги. Не посвист пурги, а молчание, когда слышен лишь неживой шорох: это соки деревьев, леденя, рвут древесину. «Шепотом звезд» назвала язык стужи поэтическая фантазия ханты. Но и в такие ночи со стальным упорством гудит буровая, и долота все глубже уходят в земные недра.

Каждый нерв Алексахи ощущает мелкую противную дрожь площадки. Натужней заворчал дизель, всхлипнул насос; начался подъем колонн. Клацнул замок, элеватор обнял трубу под муфтой, и огромные стальные челюсти пневматического ключа уже крутят ее, вывинчивают... Да, уж что-что, а двигаться тут будешь!

Стынь пробирается даже в валенки; манипулируя с элеватором, Алексаха приплясывает, трется щеками о воротник полушубка; улучив секунду-другую, прячет нос в рукав, прижимает его к меховой опушке. Из глаз выжимаются слезинки, на ресницах — куржак. Как некстати этот подъем колонн! И отчего не могут придумать таких долот:

поставил — и шабаш, бури шарик хоть насквозь. А колонны-свечи идут одна за другой, только поворачивайся! Алексаха трется носом о воротник, колотит ногой о ногу. «Замотать бы чем лицо... Лицо бы!» — единственное, что ворочается в мозгу. «Одна мыслишка на все извилины», — не без юмора подумал он о самом себе.

Зловеще лязгают захваты-клещи о трубы, скрипит, стонет металл. Хорошо Саньке — колдует где-то под навесом, можно сказать, в тепле. До зависти красиво работает Полярник, тормозом лебедки регулирует скорость подъема. Смотрит на пего Алексаха сверху и хочется ему взвыть: слабым, забытым и никому не нужным кажется он сейчас самому себе...

Утром Рохмин собрал всех в «Берлоге». Присев к столику, разглядел мятый лист бумаги. Алексаха скромненько прижался обочь к стенке, Полярник притулился к двери, курил.

— По Цельсию минус сорок семь, — с обычной деловитостью начал Рохмин. — По-видимому, нам уже дали бы команду прекратить бурение, но связи нет. Давайте сами решать, что делать.

— А что решать? — изобразил удивление Санька. — Ложись и плюй в потолок, рублики все едино набегают. Потому как законы у нас стоят на страже интересов рабочего класса.

Сказал и — не сдержал улыбки от довольства, что без запинки выдал все с вечера вертевшееся на языке.

— Молоток, Сань, — бросил Полярник, впрочем, так, что не поймешь: то ли одобрил, то ли съязвил.

— А что осталось? — осведомился кто-то из «стариков».

— До проектной — примерно двое суток.

Алексаха припоминает разговоры: бурятся последние сотни или даже десятки метров. А после перерыва придется забуривать заново. Мешок денег и труд — коту под хвост.

— А вы? — обернулся Рохмин к Полярнику. — Как вы считаете?

— Вообще-то, конечно, у бога дней много,— сказал он так, что не разберешь — всерьез или просто пошутил для начала.

— Значит, за прекращение бурения?

— Я в принципе говорю.

— А я спрашиваю — конкретно.

— Как массы, так и я.

Рохмин ждал от него иного ответа. Такие обычно умели вкалывать, знали: даром рубли нигде не даются. Чувствуя это, Полярник добавил:

— Мы с тобой, Михалыч, дубленые, да и погреться в любое время можем. А молодежь? Ты вон у верхового спроси — ему чечетку бить на семи ветрах.

— Товарищ Колотопкин,— деликатно осадил его Рохмин,— мы собрались, чтобы каждый высказал свое мнение. Каждый. Свое! — подчеркнул он сухо и начал опрос с угла, где затаился Алексаха.

— Ваше мнение?

Алексаха встал, комкая свою заячью шапку в обветренных, невымытых руках. Постоял в мучительном раздумье, воскрешая не только в памяти, но и всей кожей ощущая недавнюю ночную вахту.

— Ну, чего ты?.. Не тяни! — оборачивались к нему.

— Ребята, не впутывайте меня в это дело. Я...

Дружный хохоток заглушил его невнятное бормотание.

— Кстати, не вы ли, маэстро, впутали нас в историю с батарейками и оставили без связи?

У Алексахи на лбу выступили бисеринки пота. Но Рохмин жестом пресек смех и разговоры. Спросил следующего, Сагида. Алексаха никак не возьмет в толк: сам-то он «за» или «против». Ну, и сказал бы как думает. Хоть так, хоть этак — поняли бы, поддержали... Аль этого-то и не хочет, действительно советуется?

Смуглое лицо Сагида порозовело, черные глаза поблескивали, словно выточенные из антрацита.

— Ребята, да мы какого шайтана жуем резину? Хлюпиков ищем, да? Не можешь — не надо. Плюй в потолок.

Полярник боится уши отморозить? Так из уважения к возрасту — подменим!

— Пр-равильна! — громче всех выкрикнул Санька, словно «Не можешь — не надо, плюй...» относилось вовсе не к нему.

Почувствовав на себе чей-то взгляд, Рохмин оглянулся. В дверях стояла Инга. Тихо, скромно притулилась к стенке.

— А, кулинар. Проходите, присаживайтесь,— встал и отодвинул свою табуретку Рохмин. И — ко всем: — Итак, короче: кто за продолжение бурения?.. Единогласно?

Рохмин с удивлением округлил глаза. Но даже Санька с подчеркнутым рвением вскинул вверх руку. «Уж не из-за Инги ли повернул на сто восемьдесят?»

Последним небрежно чуть приподнял ладонь Полярник.

«И ему не захотелось прослыть хлюпиком...»

И снова Алексаха на «верхотуре» — лязгающей, урчащей, подрагивающей. И не на воспетых поэтами семи ветрах, а на одном, но — «сиверке». Разгулявшемся так, что постоянно ждешь: еще немного и заблажишь: «Ребята, я не железный! Хватит! Пускай другие!»

— Ребя-я...! — взвыл Алексаха и осекся, поняв, что все равно никто не услышит. Стиснул зубы: надо выдержать! Любой ценой. Когда колючехватило за щеки, он зло и упрямо закричал: — Любой ценой! Понял?!

Это он — морозюке. Подрал глотку — и легче как-то...

Отстояв последнюю вахту, пошатываясь, брел Алексаха к балку; перед глазами лишь раскаленная докрасна буржуйка... Все, конец! Впереди четверо суток отдыха. Он помазал вазелином подмороженные щеки и, не ужиная, завалился спать. Завтра их увезут на отдых.

Если Арктика — кухня погоды, то Приобье — коридор, в котором, случается, сшибаются лбами два циклона — арктический и среднеазиатский — кто кого? И пойдет, потянется карусель!

До песков Средней Азии докатился циклон, в котором, по словам Полярника, леденел даже мат; там схлестнулся он с южаком, изорвавшим морозные туманы в клочья.

Алексаха проснулся задолго до рассвета; оконный куражак слезился, поблескивал ледком. Тепло!

Он легонько потрогал подмороженную щеку и улыбнулся, вспомнив любимое присловье тети: «До свадьбы заживет». Как она там? Только сейчас, начиная самостоятельную жизнь, Алексаха осознал, как много сделала для него, сироты, тетя. И сколько незаслуженных слез и обид он сотворил ей! Скорый на решения, Алексаха заключил: «Получу аванс — пошлю...» Он размышлял: полсотни и даже четвертная для нее — деньги немалые. При своем хозяйстве хватит надолго. Но не в том дело. Весть, сколько он прислал тетке денег из первой же зарплаты, обойдет всю деревню, дойдет до Зинки, а главное — до ее мамы. Нет, он не пятьдесят пошлет, сто. Вот так! Перехватит у Саньки, а пошлет. «Пиши парню! Да поласковой...» — скажет Зинке ее мама...

Алексаха вскочил, наскоро умылся, оделся. Тем временем разлохмаченный и мрачный Полярник вынул из чемодана поллитровку «Стрелецкой» и, ни к кому не обращаясь, из похвальбы больше, бросил:

— Опохмелимся перед дорогой?

Никто ему не откликнулся — ни словом, ни жестом.

Полярник помедлил, словно прислушиваясь к настороженной, выжидающей тишине, достал чеснок для закуски, не спеша почистил.

— Не хотите, как хотите. — Он нервно, на пол, выплеснул из кружки остатки воды.

Скрипнула дверь, вошел Рохмин. Шагнул к столу, подбросил на ладони бутылку. Спросил с усмешкой:

— Чья посудина?

— Моя! — Голос Полярника прозвучал твердо, даже сурово.

Рохмин молча отошел к бачку с питьевой водой, легонько ударил горлышком о край помойного ведра; вылил содержимое бутылки, бросил ее туда же. Достал из кармана мятую трешку, положил на стол. Тоже молча.

— Ах, так! — пришел наконец в себя Полярник; вырвал лист из подвернувшейся чьей-то тетрадки, присел к столу. Алексаха не удержался, прошел мимо и глянул:

«Прошу уволить по собственному ... в связи с незаконностью действий бурового мастера...»

Скор! И Рохмин тут же, по-прежнему не говоря ни слова, вывел внизу размашисто: «Не возражаю». И расписался.

Алексаха смотрел на него, не мигая: Полярника выпнул! С ходу! Как же так можно? Ведь ничего ж не случилось!

А Рохмин обвел всех усталым взглядом и объявил:

— Смены не будет. Ветер с юга, пурга.

— А продукты?!

— Повариха по неопытности не взяла НЗ. Но вина тут моя. Вернулся из отпуска в обрез... Не проверил. Прошу отставить шахматы, книги, и все свободное время — на охоту и рыбалку.

— А из тайги — на вахту?! — наивно подивился Алексаха.

Рохмин молча пожал плечами.

— Значит, что? На партизанское положение? На подножный корм?! — чуть не взвизгнул, вскакивая, Санька.

— Хуже. На чрезвычайное положение, — спокойно пояснил Рохмин.

С минуту никто не произнес ни слова. «И что за человек? — раздраженно думал Алексаха, — Ни убедить, ни приказать...»

— Ну, об чем треп? — не то к Саньке, не то к Рохмину обратился Сагид. Его антрацитово-черные глаза вспыхнули. — Мужчины мы или не мужчины?..

Никто не решился показать себя «не мужчиной».

После завтрака состоялась стихийная сходка на кухне. Инга показала запасы: соль, горчицу, немного пшена и масла, пакетики с сухим соусом. Негусто. Правда, были еще сухари — хлеб из НЗ обычно потом сушили на квас.

— На обед будет только чай, — предупредила Инга. — Из сушеной рябины...

Полярник сходил в «Берлогу», принес весь свой запас чеснока. Сказал мечтательно:

— К нему б еще жижиг-галнаш!

— Расскажите. Может, потом сготовлю.— Инга улыбнулась.

— Ты? Жижиг-галнаш? Не смехи, нарымчанка!

— Подумаешь, невидаль! — вступился за Ингу Санька.— Какая-нибудь мешанина. Один рябчик, один конь.

Полярник, не расположенный к шуткам, сказал настаивательно:

— Жижиг-галнаш подается так... Пиала сурпы. Бульон мясной,— пояснил он.— Тарелка галушек...

— Я говорил — ерунда! — бросил Санька.— По-русски — клещки.

— Сверху галушек — куски мяса,— продолжал Полярник, не обращая внимания на реплики.— Ломтями, нежирное мясо.— И закончил с кавказским акцентом: — И маленький пиала — тертый чеснок. Мясо с галушками макай в чеснок, запивай сурпа. О!

— Да будет вам! — вскочил Санька.— Надо обед сооружать, а они...

Вошел Рохмин с двустволкой и патронташем.

— Кто на охоту — первый?

— Давай мне,— шагнул навстречу Полярник.

— А в конторе что мыслят? Не могут послать вездеход?— запоздало спросил Алексаха, пропустивший слова о забытом НЗ меж ушей.

— Нет же связи. А дитя не плачет — мать не понимает,— по-новому объяснил ситуацию Рохмин.— Удружил тут нам один — оставил рацию без питания... Да и путь — кружной, неразведанный.

Алексаха с подчеркнутым оживлением картинно шлепнул себя по лбу.

— Мужики, блесны! Чего ж мы не наделаем блесен? В озере наверняка окуней навалом!

Верно, жесть, стальная проволока, инструмент — все есть. И уж, конечно, найдутся знатоки, любители подледной рыбалки.



Все потянулись в «Берлогу». Алексаха доволен: еще никогда не звучало здесь столько шуток, смеха. Блеснить, охотиться — это ж здорово! А кто подкинул идею насчет блесен? Он, Алексаха!

Санька в одночасье навязал заячьих петель и пошел по краю тайги к озеру. Выросший в семье потомственных охотников, он с первого дня, ради удовольствия и «второй зарплаты», думал об охоте, но поначалу решил осмотреться, освоиться. Теперь же все вышло как нельзя лучше. Потом он прихватит и капканы! Заключил: «Работа на буровых — самое то... Пушнинка и дичь — чистый навар».

Шуршит подмерзший за ночь снежок, струится пороша. Идет Санька от следа к следу, беззвучно шевелит губами, словно и впрямь читает снежную книгу. Заметив свежую тропку зайца, Санька опустил на корточки, натер петлю о кору осины, чтоб отбить запах металла и рук, поставил.

Следы, звуки, краски зимнего леса рождали азарт, и Санька брел по снегу хмельной от радостного возбуждения.

Петли он расставил все, но окуней в таежном озере не оказалось: зря возились с блеснами.

Рохмин подал мысль связать вентерь: есть моток тонкого шпагата. Санька принялся мастерить иглу. Знай, мол, наших, нарымчан! Сам и начал вязать. Его сменил Рохмин. Санька выстрогал вторую иглу и стал вязать крыло.

Заявился Полярник. На чем свет стоит клял погоду, бо-лота, бурелом.

— Куда ни ступишь — по колено. Без лыж — пустой номер,— объяснил он свою неудачу, хотя никто и не собирался вышучивать или тем более осуждать его. А после оправданий Санька, хоть и про себя, возразил: «И снегу-то еще немного, и наст есть — надо знать, где и как ходить...»

А между тем, втихомолку, с ружьем ушла Инга.

— Мужики, а ведь она на медведя, не иначе, двинулась,— после долгой и всем тягостной паузы ухмыльнулся Алексаха. Сказал с иронией, но по тону, по глазам чувствовалось: он восхищен ею.

— Тебе, пока старый жирок не растряс, все хахоньки, а ей каково? — заступился Санька за повариху: — Вот-вот

с вахты люди явятся. Они ж ее живьем, без соли съедят. А при чем, спрашивается, она? Один не предупредил об НЗ, другой оставил без связи...

«Мозги-то пудрить ты мастак, а что ж сам застеснялся с ружьишком-то двинуть?» — подумал Алексаха, чувствуя, как уже ворочается совсем другая мыслишка: ну, зачем он-то сунул свою невезучую башку в эту длинно-рублевую дыру? Саньку за Ингой, видать, любовь потянула, Полярника, известное дело, северные, а его что?

Ему сегодня дежурить по кухне — готовить дрова, по из балка и носа высовывать не хочется.

— Пуржит и пуржит,— вздохнул он. Но не идет уныние к его круглому веснушчатому лицу.

Дрова — дело с детства привычное, наколол их Алексаха и побрел к буровой: интересно поглядеть на других новичков, подсобников. Двое таскали мешки с цементом. Упарились, дышат ртами, как воробьи после первого полета.

— Вы чего здесь? — услышал Алексаха голос Рохмина, повернулся.

— Да так,— растерялся было, но под добрым взглядом его осмелел: — Поглядел на салажат: силенка есть — ума не надо. А я по мешкам — спец.

Пристально посмотрел Рохмин на Алексаху.

— А ну, подбрось мне! — приказал тот одному из новичков и взялся за мешок.

— Вам же на вахту скоро... — напомнил Рохмин.

— Ничо-о! — отмахнулся Алексаха, и новичкам: — И сами по-одному не кочевряжьтесь. В беремья не хватайте, не медведи.— Тут же подумал: «И пра, что я полез? Да еще маячит вахта без обеда...» Но мешок взвалил на плечо, понес.

Странно устроен человек! Уж коль трудно — так пускай еще... Или это от зеленого максимализма? Уж коль пить, так пей свою чашу до дна, чтоб хмельней! Дескать, глянем, чего ты стоишь. А впрочем-то, чего особенного? Подумаешь!..

В гул буровой вплелся звук выстрела. Алексаха бегом отнес цемент и, не переводя дыхания, влетел в «Берлогу».

— Ура! Медведя пымала!.. Слышали, бабахнула?



Инга вернулась с огромным, черным, как старый обгоревший пень, краснобровым глухарем. Все, как говорившись, посмотрели на Полярника. Но, похоже, он порадовался за Ингу искренне. В конце концов, он не охотник, а буровик.

Санька вяжет — только игла мелькает! — вентерь, Полярник сгибает к нему тальниковое кольцо. Все же чувствуется, мужское достоинство их уязвлено. Мало-помалу их принялись вышучивать даже салажата, даром что иные, горожане, и пескаррика не добыли за всю свою жизнь. Но Алексаха переживает не за Саньку с Полярником, а за собственную оплошность: выказал-таки свое восхищение Ингой перед Санькой. Задело их переглядывание...

Ставить вентерья Рохмин взялся сам. На словах-то, известно, все заправские рыбаки, а тут от улова, можно сказать, зависит судьба скважины. Да и кто, кроме него, в этакую замять да подо льдом определит, где каждодневно лазит, кормится карась, а куда не заглядывает и раз в год по обещанию?

Вентерья с кольшками на плече, топор за поясом; в руке, как посох, лопата и ломик. Пушистые холодные снежинки забиваются за воротник, тают на шее. Распарившееся тело пышет жаром. Рохмин сбавил шаг.

Вот и лед, местами чистый, даже прозрачный. Косые, наметенные ветрами сугробики движутся по нему, как барханы в пустыне: вихрятся, исчезают, чтобы так же быстро вырастать в другом месте. Рохмин осмотрелся вокруг. Где-то должны быть камыши. Карась их любит. И лед там слабее. Ага, вот. Он отгреб сугробик и выдолбил продолговатую лунку. Сложил и боком просунул в прорубь вентерь, растянул.

Достал сигареты, закурил.

Вспомнился ему полуостров Рыбачий под Мурманском. Юнцом безусым попал он туда с родного Алтая. Впервые в дозор послали, да не на главный, фронтовой, а на прибрежный. Лежит вдвоем со старым морячком в такую ж вот поземку. А морячок неказистый и грамотный не шибко, но бывалый: нет-нет да и ввернет словцо — на всю жизнь врежется. Лежит Рохмин меж голы, камней у моря, ежится не то от холода, не то от страха. И мысли разные одолевают.

— Заложить бы динамит на перешейке и вообще...— фантазирует он.— Как ворвутся куда — трах-трах!

— И своих? — уточняет морячок.

— А что? Их же втрое больше ляжет!

— Красивой смерти хочется? — не одобрил морячок.— Обреченность — она от трусости, понял?! — говорил шепотом, но кровь ударила в лицо Рохмина.— Не та мы нация, чтобы даже здесь, на Рыбачьем, в отчаянье впадать, понял?.. Солдат — так и умри не от своих, а от вражьих рук или выстой и победы, понял? — Морячок сказал все это, ни разу не повысив голоса, и засопел сердито, полез за махрой. Несмотря на строжайший запрет, закурил, прикрыв лицо полою полушубка.

От профессии, характера ли — только часто вспоминал Рохмин морячка того неказистого. И родину свою — берега неистойой Бии. Горную тайгу, сурово учившую мужеству.

Смену Алексаха отстоял из последних сил и в балок приблел позже всех, угрюмо спросил:

— Где Рохмин?! Кто знает?

— Не вернулся еще, видать, с рыбалки,— бросил Полярник. И так ершисто нетерпение Алексахи, что не удержался: — Побить собрался?

— За что? — оторопел Алексаха.

— Ну, хотя бы за батареи,— сострил Санька.

Алексаха не удостоил Саньку даже взглядом, а вот Полярнику решил признаться. Ведь он тоже...

— Крест я ставлю на этом деле,— с усталой небрежностью сказал ему Алексаха.

— Каком?

— На длинных рублях.— И подражая Полярнику, решительно вырвал из тетрадки лист, присел к столу. Задумался лишь — какую указать причину. Непорядки с питанием? Случайность. Морозы? Чего, скажут, ехал сюда, а не в Ташкент? Но зачем ему, спрашивается, объяснять? Или лезть, как Полярник, в бутылку? И Алексаха вывел: «...по собственному желанию». Едва появился Рохмин — подал свой листок. Тот, едва скосив глаза, понял, что это за документ. Спросил:

— Если не секрет, причина?

— А шо ждатель, когда выпнут за несоответствие? — озаарило Алексаху.

Он старается говорить с вызовом, но чуткое ухо Рохмина уловило: чуть дрогнул голос. Не согласия, а возражения, поддержки жаждет парень... Помолчал Рохмин, заговорил тихо:

— Несоответствие — что ж, бывает! Выше себя не прыгнешь. А по собственному отсюда бегут лишь хлюпки да летуны на летний сезон. Ты ж не из их породы!

Алексаха приоткрыл рот — возразить, по с Рохминым уже заговорил кто-то из «стариков». Прозвучал гонг — «На ужин!»

— Аш-два-О пошвыркать,— бросил Алексаху, но в столовку пошел. Горячей водой с сухарями побаловаться, и то не с пустым желудком на вахту. Авось, последнюю!

Над раздаточным окошком — впервые — меню.

— Жижиг-галнаш? — недоуменно протянул Санька.— Чай рябиновый?..

— Издеваться вздумали?! — загремел бас Полярника.— Я вам посмеюсь над рабочим классом! — Он грохнул кулаком по фанерной перегородке так, что вагончик затрясся.— Не учли с Рохминым НЗ — и еще хахоньки разводите!..

Алексаху поехал от его крика, но Ингу на этот раз не оправдал: не ей шутить на тему, больную по ее собственной вине. Но стоило ему взглянуть в лучистые глаза «кулинара», и подумал иначе: а почему и нет? Юмор — всегда благо. Для умных...

— Пойдите! Чем-то вкусно пахнет,— сунулся в окошко Алексаху и встретился с лукавым взглядом Инги.

— Пожалуйста,— подала она ароматный прозрачный глухариный бульон. На отдельной тарелочке — галушки, которые положено макать в соус с тертым чесноком, а сверху...

«А если не любит она Саньку? — совсем некстати пронеслась у Алексаху шальная мысль.— Уж очень что-то загадочно улыбается».

— Братва, ей-бо, жижиг этот! — возбужденно говорил Алексаху, но видел по-прежнему лишь глаза Инги.

Под вечер с озера пришел Рохмин, вытряхнул из своего рюкзака полное ведро крупных серебристых карасей.

«Уха из карасей... Тушеный заяц», — писала Инга в меню на ужин. Заяц принес Санька.

«Берлога» повеселела. Только Алексаха вышел из столовой грустный. Опять этот Санька выпендрился перед Ингой. А ему, Алексахе, даже никчемушка Зинка дала отставку... Слоняется он меж вагончиков, не находя себе места, приткнулся спиной к стенке котлопункта и услышал вдруг Санькино бормотание:

— Ну что ты... строишь из себя? Я ведь знаю, ты с Мишкой...

Звучная пощечина заставила Алексаху отскочить за угол. И вовремя. В распахнутую настежь дверь шумно вывалился Санька.

Алексахе хотелось увидеться с Ингой, но — случайно. Бродил по всем тропкам, ждал, но Инга не выходила. Он пробрался к окошечку, с трудом разыскал крохотный уголок не затянутый льдом и изморозью, приник глазом. Вздохнул: «Штудирует алгебру...»

Продрогший, раздосадованный вернулся он в «Берлогу». Не спалось...

— Эх, вьюнош! — подсел к нему Полярник. — У тебя кто из родных в этих широтах?

— Одна тетя.

Полярник по-мальчишечьи присвистнул:

— «Тетя!» Тетка — не в счет. Сам с усам, значит. Махнем-ка, парень, в «Грознефть». Вот уж где жижиг-галнаш! А какой там, в Чечне, чихирь?! Мечта!

— Что это?

— Чихирь не знаешь?!.. Эх, помню, вкалывал я на трассе... Закурить есть? — повернул он лицо к Саньке.

— Я ж не курю.

И забыв о своем намерении что-то рассказать, Полярник опустил голову на стол.

«Пьян он, что ли?» Но Алексаха видел — Рохмин разбил последнюю бутылку. В чемодане оставался лишь чеснок, и тот он отдал па кухню, Инге.

— Ребята, кто вылакал мой одеколон?! — хватился Санька, но на него зашикали, прислушиваясь к неожиданной тишине.

— Авария?

— Что случилось?

Все вывалились из «Берлоги». Только Санька шарился в тумбочке.

— Все! Шабаш,— донеслось с буровой.— Достигли проектной.

— Ур-ра! — подкинул шапку Алексаха.

— Ты-то чего уракаешь? — спросили его. Алексаха смущенно умолк.

Ночью отыграла свое, улеглась пурга. Алексаха почувствовал солнечную тишину еще в постели: в окно вливался неяркий, но ровный свет.

Вошел Рохмин, предупредил:

— Готовьтесь. Скоро должен быть вертолет.

— Андрей Михалыч,— не глядя, попросил Алексаха,— порвите заявление...

Рохмин достал из кармана вчетверо сложенный листок:

— Рви сам. Или сохрани — на память.

— Андрей Михалыч... Полярник очень невезучий, он...

Рохмин жестом остановил его, внимательно посмотрел в глаза. Похоже, что-то хотел сказать о Полярнике, но промолчал. Вышел.

Алексаха изорвал свое заявление, клочки смял, выкинул на улицу! Чистый снег искрился, протягивал солнцу иглы-лучики. Солнце! Здравствуй. Давненько не видели, брат, тебя. Под его желтым, смеющимся шаром появилась черная мушка и, медленно увеличиваясь, превращалась в стрекозу. «Вертолет!» — хотел крикнуть Алексаха, но ноги почему-то ослабли, подкосились, он лег на сугроб, прикрыл от солнца глаза. Ощущая его ласку и запах подтаявшего снега, он затаил дыхание. В первозданной таежной тишине до слуха явственно донеслось далекое гудение. Ведь это же летят за ним, вчерашним второгодником, руганым-переруганым и тетей, и бывшей одноклассницей Зинкой, и ее ехидной мамочкой... Но теперь — это уж точно! — он вернется... Ведь эта

вышка — теперь его вышка. Первое место на земле, где не могут без него, Алексахи. Законное, трудное. Мужское.

В поселке Рохмин первым делом отправился в контору, к новому директору, который «раскучорчил» его бригаду. Рохмин здесь с первого кольшпа, неизменно в передовиках и привык к начальству, перед метнувшейся к двери новой секретаршей молча вскинул пятерню: и та осеклась, отступила. Калач тертый, директор по взгляду и осанке почувствовал в вошедшем бурового мастера и поднялся, шагнул навстречу.

— Андрей Михалыч,— представился Рохмин, как бы предлагая директору угадать фамилию и должность самому. Но после паузы все же пояснил: — Рохмин.

— Присаживайтесь, пожалуйста. Рассказывайте... Скважину закончили?

— Да.

— Успели до морозов?

— Нет, после...

— Ну, молодцы, молодцы!.. Хорошо, что я укрепил бригаду бывалым, этим, как его...

«Укрепил!» Рохмин не возразил, не пожаловался. Молча положил заявление Полярника на стол. Директор пробежал его глазами раз, второй. Поднялся, заходил вдоль стола.

— В чем дело?

Рохмин рассказал. Директор сел, испытующе посмотрел мастеру в глаза.

— Бороться с пьянством, понятно, надо. Но, дорогой мой, буровая — не институт благородных девиц. С мороза, в меру... Тут, видимо, тот случай,— кивнул он на заявление,— когда надо учитывать и погоду, и возраст, и психологию, и... черт знает что еще!

— Согласен. Потому и не держу его.

Директор удивленно посмотрел на Рохмина, еще раз перечитал заявление и тихо спросил:

— Кого взамен?

— Кого угодно.

Помолчали, присматриваясь друг к другу, взвешивая слова. Директор заговорил уже на «ты»:

— Тогда сам подбирай помощника и... на Дальнюю площадь. Да проверь, чтоб завезли туда горячее.

Рохмин кивнул и отправился в транспортный цех. Его начальник, измотанный, взвинченный, перевел дыхание, глотнул воды и, кивком выпроводив провинившегося в чем-то шофера, ответил Рохмину со вздохом:

— Речушка у Дальней коварная. Только в эти морозы, два дня назад, схватило.

— Но схватило!

— Риск...

— По льду я сам проведу машины.

Выбил Рохмин для своей бригады могучий тягач «Ураган» и крытый трехосный «Урал»; обговорив все с шоферами, пошел домой.

У порога снял унты и полушубок, поцеловал жену.

— Давай, Андрюша, за стол,— пригласила жена. Он кинул в рот леденец и отошел к окну.

— Скоро должен заявиться Алешка. Тогда и... Все вместе.

— Да вы же три дня на сухариках!

Он удивился ее осведомленности. Конечно же, она выбегала встречать его на улицу, успела перемолвиться с проходившими мимо «стариками». Расставив холодные закуски, жена включила электрический самовар, поправила у зеркала прическу и, наконец, впервые за день присела — счастливая, улыбающаяся. Обмениваясь новостями, они оба нет-нет да поглядывали в окно: уже давно должен был сын заявиться. Вот и старшекласники прошли, а его все нет.

Рохмин знал: Алеша любил нечастые совместные чаепития, неторопливые застольные беседы. Без всяких «А ну-ка, расскажи...» А еще ему подумалось: завтра он снова уедет, когда Алешка будет еще нежиться в постели.

— Садись, Андрюша,— в который раз пригласила жена.— Прибежит!

— Потерпим. А то меня после еды сморит... Последние дни почти не спал.— Он улыбнулся, пояснил: — Рыбачил.

...Алешка влетел возбужденный, покрасневшийся.

— Ты где до сих пор?..

— Дрова колол! — беззаботно пояснил он, расшвыривая вещи — портфель, шапку, рукавицы. Рохмин осуждающе покачивал головой, но замечаний не делал, а, наоборот, улыбался.

— Кому?! Дрова, говорю, кому колол?

— Не знаю. Мы с Петькой соревновались — кто больше чурок с одного размаха расколел!

— Господи! — всплеснула руками мать. — Чужим людям, даже не знает, кому дрова колол!

— Чужих в нашем поселке нету! — запальчиво возразил Алешка.

Рохмин даже расхохотался.

— Правильно, Алексей! Все свой брат, нефтяник.

Чем-то сын напомнил Рохмину Алексаху, перед трудной вахтой таскавшего мешки с цементом. За других.

* * *

Алексаха с Санькой — односельчане; вместе учились, одновременно начали трудовую жизнь. Санька летом плавал мотористом на катере, с осени — на пилораме. По его словам, «жал по части техники». А у Алексахи, работавшего на животноводческом комплексе, по Санькиному же определению, профессия такая: «Цепляй больше, кидай дальше». Инга, по Санькиной терминологии, «в кафе-столовой ошивалась». А сблизили их с ней... маленькие трагедии Пушкина. Перед генеральной репетицией исполнителю роли Дон Жуана пришел вызов, и он уехал в военное училище. Режиссер, мысленно перебирая завсегдатаев клуба, остановил взгляд на долговязном юнце, охмурявшем очередную поклонницу.

— В нем что-то есть. Типаж! — воскликнул он и пригласил Саньку на репетицию.

В окружении девушек, болевших за судьбу пушкинского юбилея, Санька покочевряжился немного — занят же, то-се, — но под выжидательным и, казалось, заинтересованным взглядом Инги, исполнявшей роль донны Анны, согласился. И верно: хотя текст ему давался трудно, в роль он вошел с ходу. И надолго.

Вскоре после ссоры Алексахи с Зиночкой Инга неожиданно подошла к нему в столовой, села напротив на свободный стул и сообщила:

— При нефтяном управлении курсы открывают. Меня мама отпускает. А вы... с Санькой не собираетесь?

— Подумаю,— бросил он, не подымая глаз.

А из столовки побежал прямо к Саньке. Тот, увидев не скучающее, как обычно, а возбужденное лицо Алексахи, даже выключил пилораму.

— Вечно кочевать по тайге? — скривился Санька, выслушав сбивчивый рассказ Алексахи.— Не.

— Да это Инга удумала. И мне предложила,— как бы между прочим обронил, наконец, Алексаха.

— Ну, а стоит овчинка выделки? — зашагал туда-сюда Санька.

Весть об Инге не особенно взволновала его: он успевал еще подволачиваться за соседкой по дому и табельщицей на шпалозаводе. Просто слухи о высоких заработках нефтеразведчиков психологически уже подготовили его к перемене профессии. Об Инге он подумал мимоходом: «Уж там-то будет птичка в моей клетке. Тоже мне донна...»

— Какой у них коэффициент? Ты выяснил?.. Нет. А мутишь воду!

— Это уж ты выясняй. У тебя мать. А я вольный казак. Одна деревня сгорела — в другую перешел,— явно рисовался Алексаха.

— Понятное дело — выясню,— важно согласился Санька, игриво скидывая руку, и — помахал какой-то девице с густо подсиненными веками. Та фривольно качнула бедрами, улыбнулась.

— Моя чувиха,— шепнул он.

— А Инга? — простодушно вырвалось у Алексахи.

— Пока журавль в небе,— пожал плечами Санька, включая пилораму.

Назавтра он сам пожаловал к Алексахе, бросил:

— Увольняюсь. Понял?.. Только на фига нам с тобой курсы?.. Во! Требуются...

Вспомнил все это Алексаха, вздохнул. Сегодня уже в который раз он перебирал в памяти мельчайшие детали тех разговоров, так круто повернувших его судьбу. «Почему Инга заговорила не с Санькой, а с ним?»

Сходя в поселке в баню, Алексаха переоделся во все лучшее и поднялся на второй этаж общежития, где жили девушки. Битый час, ожидая Ингу внизу, Алексаха слонялся по коридору. Хотел уже отложить встречу на завтра, но с лестницы наконец донесся ее голос.

— Далеко? — спросил он, выйдя на крыльцо.

— На ужин.

— А я — в кино. С удовольствием пригласил бы, да не знаю, как посмотрит на это... Санька.

— Санька? — сделала она удивленные глаза — При чем здесь Санька?

Но лицо заметно порозовело. Смutilась.

— Идем, — сказала она поспешно.

После мучительных колебаний Алексаха снова заговорил о Саньке. Инга с неподдельной горечью прошептала:

— Не верю я ему. — А затем, наоборот, неестественно громко:

— На чужих людей бросил больную мать! Такой предаст кого угодно; эгоист п вообще... — тут ее голос дрогнул, и она перевела разговор на другое. Алексаха почувствовал: разочарование в Саньке далось ей нелегко.

— Ты готовишься в институт? — спросил он, вспомнив об «Алгебре». — И в какой? Заочно или...

— Еще не знаю, — призналась она. После паузы пояснила с улыбкой: — Пока ищущ себя.

Утром Рохмин зашел в общежитие, пригласил парней в красный уголок. Когда все расселись и притихли, сказал:

— Знаю, устали. Но мне нужен помощник — доброволец.

Кто-то подавил вздох. Каждый заново пересматривал свои планы, соразмерял силы. Вчера Алексаха согласился б не размышляя, а сейчас, в радостном возбуждении от одной мысли о предстоящих встречах и вечерах с Ингой, стыдливо опустил глаза.

— Ну, что ж, нет так нет.— Рохмин заставил себя улыбнуться.—Обращусь, как говорится, к соседям. Отдыхайте.

И пошел.

«Но ведь с Ингой и на работе можно видетсяя, а тут...»
Алексаха встал.

— Андрей Михалыч...

Рохмин уже в дверях обернулся, помедлил.

— Предупреждаю: рейс будет тяжелым. Опасным.

— Я што — лыком шит? — пробурчал под нос Алексаха.

— Ладно, тогда собирайся.

Эх, дороги, пыль да туман,—

беззвучно поет Алексаха под гудение могучего «Урала». А впереди — «Ураган». Этому и вовсе сам черт не брат. Только снежная пыль вихрится из-под колес. Но дорога обрвалась где-то на пятом-шестом километре, у первых скважин. Дальше — целина: мелкоколесье, водораздельные болота, луговые гривы.

— Пойдем наугад, по-вятски,— прищурился Рохмин.

Скорость, понятно, резко снизилась, но все же, думает Алексаха с гордостью, это вам не «газики» — звери!

Укачало, умотало Алексаху. Притих он; прикрыв глаза, пытался забытьсья, но в голову лезла всякая чертовщина...

...И что нравится девчонкам в Саньке? Лицо лошадиное, костистое, глаза тусклые, под ногтями вечно «траур». Инга считала — они с Санькой дружки. Зря! Просто жили по соседству, изредка перебрасываясь словом-двумя: для практичного Саньки разговоры на отвлеченные темы — треп, лирика. Ему иногда нужен был помощник, и он научил Алексаху «рулить». А однажды взял на рыбалку. Алексаха прихватил удилище, банку с наживкой. Санька смерил его ироничным взглядом, но промолчал. А когда, уже в устье Чутыма, Алексаха спросил, какое у него удилище, усмехнулся: «Я, знаешь, вышел из телячьего возраста». И достал из потайного отсека самолловы. На осетров. Выметал их, потом плавежную сеть — на стерлядей. Проплыли по течению с выключенным мотором с полчаса — полдюжины рыбин. Да каких! Чувствовалось, знал Санька места. Но

вот затарахтела с Оби моторка. Санька схватил специальный на такой случай якорь, привязал его к сети, опустил на дно и — навстречу. Пых, пых... Прошли каждый своим курсом. А едва скрылась моторка за поворотом, вернулся, взял полосатый, как у речников, шест — только с крючком на конце — и выловил сеть. Опять с десятком крупных рыбин.

— Да это ж, это ж... — и подивился, и восхищался Алексаха.

Вновь донеслось, видать, знакомое Саньке тарахтение: он спрятал сеть и рыбу в тайник, встал на корме с шестом.

— Что, мужик, застрял? — спросил Саньку, явно сомневаясь в безобидности его виражей на стрежевом песке.

Оказывается, инспектор рыбнадзора! Санька взорвался:

— Директора б нашего сюда! Пускай бы помахал этим дрыном! — Он вскинул полосатый двухцветный шест. — Удумали — проверь им все, видите ли, пески — не садут ли плоты на мель. Нашли негра... Нет, вы человек опытный, — подольстил он инспектору, — знаете законы. Имеют право меня, моториста, толкать во все дырки? Это ж не входит в мои, так сказать...

Инспектор разъяснил: обратитесь-де туда-то, а он, Алексаха, ухватившись за живот, катался в рубке от смеха. «О, дает! — восхищался. — Выходит, не зря льнут к нему девчонки. Парень не промах. Котелок варит и язык подвешен...»

Затарахтел «Вихрь», вышел наверх Алексаха. Санька аж блестел от важности; бросал самодовольно:

— Я эту шушеру... в гробу видел. Вокруг пальца — всегда. А то меня хотел зашучить!

Закинули они плавежку еще несколько раз — набралось больше ведра стерлядок. Самоловы и смотреть не стали.

— Я их поутрянке, — пояснил Санька.

На пристани он сыпал рыбу в мешок, завернул в газету парочку — помельче — для Алексахи.

— Скажешь своей тете — на закидушку добыл. И сам не трепись.

— Не лопухий, — обиделся Алексаха.

— Усек? Добро. Потом еще скатаю,— пообещал Санька. Мол, не рыбак ты, не компаньон, а так себе — катаешься.— На лески капрону дам.

Зайдя к Саньке, Алексаха привычно снял кеды у порога, а тот как был в грязных сапогах, так и потопал, немытыми руками полез в комод с бельем. Показал фото молоденькой выпускницы культпросветучилища.

— Я ей подарок купил, пообещал жениться, а она, ду-реха, растаяла...

...Лишь сейчас Алексаха понял: он смотрел на Санькины похождения глазами беспечного юнца. Даже не верил в его корыстолюбие, пока этой осенью не увидел, как Санька на теплоходе из-под полы торговал рыбой. Да, его уши давно стали радарами, настроенными на «левую» деньги.

И сейчас Алексахе вспомнился французский роман о похождениях знатных повес, то обманывавших, то покупавших у «простолюдинов» их подрастающих дочерей. Чем отличается от них Санька? Левые деньги развращали не только его самого...

Как-то сразу померкли и без того неяркие краски леса, неба.

Лишь в тот вечер, когда Санька кубарем выкатился от Инги, и это задело Алексаху лично, он впервые произнес не без ехидства:

— Ну, как? Говорят, ты схлопотал сегодня?

Санька взглянул встревоженно, но ответил, как всегда, самоуверенно:

— Посмотрим, сказал слепой.

— Цыплятких по осени считают, да? — обыграл Алексаха Санькину фамилию и ухмыльнулся от неожиданной двусмысленности.

Санька презрительно цыкнул сквозь зубы. К пощечинам любительниц флирта он привык и знал им цену; помнилась вдовушка, заманившая неразборчивого Саньку на свой день рождения. Напоила, уложила с собой, но перед тем и по щекам надавала и все лицо поцарапала. «Артист-

ка! — то восхищенно, то брезгливо говорил о ней Санька. — Дешевка! Набивала цену!».

Но Инга, понял он, не играла. Значит, надо принять оплеуху как должное, не обижаться. Наоборот, проявить к ней еще большее внимание...

Тут и приходили ему на помощь «дары данайцев», и опыт — в жизни и на сцене — Дон Жуана.

Этого и боялся Алексаха.

* * *

Как все самолюбивые люди, Санька был злопамятен. Только задела его, привыкшего к легким победам, не щечина, а то, что о ней каким-то образом узнал Алексаха. «Придется всерьез пудрить ей мозги».

Под вечер Санька зашел в магазин, купил шампанского, коньяку (знай наших), конфет, яблок. В протомоварном долго приценивался, прикидывал: что б поприличней, но подешевле. Остановился на белых (свадебных) туфлях. «Дороговато, но...— Санька представил лето, рыбалку с плавежкой.— Я эти туфли — за полчаса! Зато — верняк! Растает...» И купил еще шарфик и косынку.

Санька знал: соседка Инги по комнате трое суток будет на буровой, но при виде самой Инги — строгой, чуть удивленной — живо представилась сцена в вагончике, и сказать приготовленные заранее фразы не поворачивался язык. Чуткая Инга могла сразу, в интонации, уловить фальшь и тогда — все. Конец. И Санька заговорил с неожиданной для самого себя робостью — сбивчиво, даже чуть заискивающе:

— Алексаха уехал, тоскливо так стало, не с кем ни в кино, ни первый нефтяной аванс отметить,— бормотал он, с ужасом сознавая: помимо воли разыгрывался вариант, отвергнутый им еще на буровой. Он виновато улыбнулся и начал импровизировать: — Извини, я вел себя глупо, но позволь в знак примирения угостить тебя конфетами,— он горой вывалил их на стол.— И выпьем по бокальчику.

Он выставил на стол шампанское, выложил яблоки. Для подарков и коньяка время еще не подошло.

— Да уж вел ты себя... — покачала Инга головой, — не только глупо, а отвратительно.

Санька понял, самое страшное — позади: его не выгнали! А когда Инга развернула, надкусила конфетку — почувствовал себя охотником, держащим дичь на мушке хорошо пристрелянного ружья.

— Ты пойми главное: для тебя я, если захочешь, все звезды с неба снимаю! — возбуждаясь от собственных слов, затараторил он, откручивая с горлышка бутылки проволоку.

— А потом бросишь... как мать, — тоже неожиданно для себя упрекнула его Инга.

— Да! Родную мать. Но ради кого? — тотчас подхватил Санька, — Ради тебя! А ты — не ценишь!

Хлопнула, стукнулась о потолок пробка, запенились стаканы.

— Так уж и ради меня! — недоверчиво покачала головой Инга, а глаза засветились радостью.

— За мир! — скромно предложил Санька первый тост. «Любит. Ключула», — торжествовал он.

Наливая снова, Санька горячо убеждал ее:

— Да, ради тебя. Одной!.. А зачем бы черт вдруг понес сюда? В общагу?.. Денег у меня и там куры не клевали, — прихвастнул Санька. — Вот поженимся и вернемся. — Он поднял стакан, воскликнул: — За верность матерям и женам!

Выпили, и Санька решился на следующий шаг: достал подарки.

— Милая, разреши преподнести тебе, — выложил он подарки на кровать и припал губами к ее тонким бледным пальчикам. Оторвался на мгновение, прошептал: «Я прошу твоей руки», — и припал снова. Не дождавшись ответа, метнулся к саквояжу, достал и суетливо откупорил коньяк.

— Ты прямо как курьерский поезд, — нетрезво улыбнулась Инга.

— Знаешь, что творится в мире. А мы ж не телята — ждать, когда расколют наш шарик водородными. Спешить жить!.. За пащу любовь! До дна!

«Вот так, тюфяк,— подумал Санька об Алексахе.— А то «схлопотал»...

* * *

Обычно у шофера-северянина одних дорожных историй — не переслушаешь. Алексахин же сменщик словно воду во рту везет. Сколь ни пытался разговорить — кивает, мыкает. «Ну и хрен с ним!» — сказал сам себе Алексаха и с неведомой раньше верой в свои силы заключил: здесь он закончит вечернюю школу и — по стопам Рохмина. В политехнический...

Поначалу до Алексахи как-то не дошел смысл рохминских слов «Ты ж не из их породы!» А ведь это в устах мастера — оценка! И сейчас Алексаха не просто мечтал, строил планы — он рос в своих глазах.

Обозревая тайгу, болота с высоты теплой кабины, он жаждал испытаний. Да не простых — опасных. И это состояние тоже было новым, неведомым, неизведанным.

На старой гари, у сухостоин, остановились на обед и «передох», как выразился Рохмин.

И вот уже потрескивает костер. Огонь лижет бока консервных банок, солидол слезится, стекает со злым шипеньем. Язычки пламени, разбегаясь, пляшут, как паруса в шторм, и Рохмину видится море, Балтика. Все молчат. Алексаха тоже — с детства — любил костры; щурится от белесого дыма, но улыбка не сползает с его обветренных губ. Он доволен вниманием Рохмина и всем ходом рейса, и теплой погодой, а главное, последней встречей с Ингой...

Шоферы поначалу держались отчужденно и обедать намеревались по своим кабинам. Но Рохмин пристроил в костер котелок с чаем, расстелил рядом брезент и, открыв консервы, сказал им:

— Прошу к столу.

Алексаху он пригласил особо, иначе:

— Чего стоишь? Режь хлеб.— И подал буханку.

Пообедали и — дальше.

Удивительно, как все складывается здорово в его, Алексахиной, жизни. Сытый желудок и приятные думы смори-

ли, он всхрипнул. Не открывая глаз, устроился поудобней. Гудел мотор, люлькой покачивалась кабина.

Алексахе снилось родное село. Он восторженно рассказывал — и не тете, а давно умершей матери — о Рохмине, о рейсе, и почувствовал, как лоб покрывается испариной: ведь они не привезли горючее! «Где ж оно? — мучительно вспоминал Алексаху. — Потеряли?» Тут он вздрогнул и проснулся.

— Ну и здоров же ты, парень, спать! — тряс его спутник. — Вылазь. Река.

Рохмин вышел на берег.

— Не загремим? — для проформы весело спросил его шофер.

Андрей Михалыч пожал плечами. Откуда ж ему знать, какой мороз и на сколько дней надо именно этой речонке для надежного ледостава? Да и у них, что ни говори, кроме веса машин — горючее, цемент... Но только сейчас после этого вроде бы шутливого вопроса он решил, что проведет обе машины через реку сам.

Рохмин прикинул, какой толщины лед должен выдерживать машины. Взял топор и шест, сказал спутникам: «Перекур, ребята!» — и, по колена проваливаясь в свежий рыхлый снег, стал спускаться под облизанный ветрами берег. В черных меховых унтах и черном полушубке он напомнил шоферу «Урала» упитанного осеннего медведя.

— Смотри, сам не продави!

И Рохмин инстинктивно взял шест на изготовку. Так уж, наверное, издревле сформировался homo sapiens: ни вера, ни сомнения окружающих не минуют его сознания...

На середине реки Рохмин вырубил лунку; толщина льда оказалась достаточной. Не удержался, радостно вскинул руки:

— Порядок, хлопцы!

Вернувшись на берег, он угостил шоферов своим «Беломорканалом», расспросил о тормозах, о том, о сем.

— Должен выдержать! — повторил он. — Но береженого и бог бережет. Переходите пешком. Машины поведу сам. Один.

— Да что зря время терять?! — пытались уговорить его, но он, подражая своему армейскому старшине, шутливо изменил и повысил голос:

— А-атставить разговоры!

«Урал» сполз тихо, без рывков и поворотов. Покатил, не вызвав ни малейшего потрескивания льда. Шофер понаблюдал минуту-другую, прыгнул на лед и вприпрыжку побежал вслед. И тут, уже от противоположного берега, донесся оглушительный треск. Алексаха оцепенел. Лишь через две-три секунды он кинулся во всю мочь туда, к «Уралу»; задние колеса его еще крутились в воздухе, а моторная часть погрузилась по самую кабину; ближнюю к Рохмину дверцу прижало вздыбившейся в проломе льдиной. Вода бурлила, от разогретого мотора вырывался пар и воздух, поднимая фонтанчики брызг. И то ли снег вокруг потемнел от воды, то ли это потемнело в глазах Алексахи.

— Прыга-ай!.. Выла-азь! — безотчетно, дико заорал он на бегу. И всхлипнул: — Андрей Михалыч...

В первые секунды, когда еще можно было выскочить на лед в «свою» дверцу, Рохмин инстинктивно попытался дать газ и вырваться по прогибающемуся льду к берегу. Его близость завораживала. Но лед не прогнулся, как в первое мгновение, а проломился, и машина вместе с водителем скользнула в прорубь.

Потом комиссия установила, что в том месте, под самым берегом — фарватер, быстрое течение, и лед вдвое тоньше, чем на середине реки, где проверял его Рохмин...

Накануне похорон к Алексахе подошел его черноглазый сосед по балку Сагид.

— Тебя куда? — спросил Сагид.

— То есть? — не понял Алексаха.

И Сагид поведал: вместо Рохмина буровым мастером уже назначен Полярник. Их, Сагида с Алексахой, он не пожелал взять.

«А Инга?» — чуть не крикнул Алексаха и бросил, уже на ходу:

— Заскочу в отдел кадров.

Но поостыв, бесцельно прошел мимо конторы. «Вызовут, без работы не останусь. Но почему меня-то? — неотвязно мучило.— Сагид — понятно, подковырнул Полярника обидно. «Из уважения к титулу — подменим!» А он? Поддержал Сагида? Поехал с Рохминым?.. Да еще добровольно? Но ведь буровая — не частная лавочка, не вотчина кого бы то ни было!»

Алексаху окликнул довольный, улыбающийся Санька. Покрутил у лица рукой, изрек:

— Наше с кисточкой!

Алексаха хотел пройти мимо, но не сдержался и с напускной беззаботностью спросил:

— Ну, как там с Ингой?

Санька не знал, что у Алексахи с Зиночкой все разошлось. Занятый своими амурными делами, он не заметил и повышенного внимания того к Инге. Потому и не отказал себе в удовольствии похвастаться очередным успехом:

— Порядок!

— Что порядок?

— А все! Хочешь — уступлю.

Алексаха задохнулся, но руки уже тянулись к горлу Саньки.

— Ты, ты, ты...

Отшвыривая Алексаху, Санька поначалу пятился от него, наседавшего бестолково и безотчетно, а потом стал бить его короткими, точно рассчитанными ударами. И чем сильнее бил, тем громче выкрикивал:

— Перепил и — чокнулся!.. Товарищи, будьте свидетелями — сам лезет!.. Сам лезет!

Алексаха упал.

Их обходили, сторонясь.

— Ну, публика! С утра нализались...

Алексаху поднял Санькин пинок; слезы на лице его мешались с кровью из разбитого носа, но он брел к лесу, не замечая даже, что тропинка кончилась и ноги увязают по колена, брел, пока не уткнулся лбом в ствол разлапистой ели. Сколько он простоял здесь — Алексаха не представлял, он утратил ощущение времени. А когда, наконец, пришел в

себя, подумал с горечью: «Почему же, ну почему хорошие люди страдают, гибнут, а всякая мразь, всякая мразь...»

Лишь равнодушный шепоток хвои был ему ответом.

«Инга!.. Что ты наделала, Инга!.. Кому поверила?!» Алексаха осознал: после гибели Рохмина во всем огромном мире никому нет никакого дела до его мучений и сомнений, до его судьбы, и он снова тихо и беззвучно заплакал.

В отделе кадров, едва Алексаха назвал себя, не старый, но лысый кадровик сказал как отрубил:

— Судить будем!

— Меня?! За что?

— Дизелиста Цыпляткина бил?

— Бил... Не я его, а он меня!

— Не финти. Не пройдет номер. Вот показания свидетелей, — тронул лысый тетрадные листки.

Кадровик начал читать длинную, путаную фразу из чьего-то показания, но Алексаха, слушая вполуха, подумал: «А если Санька, известный трепач, хвастанул?.. Не могла поверить ему Инга! Знала ж его!»

Не дослушав конца показаний «свидетеля», Алексаха натянул на голову шапку и пошел к выходу. Уже за дверью услышал резкое, как удар бича: «А ну, вернись!» Лишь прибавил шаг...

Погруженный в свои невеселые думы, он чуть не столкнулся с Полярником. Новоиспеченный мастер посмотрел на него свысока, буркнул:

— Характеристику в товарищеский суд просят. А я так и не понял тебя, малый... — тянул он, явно наслаждаясь своей властью. — Зачем, к примеру, да еще по доброй воле, потащился с Рохминым?

Алексахе представилось: Санька б сейчас — соловьем разлился!.. Да я ж из солидарности-де с вами увольнялся, и все такое прочее. А с Рохминым поехал по ошибке, и так далее. Считаю, не характеристику б получил — оду! И в бригаду б свою мастер сам его пригласил. Но не уподобится он, Алексаха, подлецу, пусть хоть что пишет!

— Андрей Михалыч — это ж человек был! — воскликнул Алексаха и, понимая, что сжигает последний мостик, добавил: — Да я б за него сам в ту польню...

Однако в глубине его души еще теплилась надежда услышать от Полярника: «Вот теперь ясно. Так держать, парень», — и добрую улыбку: ведь он сам, говорят, пострадал от людской жестокости и неправды. Но Полярник смерил Алексаху равнодушным взглядом, отвернулся и пошел. «Неужели и его не научила жизнь доброте? — не укладывалось в сознании Алексахи. — Только ожесточила? Вот тебе и «держись за меня, парень!»

Алексаха не жалел о сказанном, иначе не мог, но все равно будто оборвалось что-то в груди. Последняя надежда на буровую рухнула. Он брел по улице, прикидывая, куда приткнуться, пока есть деньжата. У ремонтной мастерской приостановился. Вспомнилось: здесь работал токарем его земляк Платон. Какой-то дальний родственник тети, стало быть, и его, Алексахи, седьмая вода на киселе... Зайти? У них, ремонтников, сходятся все дороги. И слухи. Что где, что почем.

...Попривыкнув к сумеречному освещению, Алексаха увидел худого высокого дядьку, который вытачивал на станке какую-то загогулину. Это и был Платон. Как-никак, токарное дело Алексаха проходил в школе. С этого и начал разговор, не забыв вернуть привет от своей тети.

— Какой разряд? — спросил Платон.

— Не. Разряда нету. Я в токарной группе был одно полугодие, а потом ввели автодело...

Платон усмехнулся чуть, перебил:

— Что-нибудь выточил сам?

— Не...

Платон помолчал, раздумывая, потом сказал:

— К нам, брат, асы просят — не берем. Видишь, повернуться негде.

Поинтересовался, как у Алексахи с жильем, признался:

— Сказать откровенно, осточертели нам залетные асы. Поработают сезон и — до встречи на Черном море. — Вытирая ветошью руки, он помолчал, приглядываясь к Алексахе. — Вот бы тебе к кому в ученики, — кивнул он

на небольшого роста мужичка, который стоял за соседним станком. — К Леониду. Возьмет — считай, крепко повезло в жизни. На экскаваторе он работает. Сегодня в клубе орден ему вручают. Подойди, поговори...

Алексаха пришел в клуб задолго до начала. Прислушивался к разговорам. Оказывается, начало работы здесь у «дяди Лени» было куда драматичней, чем у него, Алексахи: направил отдел кадров к мастеру, а тот глянул и чуть не выругался вслух. Битюги с косой саженью в плечах зимой пасуют, а этот — в чем душа держится? — и заявился перед самыми морозами. Да еще в телогрейке на рыбьем меху, словно в насмешку. «Ну, и я посмеюсь», — решил. Привел к «раскулаченному» на запчасти и давно уже списанному экскаватору и, подавив смешок, выдавил: — Вот... Бери и работай.

И поскорее с глаз. Поищи, мол, мужик, дело полегче. А пожалуется начальству — скажет, что ошибся в морозном тумане, не к тому экскаватору подвел... А новичок с ходу составил опись — сорок деталей не хватало — и пошел не к начальству, а в ... мастерскую. Объяснил: так и так, разрешите после работы... И сам восстановил экскаватор! И сейчас все детали сам вытачивает...

Поздравил Алексаха «дядю Леню» с высокой наградой, вызвался проводить до дому. Разговорились.

— Говоришь, удивляешься: здорово хвалили, а я — грустный?.. Не те хвалили. Понимаешь?

Алексаха глянул недоуменно.

— Верно, в ночь-полночь поднимали — шел. Иногда смазки арктической не было, не трое, а пятеро суток не глушил мотора — работали с помощником в две смены круглосуточно. А по чьей вине ее не было, этой смазки? Или запчастей? Кто виноват, что из-за копеечных деталей раскулачивают новые машины и техника на миллионы народных рублей идет в лом?.. Кладбище техники видел?.. Так вот главный виновник — тот самый краснобай, что хвалил меня. Он прошляпит, а кто-то «геройствуй», расхлебывай кашу. Маскируй головотяпство... Сосед мой Рохмин на днях

погиб с горючим. А ведь он, буровой мастер, повез его потому лишь, что кто-то зря получает деньги.

— Он сам вызвался, — несмело вставил Алексаха.

— А что оставалось?.. Кто-то не завез горючее с осени, кто-то не распорядился, чтоб лед на трассе проверил специалист, если надо — нарастил его, кто-то... Словом, цепочка тут длинная. Вот и обидно, когда головоотяпство одних требует героизма, жертв от других!

Что-то роднило Леонида с Рохминым, и все-таки были они разными. Очень. Когда буровая осталась без связи, Андрей Михалыч ему, виновнику, хоть бы слово упрека! А Инга? Забыла НЗ, а Рохмин ее вину взял на себя. Вот это человек!

Словно читая на лице Алексахи его мысли, Леонид продолжал:

— Хоть бы он сегодня-то не лез на трибуну. Не говорил высоких слов. Понимаешь?

Разница жизненного опыта сказывалась: туго доходила суть до Алексахи. Но он нутром чувствовал, что Леонид прав и что ему можно верить. Сказал:

— Понял, дядя Леня.

Расстались дружески, но с работой на экскаваторе не выгорело: в ученики требовался шофер с правами.

Назавтра, в конце рабочего дня, Алексаха зашел к Платону. Тот, конечно, все понял, но деликатно молчал, обдумывая, не попросить ли начальство приткнуть куда-нибудь парня пока, временно. А о похвалах «не того человека» — уже по дороге домой — сказал так:

— Леонид, понятно, прав. Дельный он мужик, умный. Ничего не скажешь. Только все равно его правда, Алексаха, не вся правда. Головоотяпы — где их нет? На них, как торгашам на усущку-утруску, приходится скидку делать. Жизнь, брат, в массе людской всегда рождает и накипь, и героев. Тех, кто эту накипь время от времени снимает. Да.— И пояснил: — Где словом, где примером, а где и — пинком! — Он улыбнулся, подмигнул ободряюще.— Так не сетуй, а способствуй снимать ее! Ведь жить, созидать все едино надо.

Легко сказать — способствуй. Видишь, на глазах хичит человек, а — не ухватишь. Он, Алексаха, только у кадровика сообразил, зачем, избивая его, Санька орал: «Будьте свидетелями... Сам лезет!» Тем самым с ходу обеспечил себе и сочувствие, и защиту. А если такой выбьет-ся повыше? Да поднатореет? Обзаведется готовыми на все подхалимами? И Алексаха вяло возразил:

— Скорее, сам костями сбрыкаешь...

— Ну, а примиришься с накипью — сам ею незаметно станешь. И третьего, брат, не дано. Да. Ну, бывай! — свернул он к дому.

Алексаха по инерции пошел дальше. «За что избил скромнягу Цыпляткина?» — катят на него телегу, а он — молчи... Ради Инги. На радость накипи.

Кто подскажет выход?

Да никто!

Бродит взад-вперед Алексаха, думает. Спорит сам с собой.

Только в собственном сердце вызревают настоящие чувства и решения. И тогда подсказки не нужны. Бессильны. Ведь не зря ж за всем, о чем бы он ни подумал, кроется неизбежный разговор с Ингой. Будет он честным, мужественным — такой же найдется и выход. А слова... слова для разговора с Ингой тоже надо найти. Выстрадать.

Ходит Алексаха по ночному притихшему поселку и не слышит даже снежного скрипа под ногами — только удары сердца...

...Лишь под утро вздремнул Алексаха, но и во сне спорил то с Полярником, то с Рохминым. А проснувшись, посмотрел на случившееся со стороны и — как бы глазами Рохмина. Представил его глаза, голос: «А ты действительно любишь Ингу?.. А она тебя?» И еще суровой, отрезвляюще: «Променять нефтеразведку на тихий угол в мастерской?!»

Торопливо одевшись, Алексаха с утра отправился в отдел кадров.

— А, заявился! — ухмыльнулся кадровик.— Говори спасибо, никто из бывшей рохминской бригады не захотел в верховые... Чтoб завтра с утра как штык на вахту.



Только и видели Алексаху!

А Полярника будто подменили. Когда ожидали вертолет, он объявил: насчет сухого закона Рохмин был прав. И он де ничего не собирается ломать в порядках, установленных им. И на буровой Полярник повел себя совсем не так, как раньше, — на глазах преобразился от неожиданного доверия. Все время в деле, в хлопотах. Но еще большей неожиданностью было поведение Саньки. Он подошел к Алексахе как ни в чем не бывало. Выдал анекдот с бородой до пят и тут же, похоже, искренне удивился алексахиной отчужденности.

— Ты что?.. А! Да мало ль чего не бывает в жизни! Мы ж земляки, кореша! — И чувствуя, что Алексаха может взорваться снова, изобразил спешку и умчался куда-то.

Но сильнее всех удивила Алексаху Инга: вела себя так, словно и знакома с ним шапочно, как с клиентом столовой.

«Ну и черт с вами!» — обиделся он. Ну, с Ингой — понятно. Охмурил Санька — вот и льнет к нему. Изображает. Надеется женить на себе. А ему, Алексахе, подсунула роль дурачка, чтобы вызвать у Саньки ревность, и все такое прочее. Он все готов был простить Инге, но только не это.

Понял Алексаха и метаморфозу с Полярником: тот старше, опытней Рохмина, а приходилось ходить в помощниках. Вот и ершился. Кому-кому, а мне, мол, ты не указ. А теперь сам за все в ответе.

Лишь на четвертые сутки мастер соблаговолил его заметить.

— Чо пригорюнился? — неожиданно по-нарымски спросил Полярник, когда они остались в «Берлоге» одни. Можно бы уже и не выяснять отношения, да обида все еще была свежа, и Алексаха перечислил все свои претензии.

— Почему отказывался от тебя? — переспросил Полярник и посмотрел Алексахе в глаза, взвешивая, стоит ли воспитывать юнца. Сказал жестко, прямо: — Безусому максималисту, Алексаха, я предпочту даже алкоголика. Пьяный проспится, дурак — никогда. Слышал сие?.. Пока юный максималист поумнеет — пройдут годы, а мне, брат, скоро на пенсию.

— Так что, я, по-вашему, дурак? — с прямодушной откровенностью обиделся Алексаха — Ненадежной алкаша?!

— Суди сам: Санька — между прочим — прекрасный дизелист! — имеет виды на Ингу. Причем, взаимно. А ты из-за нее — на земляка и друга! — в драку. Подлец, то-се. Как это понимать?..

Полярник помолчал, почесывая пальцем бороду. Алексаха лишь ниже склонил голову.

— Я, каюсь, хотел выпить с мороза. Так у меня — годы. Здоровьишко — не твое бычьё. Не прогреешься — в ящик сыграть можно. Рохмин твой...

— Но ведь теперь и вы подтвердили сухой закон,— нерешительно возразил Алексаха.

— Да, но я не оставил буровую без связи и НЗ. Бо приучен доверять, но проверять. И не требую героизма... от других, из-за своих просчетов.

Вздыхнул Алексаха. Выходит, опять он один во всем виноват. Или просто жизнь намного сложнее, чем кажется?..

...Нет, уж в чем-чем, а в том, что никакие выпивки несовместимы с работой, с вахтой, он, Алексаха, убежден. Повидал всякое и всяких. Еще в совхозе. И нет им никакого оправдания. В любых условиях.

Полярник начал рассказывать что-то поучительное из своей жизни, Алексахе же на мгновение вспомнилось недавнее. Он впервые по-настоящему ощутил одиночество, когда вся бригада, закончив бурение, вернулась в поселок. Не сиделось в комнате и пойти — некуда, не с кем... Смотрел телевизор, а думалось совсем о другом. Ночью, мучаясь от бессонницы, он попытался разобраться: а, собственно, какие у них с Ингой были отношения?.. И рассудил трезво: да никакие! Так, одно его, Алексахино, воображение! О женьтибе он еще и в перспективе не думал, а девочки же это чувствуют, видят. Так что не в Инге дело. Сильнее переживал Алексаха гибель Рохмина и перемену в Полярнике: не то, что откровенничать, как вначале,— слова без металла в голосе не скажет. Даже не верится, что это он похлопывал по плечу: «Держись за меня...» Невзирая на особое распо-



жение к Рохмину, Алексаха убедился: Полярник как руководитель не слабее Андрея Михальгча. Чего ни коснись — все продумал, рассчитал. Вот и скважину сдают досрочно. И хоть Саньку Полярник оправдал, все же прищыкнул на него. Потому тот даже и поюлил немного перед ним, Алексахой... И кстати: какой ни есть он, а ссориться, откровенно говоря, уже не хотелось. Казалось бы, что ему Санька? Не сват, не брат, как говорится, не начальник. И человек, конечно, дрянцо. Но... друг детства, а в дальнем краю это больше, чем любой родственник где-то. И без бывшего дружеского общения и работа, и досуг не в радость. Уж такой возраст... И положение его холостяцкое. Но понял Алексаха и другое: он уже разошелся — и навсегда — с Санькой как другом детства; а, может, и с самим подзатынувшимся детством в своей душе.

И сейчас слова Полярника больно ранили его беспоконную, мятущуюся душу. У Алексахи даже подкатил комок к горлу, но усилием воли он подавил его.

А Полярник продолжал:

— Добрый психологический климат, Алексаха, в наших условиях — половина дела. Бо оно у нас суровое. Мужское.

«Выходит, я баба. Трепло?» — вертелось на языке Алексахи, но на этот раз он сдержался. И не напрасно. Полярник пояснил:

— Из тебя может выйти буровик. Может! — добавил многозначительно. Дескать, а может и не выйти. Но второй — а для Полярника главный — смысл этих слов не дошел до Алексахи. И хорошо, наверное, что не дошел. Молодости свойственно в жизненной смеси добра и зла первым замечать добро. И нетерпимость к слабостям других — от веры во всеислие, обязательность добра. Иначе в мире не было бы оптимистов, а без них как жить? И зачем? Но к этой мысли Алексаха пришел позже, когда, наконец, спросил и себя: «А какой я?.. Какой же ты сам, Алексаха?»

Ответа не было.

Еще не было.



Иринский Бор

Цикл рассказов

Наверное, у каждого человека есть речка, которую не заменить ни широкой красавице Волге, ни экзотической Лимпопо. Это речка детства, где все увидено впервые: и небо в ее зеркальной глади, и потешные рыбки в родной стихии и лилии с капельками росы на белых, с отблесками зари, лепестках. Мир красочный — многоцветный и таинственный. А и всего-то — цепочка озерушек то с кувшинками, то с камышовыми протоками. На высоком материчном берегу ее перед грозами сурово шумел сосновый бор, щедро посыпая землю желтыми иголками. Торную лесную дорогу пересекали выступы узловатых корневищ, которые не брало даже время. На другом, пойменном, берегу волнами перекатывалось цветное разнотравье. Пахло медом, иван-чаем, черемухой. От широкой опушки в хороводе берез разбегались по солнечным взгоркам дома... А дальше, за лугом, за курганами с раскидистыми соснами, Ира сбегала к Тагану, и Таган раздвигался вширь, щедро неся свои воды Оби.

Все междуречье — одна миллионная частица страны. Точка на карте. И ничем не знаменита она, эта сибирская глубинка. Но и Великий океан — из капель...

Только семь семей старожилы проводили на фронты Великой Отечественной четырнадцать человек. Десятеро из них не вернулись, выполнив ратный долг до конца. Каждая семья потеряла отца, мужа, сына... Я еще застал толпы нищих — калек и потерявших кормильцев на Первой мировой империалистической войне. И вот в наше время семьи крестьян, понесшие утраты более тяжкие, дали не нищих — врачей и журналистов, учителей и офицеров, механизаторов и слушателей военных академий, ученых... Ни природа, ни «судьба» не играли в этом никакой роли. И даже труд, не будь Октября: как бы ни трудились они,

люди глухой сибирской деревни, так и остались бы, отрезанные от путей-дорог прогресса и культуры, в лучшем случае малограмотными крестьянами. Исток их нравственной силы, их социального и профессионального роста, говоря словами поэта,— «построенный в боях социализм».

Крепкие корни па благодатной почве.

Как в капле воды отражается мир, так и в чертах людей одной из тысяч русских деревень угадываются характер, образ жизни поколения. Истоки его силы и слабостей. И сибирская «специфика». Особинки...

С Первой мировой отец принес обшарпанный, позеленевший немецкий полевой бинокль: игрушку детям. Единственный подарок. Взрослые иногда тоже брали его из любопытства, смотрели в окуляр — все приближали, увеличивали, а мы, мальчишки, наоборот,— в объектив: сильнее влекло ощущение необъятных просторов и дорог, как бы зовущих вдаль, в будущее.

Минули годы. Долгим и далеким рисуется уже не будущее, а прожитое. И на смену мечтам о «гуманных, неведомых даях» пришла потребность рассматривать мир ясней, отчетливей — до мельчайших прожилок в листке, до каждого оттенка в облачке...

Так родился этот цикл коротких рассказов. В сущности, один очерк: все истории объединяет и место действия, и герои, а главное — короткое, но емкое слово «быль».

1. ГОДЫ И ЛЮДИ

У МЕЛЬНИЦЫ ЖИВОДЕРА

Уж мало кто помнит, когда и чья мельница стояла на Тагане. Даже лиственничные столбы сгнили. А вот название омута — «У мельницы живодера» — живет.

— А тот мельник охотничал? — задает неожиданный вопрос в минуту бесклевыя белобрысый потомок деда Оси-

па, когда-то знаменитого рыбака, а ныне добирающего как говорит он, восьмой десяток.

— Не пропускал и зверя. Все хватал. Три дорогих ружья имел.

— А почему его прозвали живодером? Ведь он же шкурки не с живых снимал?

Дед Осип замылся. Ну как тут объяснить дотошному правнуку, что не о зверях — о людях речь?

— Да ведь потому и живодером стал, что не работал сам-от на мельнице, а охота была ему забавой. И шкурок сам не снимал, дичь не ощипывал — все работники. Батраки.

Ничего не понял правнук. Что-то путает, видно, дед.

— И мельница тут не могла стоять, — заключил он, настроенный критично. — Крылья задевали бы за деревья!

— Да ведь не ветряная, а водяная была мельница!..

Дед улыбнулся. Счастлив возраст, когда о мельницах знают лишь по рисункам в «Дон Кихоте», а кулак-живодер рисуется охотником с обидным прозвищем.

Эта сценка и побудила начать рассказ об Иринском Боре с тех лет, когда у «мельницы живодера» был хозяин.

«БЕЗДЕЛЬЕ ОДОЛЕЛО...»

Голод начала двадцатых согнал с насиженных мест в Сибирь миллионы крестьян. Волна стихийных переселенцев докатилась и до Иринского Бора. Работать они умели и не чурались никакого дела. Ходить по ягоды, грибы, прясть, ткать и шить исстари даже у женщин считалось делом праздничным, отдыхом. Бывало, задождит осенью, сядет жена рыжебородого Митрича за прялку, чтоб было из чего зимой ткать холсты, и заходящим изредка по разным делам соседкам поясняет:

— А я, грешная, бездельничаю сёдни!

— Да куда пойдешь, такое творится! — как-то успокоила ее Петровна, жена Осипа. — Я двор перебегла — промочла!

— И-и! Не сахарные, не растаяли б. Нет, не говори: безделье одолело.

Говорит она так, а руки только мельк-мельк. Ведь всех «семерых по лавкам» надо одеть-обшить. А вот у ручной висит рушник с алыми петушками. Не куплен — было вспахано поле и посеян лен, затем ее руками этот лен выдерган, разостлан, отбелен, трепан, нарядены нитки и выткан да вышит холст. И все это урывками, от «безделья»...

Целая стена в небольшой избенке деда Осипа отведена Почетным грамотам. Все они — за труд. Нет у Осипа других талантов. Сухопарый, жилистый, он и в праздники не признавал безделья: копошился то во дворе, то на огороде.

— Ну чо ты, деда, все в земле копаешь? — осуждающе протянул однажды внук.

— Да ведь копал бы в небе, да крыльев нету!

ПЬЯНЫЕ ПЧЕЛЫ

Держали ириноборцы-старожилы пчел. По две-три колодки, чтобы мороки меньше, а главное — хранить зимой проще: поставил их в подполье и дело с концом. А новыми роями-семьями делились с новоселами. Кругом вербы, малинники, кипрей на болоте, цветы лесные и луговые — и с немногих ульев на все хватало меда. Но вот и Абакум завел пчел. Тоже вроде немного — десяток ульев, а бочку меда отправил в город на продажу. У остальных же — как обрезо: самим пчелам на прокорм сахарный сироп пришлось делать.

— Поослабли ваши семьи, пообленились, — поучающе объяснил Абакум Осипу. — Опять же, не то разумение. И старание.

Задело того за живое: десять лет и старания, и разумения хватало, а теперь что?..

А Митрич даже книжку о пчеловодстве раздобыл, и один из сорванцов его пасечником замыслил стать. Почти-

тает книжку, потом схоронится в конопле у Абакумовой па-секи и смотрит, примечает, что да как тот делает. Учится. И однажды пристал к отцу:

— Тятя, а зачем он в питье пчелам казенку добав-ляет?

Усмехнулся Митрич: «Нашел дурака! Вода в бутылке из-под водки — только и делов». А сомнение все же зарони-лось, и, повстречав однажды в райцентре знакомого пасеч-ника, спросил, есть ли в том резон какой.

— С зелья не в луга летят пчелки, а в чужие ульи — во-руют мед.

Вернулся Митрич домой и — к Осипу. Тот выслушал, вздохнул:

— Знаю я, не по совести живет Абакум, да ведь за руку не пойман — не вор. Крылья-т у пчелок не мечены.

— Ничо! — тряхнул бородой Митрич.— Настоящий-то вор без крыл. Теперя от нас не улетит.

«ЖЕРЕБИЙ»

Созвал Абакум сход для передела сенокосов — не по едокам, как раньше, а по головам скота.

— Потому как,— пояснял,— не людям сено ись, а ско-тинке.

Делили паями: пай на корову, пай на лошадь, пай на десяток овец. Сворачивает Абакум бумажки для жеребьев-ки, объявляет:

— Коломинская грива — десять паев.

— Большой Елбак — двадцать...

— Елбак особо делить надо — там почти сплошь осот,— подает голос Осип.— Что б по паю, по два на двор.

— А ни у кого и нет столько паев, сколько у меня,— успокаивает его Абакум.— Мои коровенки не баре, сжуют потихоньку и осот.

Наконец все луга учтены. По кругу пошла старая шап-ка Абакума.

— Налетай, православная! — аж приплясывает он.—
Пытай шпашать!

Абакум берет свой жребий последним. Но вот уж везет, так везет: с Большого Елбака у него не оказалось ни одного пая, зато вся Коломинская грива ему — сплошь цветное разнотравье. И близко к дому.

Абакум тотчас уловил ропот недовольных. Улыбнулся: — Жеребий есть жеребий. А уж как не повезет, то...

Начали расходиться люди. А Митрич, покуривая, внимательно наблюдал за Абакумом и подметил, что тот вынул свой «жеребий» из прорехи: подклад у шапки чуть подпорот. Шепнул об этом одному, другому.

— А ну, кажи свою шапку,— насели на него. Проверили. Так и есть!

— Смотрите! — показал Митрич.— Этак можно и последним брать!

— Сама в прореху попала! — сгоряча начал оправдываться Абакум.

Проверили: не могла сама... Вспомнили «пьяных пчел» и многое другое, суд состоялся скорый и единоголосный: братцы, бей яво!.. Заслоня Абакума, племяш его Кирьян тоже кинулся в драку, но Митрич спокойно, как малому, заломил ему руки за спину и сказал наставительно:

— Не встревай. Не пьяные бьют, а мир. Высший ёрган.

И Кирьян, делая вид, что рвется на помощь Абакуму, визжал:

— Зарежу! Усех за дядюшку порежу, порешу!

В толкотне, где злые выкрики перемежались со смехом, сухопарый сильный Абакум изловчался то перехватывать руки, то приседать, выбирая момент сковырнуться на землю, а лежачих не бьют. Но все понимали это и не давали ему упасть, подхватывали. Одни били, припоминая прошлые грехи-обиды, другие не снисходили до нравочений.

— Ну, буде,— остановил расходившихся мужиков Митрич.



Абакум сплюнул выбитый зуб, размазал кровь из носа по всему лицу и, держась за грудь, простонал:

— Люди-звери!.. Ты бей, а рубаху-то рвать пошто?

Митрич не удержался, рассмеялся: чем богаче, тем скупее... Не ребра — рубаху пожалел!

Луга переделали снова. Теперь пророчество Абакума сбылось: почти половина осотистого, с будыльями Елбака досталось ему.

Приехал председатель райземкомиссии, и товариществу по совместной обработке земли сход выделил, как полагалось, землю одним клином.

Долго сказывался Абакум больным. «Дело о смертоубийстве», сочиненное Кирьяном, дошло до районного начальства, приезжал милиционер, но Абакум так и не признался: кто его бил и за что. Куда, решил, одному против «мира»?

Такой уж, значит, выпал ему «жеребий»,

СТИХИ ЯЗЫЧНИКА

Медленно и трудно порывала деревня с бескультурьем и невежеством. У «колдуньи» Петровны, строгой, сухонькой старушки в неизменном черном с оборками платье, многие болящие пользовались травами, словом-заговором. Ни присух, ни порчи-сглаза за ней молва не водила, а вот прошепчет слова тайные да сплюнет через левое плечо три раза — и будто любая боль идет на убыль.

Свой обряд она совершала деловито, строго, не вступая при этом ни в какие разговоры.

Войдя, Петровна осеняла и себя, и больного крестным знаменем, выслушивала жалобы, где что болит, и, оставшись с больным одна, начинала говорить речитативом-полупшепотом, покачиваясь в такт словам, все убыстряя ритм и, словно глухарь па токовище, никого уже не видя и не слыша. Хоть кричи: «Пожар!» — не моргнет и глазом.

Такая у нее вера в «тайное» слово и предписанный издревле ритуал.

— Красным солнцем оболокусь, светлым месяцем опоясаюсь, частыми звездами украшуся и пойду во широко поле, в широко раздолье, на окиян-море, утоплю болесь в его пучине... Будьте, слова мои, крепки и лепки, пуще огня палючего. Чтоб водой их не вымыло, ветром не выдуло...

..Белые стихи! Языческая поэзия!.. И кажется невероятным, что и за тысячу лет христианства на Руси никто не заметил — заговор «безбожен», его автор верит лишь в силы природы да в свои собственные: «Пойду... утоплю».

— А теперь — баньку! Стоплю с травой духмяной, с венничком свежим. Попаришься, настойку чаги да почек березовых примешь — и как рукой все сымет! — заключает Петровна свой курс лечения, втайне надеясь только на нее, баню, да на березовый настой...

ИЗВЕЧНЫЙ КОНКУРС

Разных людей, из разных мест, собрал с Руси Иринский Бор.

Надумали переселенцы сообща рыть колодцы: вода холодней и чище, а главное, и зимой, и летом под рукой, во дворе. Собрались, кинули жребий — кому первому. И вот кто землю роет, кто ствол долбит, — чтоб трубой уходил вглубь.. Подошли приезжие ягодницы, спросили:

— А где счас воду берете?

— На питье — в поточине, — ответила самая бойкая.

Смотрят сибирячки непонимающе.

— Чишма такая, — пояснила другая, уральская.

— Плакун, — помогла саратовская. — Вон у той баньки.

Оглядываются чалдонки, смущенно пожимают плечами.

— Гремяч, — подсказала четвертая, с Волыни.

Не понимают сибирячки, мотают головами.

— О господи! — приходит на помощь пятая. — Да скажите вы людям по-русски: родник!

— Ключ, бабоньки, ключ там! — обрадовались ягодницы и холодной чистой воде, и тому, что, наконец, поняли.

А как только ни называли окрестные болота!.. Зыбун и дрягва, гать и дрема, водожилина и бездонье, ржавец и багно... Многие годы шло незаметное постороннему глазу состязанье: чье речение выстоит, чье сгинет?.. Часто победителя так и не было: слова как-то притирались, приобретая лишь оттенки. И «попынья» уживалась с «живцом», «талъцом» и «опариной», а «горизонт» — с «окоемом» и «оглядью».

ВЕРСТА И ЕЕ ГАК

Поэт Василий Пухначев любил рассказывать сибирские побывальщины. Вот одна из них: «Далеко ли от вас до райцентра?» — «Да всю жизнь было десять верст. А черт землемера принес — восемнадцать намерял. Теперя уже десятый год лишние восемь верст ходим...» Многие принимают эти «лишние» версты за чистую монету. Не до всех доходит юмор сибирского хитрована.

— Далеко ли до ваших малинников? — спросила старожилка деда Осипа ягодница из райцентра.

— Да верста-друга с гаком, — небрежно бросил он,

— Ой, хорошо! Совсем близко.

А другая, поопытней, уточнила:

— А велик ли гак-то?

Поглаживая бороденку, дед Осип в раздумье протянул:

— Да гак, он на то и гак — не мерян. Два песка, по-нашему, на обласке надо ехать.

— За рекой, выходит, да за болотом?.. А верста... — упавшим голосом спрашивала опытная, — это километр?

— Да не... Километр с гаком.

«Верста-другая» и без гака — это, конечно, тоже не одна-две версты, а расстояние до десятка километров. И так со всеми мерами.

...— Ладно ли половилось? — спросят у деда после рыбалки.

— На уху добыл,— из скромности или от исстари укorenившейся привычки приbedняться отвечает Осип, хотя несет рыбы с пуд или больше.

ИРИНБОРСКИЙ ФИЛОСОФ

Хотя колхоз был рыболовецким, но держал и молочно-товарную ферму. После войны накупил сенокосилок — и конных, и тракторных, отпала нужда в ручной косьбе. Сидят на стане мужики, ожидают, пока сено подсохнет,— довольнешеньки. А Осип вздохнул тяжко:

— Уж что я любил, то — покосить. Будто праздника лишили.

Бригадир, казалось, только этого и ждал, обрадовался:

— А я горевал: по-за кустам травы сколь остается!.. Бери-ко косу и — празднуй!

— По-за кустам? Одиночкой?.. Не. Не тот коленкор. Размах душе нужен!

Прошел он по нескошенной куртинке, обронил:

— Большие тыщи трав разных на земле. И у каждой — своя тайна, своя польза. Все кому-то для чего-то надобны!

...И пещерный человек, наверное, так уже думал, а она, эта мысль, все еще живет, волнует и ждет ответа.

ВАСИН МОСТИК

Поделила Иринский Бор надвое неширокая падь: в ней кочкарник, грязь. А по весне и вода — от Иры до самых болот притаганных. Не одно поколение ходило здесь по случайным валежинам, гибким жердочкам. Перебрался как-нибудь — и ладно! А некий Вася взял топор да срубил мостик из бревен, скрепил их как умел. Шли годы; трухлявились кряжи, разносили их половодья. Много людей починяло потом мостик, не однажды «мирор» делали заново,



а он так и остался Васиным. По имени того, кто догадался потрудиться для всех первым.

МЫС ХАМАР

Сибирякам волею судьбы издавна присущ интернационализм. В Иринском Бору и окрестных деревушках не один век бок о бок жили русские и татары, а затем и украинцы, калмыки, ханты. В говор основателей деревни — выходцев с Северной Двины и Печоры — незаметно, органично входили слова, понятия иноязычные.

Из Казахстана, где издревле жило много калмыков, торговые караваны которых в XVII—XVIII веках почти ежегодно приходили в Томск, в двадцатых годах приехал в Иринский Бор Хасыр Бадмаев с женой Босей и сыном Басангом.

— Откуда сам-то родом? — спрашивали его порой.

— Илис, — отвечал он кратко. Иногда пояснял: — Песчаная.

Грамотеи из ребят постарше связали «Илис» со среднеазиатской рекой Или, знакомой по школьному курсу географии, и лишь спустя многие годы я понял: так Хасыр Бадмаев называл Элисту, нынешнюю столицу Калмыкии, близ которой и дед, и отец его пасли хозяйские стада. А в Казахстане, на своей прародине, не остался он почему-то, стал кочевать по древнему торговому пути да так и прижился в Иринском Бору.

Басанг погиб еще на Халхин-Голе, Хасыр и Бося умерли в пятидесятых, а самый высокий, заросший ивами мыс в излучине Иры и поныне называют по-хасыровски — Хамаром. Название это удачно ассоциируется с хмарью, царящей в чаще старых ив.

СТАРЫЕ ВЕЩИ

Не у каждого крестьянина подымалась рука выбросить вещь, хорошо послужившую; десятилетиями скапли-

вались они на чердаках изб, амбаров. Случалось, уезжали люди, а расколотые прялки, дырявые берестяные лукошки, тески — оставались. Но среди ворохов поделок из бересты и лыка, переживших много поколений, не встречалось лаптей. Не была Сибирь помещичьей, не была и лапотной!

...И всем бы взяли пластмассы, но когда видишь грибка с ведром из синтетики, вспоминаешь лукошки те, древние, берестяные: ведь они сквозь лесным воздухом дышали!

КЛАША

Она была первой вдовой в деревне — еще «хасанской», как говорили соседки: муж погиб в боях у озера Хасан. Сама молодая да трое братьев-мальчишек на руках. Жалели все Клашу, но от нее самой никто не слыхивал ни «ахов-охов», ни жалоб на судьбу или доставшихся ей сорванцов. Всех обувала, одевала, отправляла учиться в школу. Сама на неводе колхозном рыбачила. Вручную. Работа мужская, тяжелая, да не по душе, не по характеру ей были легкие. Братишки подросли старшие — Василий и Сашка; прибегут в субботу из школы — один за ружье, другой за снасти рыболовные. Минуют сутки — дома горка уток или косачей, смотря по сезону, гора рыбы. Вернется Клаша с работы потемну, подоит корову, все почистит, приготовит, что надо для ученья на неделю, а уж тогда соснет два-три часа — и снова на невод. Без нее уходят мальчишки в райцентр.

Перед Великой Отечественной вышла Клаша замуж снова, но братьев не оставила. Бедновато жили, но дружно.

— Да сдай ты их в детдом, — как-то посоветовали ей женщины с центральной усадьбы.

— Не говорите! И слушать не хочу! — замахала она протестующе руками. В своей-то деревне, зная ее, никто и не заикался об этом.

Родился сын, а мужа проводила на войну. Вскоре за ним — и старшего брата, в конце войны — второго. Никто из троих не вернулся...

А Клаша по-прежнему и дояркой, и на сенокосе успевает, а надо — и рыбакам подсобит.

— Все не унываешь, Клавдия Ивановна? — дивятся иной раз вдовы.

— А что теперь?.. Слезами не вернешь никого. За то и погибли, чтоб мы с вами жили — не тужили, а радовались.

Навернутся на глаза ее слезинки, а она — песню. Вырастила сына, выучила, женила. Когда вышла ей пенсия — сто рублей — сказала:

— Вот теперь и отпуск можно брать. По югам ездить! — и укатила на курорт.

Впервые в жизни.

Таких любое горе и беда не согнет, не надломит.

И если старит время, то, как говорит она, «с оглядкой: ладно ли я делаю?»

На таких стояла и стоит Россия.

ТРЕТЬЕСОРТНОЕ ВЕСЕЛЬЕ

Собрались ириноборские мужики в День Победы, вспомнили, как водится, погибших родичей, друзей, а потом возьми и брякни кто-то присказку: «Веселие Руси есть пити...» Митрич все отмалчивался, а тут вдруг закатил речь:

— Знаете, мужики, много добывал я смолоду-то пушники. Бывало, идешь с ружьем по тайге — душа поет, радуется. Не то зверьку или следу — каждому дереву рад. Оттого, считаю, и везло. Да. И вот, как сейчас помню, родился у меня второй сын, и впервые прихватил я на охоту фляжку. Стал перекусывать днем всухомятку, дичину и чай я только вечером, в зимовье варил-кипятил,— пояснил Митрич.— Выпил, словом, и чую — не та уж радость от охоты, леса. И весело вроде, да только и веселье другое, легкомысленное

какое-то, пустынькое. И уж не о деле думаю, а не вернуться ли да поспать?

Не добыл я, понятно, в тот день ничего больше. И с тех пор ни разу свою охотничью и рыбацкую, словом, трудовую радость не променял на винную... Запивают, считаю, те, кто не нашел своего дела, работы по душе и не изведал от нее настоящей радости, а значит — не понял и вкуса жизни.

Митрич помолчал и как бы поставил на этой теме разговора крест:

— Хмельное веселье — минутное, пустое. Третьесортное. А присказку ту, не иначе, бездельник придумал...

СЮРПРИЗ

Это слово в Митричево семейство занесли приноборские студенты, подарив двум именинникам цветные карандаши и тоненькую книжку с картинками и, как водится, потеревив именинников за уши. Впервые получили ребятишки-дошколята «фабричные» подарки в день рождения, да еще от чужих дядей. Вдвойне неожиданно и приятно. Сюрприз, стало быть. И другим завидно. Ленька сразу пристал к брату Петьке:

— Сделай мне сюрприс...

— На! — и подрал малышу ухо.

Это стало для него игрой, баловством. Садится брат за стол, а он незаметно отставит стул и потом еще хохочет:

— Это называется сюрприс.

Один Петькин сюрприз и поныне помнит вся деревня. Вернувшись из армии, своей зазнобе Таньке он сказал по секрету: «Завербовался па Север. Жди. Вернусь с таким сюрприсом — у всех глаза от зависти лопнут».

Надумал подкатить к невесте на собственной машине.

Но... потянулись годы. Петька даже в отпуск не поехал, компенсацию деньгами получил. И хоть письма от Таньки приходили все реже, суше, он успокаивал себя: «Ничо! Зато...»

Дождался. Приплыл в родные края на попутной барже-самоходке и, не заворачивая домой, вкатил на «Запорожье» во двор своей Таньки.

— Вам кого? — не очень приветливо встретил его незнакомый парень.

— А это не твоего ума дело! — отбрил Петька парня. Но тот стоял в двери, и Петька снизошел до объяснения:

— К Таньке я. Своей невесте. Понял? — и попытался пройти.

— Была твоей невестой. Теперь — моя жена. Так что поворачивай, женишок, оглобли.

«Вот это сюприс, так сюприс...»

УРОК МИТРИЧА

Пятиклассник Петька, четвертый сын Митрича, принес табель с оценками за полугодие. Посмотрел отец, повертел его так и сяк небрежно и подозвал всех, кто случился в эту пору дома.

— Ну-ко, не вижу без очков, что тут? Пять вроде? — тычет он в оценку.

— Дво-ойка! — хором выдают Петьку им же обученные цифири шустрые дошколята.

Хоть провались сквозь землю!.. Не добродушного отца боится Петька, а языкастых братьев и сестриц. Разнесут теперь по всей деревне!.. Смотрит он в пол и краснеет. А Митрич, заметив в окно, как на березовый мыс Культуг опустилась стая косачей, вспомнил старое Петькино оправдание сплошных троек: «Я охотником буду!», спросил:

— Дичины хошь?

— Ничо бы,— веселеет проголодавшийся Петька.

— Принеси.

— В сенцах? — резко кидается мальчишка к двери, изображая послушание, чтобы поскорее замять неприятную историю с двойкой.

— В лесу!

Под суровым взглядом отца Петька скисает, молча натягивает шубейку, берет ружье и уходит. На березовой опушке бора, как угли, чернеют косачи. «Подвезло!» — радуется он, подбираясь к ним из ельничка, с подветренной стороны, как учил отец, и — «Бах! Бах!»

...Вернулся Петька, небрежно швырнул косача на лавку, к меньшей братии. «Вот, мол, как я-то, а то — двояк!»

От Митрича не ускользнул его зазнаистый жест.

— Выходит, и в охоте подсказок ждешь? Два раза бахал, а одного?

Петька молчит, знает: отец и одним выстрелом, случается, двух снимает...

РОЖДЕНИЕ ОХОТНИКА

Мороз сковал тихоструйную Иру и размяк, подобрел. У песчаного яра над полыньей-талцом курится пар. Свежий снег и солнце до слез слепят глаза, воздух пьянит, манит в притихшие чащи. Вышел Митрич из избы, постоял у крыльца — не одетый, без шапки. Набрал полную грудь воздуха, расправил плечи и в раздумье зажал в кулак широкую, как лопата, бороду. И в лес хотелось, и других дел по хозяйству было много. Лайка Пальма, помахивая хвостом, вилась у ног, взвизгивала от нетерпения.

— Не егози!.. Ладно, однако, потешим души.

Петька, главный помощник отца, по случаю воскресенья дома. Собрались с ним в одночасье. За бором, в конце распадка, заросшего молодым ельником, Петька взобрался на разлапистую сосну, рассчитывая «щелкать» зайцев, поднятых в логу Пальмой. Но что-то отвлекло Митрича от лога. Петька продрог, сидя без движения, слез с дерева, потоптался и притих, размышляя: а не махнуть ли куда за косачами?.. И тут заметил на полянке поодаль мышкующую лисицу. Припадая к земле, она стремительно, азартно зарывалась мордой в снег, прыгала. Холодным пламенем рдело на снегу ее гибкое тело. Но стрелять бес-

полезно — далеко. Надо ждать. Авось... На всякий случай Петька примерился, взял лису на мушку. Вдруг та насторожилась, повела носом и — метнулась не к Петьке, а вбок. Петька не успел и сообразить, почему, целясь уже в пустое место, нажал на спуск, как от выстрела из оврага рыжий ком перевернулся в воздухе и пал наземь. Стараясь шагать как можно равнодушнее, медленней, Петька не сводил глаз с неподвижно лежавшей лисы: в оголившихся стиснутых зубах хищницы еще вздрагивала лапка мыши. Увлеклась...

Со стороны оврага к лисе подходил Митрич. Глядя на вытянувшееся лицо Петьки, подумал:

«Переживает, варнак!» Ему вспомнилось, как в прошлом году, на подходе к деревне, сын елейно попросил: «Устал, поди, давай я поднесу», — и картинно обвесил себя отцовской добычей. Погасив невольную улыбку, Митрич заговорил теперь с нарочитой досадой:

— Смотри-ка, враз по ней саданули. Но я, кажись, обвысил.

— Я не успел прицелиться, — пробурчал Петька. — И далеко...

— Но-о? Ну, все едино. Подыми. Неси.

Петька чуть качнулся к лисе, но не шагнул. Сначала подозрительно, потом оскорбленно посмотрел на отца и повернул в березник. За косачами. Авось и сам... Митрич смотрел вслед его маленькой фигурке с качающимися в такт шагам рыжими ушами колонковой шапки, думал: «К лисе подходил мальчонка, а отходит — охотник».

ГОРЕ ЛУКОВОЕ

Еще мальцом был Степка Вялов — дважды писали о нем в газете: то медведя убил у самой деревни, то белок больше мужиков добыл. А подрос — как обрезало. Вернулся раз с охоты и захлеб рассказывает о схватке медведя с лосем:

— Медведь ка-ак прыгнет! А лось ка-ак сбывчится и...
Слушал его отец, старый таежник, слушал и перебил:

— Промазал?

— Пошто? — непонимающе посмотрел на отца Степка.

— Испужался?

— С ружьем-то?— удивился Степка.

— Но. Не стрелял почему?

— Здорово дрались. Красиво. Засмотрелся я...

А в другой раз, вернувшись с косачинога тока, начал он расписывать, как «расфуфырился» косач около тетерки.

— Ка-ак начнет: «Чуф-чуф-фыррь...» — Где он? — прервал Степку отец.

— Кто?

— «Кто, кто!» Косач, говорю, где? Теревить надо, жарить.

— Забыл я...

— Косача? Где?.. Сбегай!

— Про ружье...

— Ну, охотник! Хоть плачь, хоть смейся: он про ружье забыл! Ну, не скажи ишо кому — ведь засмеют. От беда мне с тобой, Степка, так беда... Горе ты мое луковое!

Художником стал Степка. Выставлял свои картины и в Москве, и за границей.

«ДЕГТЯРЕВ» В ЮБКЕ

— Опять аверьяновки заместо желудошных притаргал! Погибели на тебя нету! — поносит безответного Митрича бойкая на язык жена его Матрена.

— Не шуми,— пытается объяснить что к чему Митрич,— а послушай. Валерьяновка всех одинако пользует, а желудошные, они, фершал сказал, кому каки. Без дохтура ишшо отпраився, грит...

И верно: выпила валерьянки — как рукой хворость сняло.

За язычок Матрену с младости называл Митрич осой, а вернувшись с войны, возвысил ее до «Дегтярева в юбке»*.

Как-то в самом благодушном, праздничном настроении пригласила Матрена проходившего мимо председателя:

— Заходи, Феофаныч, чай пить... Да нишкни ты! — оборвала похныкивающего у подола внучонка. — А то бабай придет в мешок посодит!

— Некогда, — отмахнулся председатель. — Клевер сеем! И...

— Тонька, холера, баган борову одень! Кому талдычу! — не дослушав председателя, круто возвысила Матрена голос на дочь-школьницу. Та мигом накинула хряку веревку с обрубком жерди, чтобы не забрался в огород. — Вот так и клевер — навродь багана под ногами у нас путатса. На што его? И без сеяных трав в пойме — не перекошишь!

...И впрямь «Дегтярев»: всех троих, не переводя дыхания, секанула одной очередью!

И вот удивительно: случалось, срывались с языка Матрены слова грубые, несправедливые, а не обижались на нее соседи. «Так его, Матрена, так!» — подбадривали с улыбкой ее, даже неправую. Понимали: такая уж натура. Ругалась без злости, с откровенно озорным весельем. А может, просто многое прощалось человеку за своеобычное, вдохновенное мастерство и в такой вот малости.

НЕОТРАЗИМЫЙ ДОВОД

В разгаре весна света; над проталинами уже дрожит зыбкое марево, под снегом звонко журчат ручейки. Вот-вот тронется лед на речке. Ну разве в такой день удержишь шумное ребячье племя в душных избах с двойными рамами?

Но Митричева Матрена неумолима:

— Опять ведь захыхчете, эка мокреть кругом!.. Ни листочка не проклюнулось, а их, прокудников, уже в лес лесшак тянет.

* Имеется в виду ручной пулемет системы Дегтярева.

— Да мы не в лес, мы на речку!

— Мило дело! Реколом начинается, сляка...

— И вовсе не сляка, а солнце! — жалобней всех канючит младший из мальчишек — Ленька.

— Да кто же шастает в этакую мокреть, да еще у реки?

— Да, а когда ты маленькая была — совсем без спросу убегала на ледоход, — не выдерживает Петька.

— Откуда взяли?!

— А ты сама Петровне рассказывала!

Вспомнила Матрена. Сдалась...

А что делать? Неотразимый довод. Она даже порозовела от смущения, словно ее уличили в чем-то нехорошем.

«ГЕНЕРАЛ»

Приехал доработать год до пенсии новый лесник. Лицо красное, борода белая. На фуражке и в петлицах — дубовые листья, за плечами ружье в парусиновом чехле. «Прямо енерал!» — покачал головой дед Осип. Да как прилепил. Заглаза вся деревня стала называть осанистого лесника генералом. И впрямь — дело повел строго: сам поштучно отбирал деревья.

— Дедушка, а вы взаправду генерал? — запрокинув голову с белесыми косичками, простодушно спросила его внучка Петровны Катька.

— Генерал и есть, — бодро отозвался тот. — Вот мои солдаты, — повел рукой в сторону леса. — Скажу любому дереву: «Умри во славу Родинь» — умрет!

Минул срок — замены леснику не прислали. Кому случится надобность — шли к нему же. И порой не вставая с печи, он растолковать мог, где что рубить: похуже — на дрова, а где на тес или, к примеру, осину или осокорь для обласка. И вместе с пенсией продолжали слать ему бумаги деловые.

Так и не ушел в отставку «генерал» — хозяин бора Иринского.



...ЕГО ВТОРАЯ АРМИЯ

Любил «генерал» лес неброской, но действенной любовью. Очистил его от всяких порубочных остатков, расселил «санитаров леса» — муравьев. При нем перестали мальчишки зорить птичьи гнезда, и бор ожил, посветлел.

Однажды, усадив на лужайке всю деревенскую ребятню, он повел свою очередную беседу так:

— Жили когда-то в Сибири сто Сосенок-сестренок и один брат-Кедр. Прослышали безымянные сестры, что в дальних землях всем дают красивые и звучные имена, и разбежались по свету. Имена-т им дали — Веймутова, Пиния, Пицундская и прочая, только нет им воли, простору сибирского в чужих краях. И хоть ту, что осталась на родине, назвали сосной Обыкновенной, они-то с Кедром и есть самые необыкновенные. Дружные да всем нужные. И помочь бы им, ребятки, надо.

— А как, дедушка?

— А берите по посудинке и таскайте под навес сосновые шишки.

Разбежалась по бору легкая на подъем ребятня.

...Оказалось, по привычке большой план сбора семян «спустило» лесничество пенсионеру. И придумал он помощницу-сказку.

Что ж, может, кто-то из ребят и запомнит ее, нехитрую, и пронесет через всю свою жизнь. А лес, он всегда будет нуждаться в помощи человека.

ПУД РЫБЫ

Удили в Ире лишь ребяташки. А однажды от пенсионного безделья сам «генерал» присоседился к внуку Аркашке. Удилище вырубил посолиднее, под стать выбрал и крючок. На середину омота закинул.

Аркашка у берега хоть мелюзгу нет-нет да и вытянет, а дед подсек раз окунишку, крутнулся тот над водой и — бултых обратно.

— У-ух! На полкила! — заключил внук по всплеску.

...Вроде клюет, а вскинет дед удилице — пусто. Это мальки по клочкам растаскивают крупную наживу. Но он держит марку завязтого рыбака, то и дело вздыхает:

— Эх! Опять... Пожалуй, не мене того сорвался.

Дотошный Аркашка ведет строгий учет.

— Уже три кыграма сорвалось!

И вот, собрав улов — коту на завтрак,— они идут домой.

— Мам! — от калитки кричит Аркашка.— Пуд рыбы имался!

— Ой, какие вы у меня молодцы! — выходит навстречу обрадованная мать.— А где она?

— Вот! — трясет Аркашка пятком ельчиков величиной с палец.— А пуд сорвался. У деды.

ВЕНЕЦ ПРИРОДЫ

Гнался за маленькой лесной птахой ястреб; уж какие кренделя она ни выписывала — не отстает, вот-вот схватит. Увидела птаха человека — и на грудь ему; разметала крылья, раскрыла клюв, еле дышит, так умаялась. А ястреб круто взмыл ввысь. Исчез без оглядки.

— В тяжкую пору идут к людям лоси, зайцы и другое зверье,— отпустив птаху, внушал внучонку Аркашке «генерал».— За помощью от голода и ран... А то, бывало, детеныш запутался в сети... Идут с верой: поможет человек в беде. Потому как он — венец матушки-природы. А чем ты умнее да сильнее, тем должен быть справедливее, добрее.

И, смерив пораженного случившимся на его глазах мальчонку взглядом, мотнул головой:

— Так-то, брат! — и, ткнув пальцем в небо, повторил торжественно: — Венец!

«ВРЕШЬ, НЕ ВОЗЬМЕШЬ!»

Учились ириноборцы в селе — по прямой километров пять. Только прямо там, по словам «генерала», и вороны не летали. Село было за Ирой и Обью, за поймой. Дорога к Оби шла по лесу и лугам, в обход болот и непролазных согр. Буран или падера, мороз или дождь, а идти или идти и плыть на лодке надо. Если утром — затемно, вечером — в ночь.

Провожая детей в непогоду, взрослые вели себя на удивление по-разному. Петровна торопливо, издали крестила внука, бросала: «С богом» — и отходила, шевеля губами.

— Ой, обождали бы денек! — всплескивала руками Анна Васильевна, жена «генерала». — Не на пожар. Не уйдет ученье-то.

Осип суетливо наставлял сына, а потом и внука:

— Уши-то у шапки опусти! А защиплет — сразу три снегом. Сразу!.. А шарф-то! Чо есть, чо нет! Ой, горюшко мое!..

Митрич не снисходил до проводов. И вообще считал так: «Тяжелей достанется оно, ученье — дороже будет». Лишь однажды, в половодье, посмотрел на белые барашки волн, гуляющих над лугами и болотами, и, хмурясь, сказал сыну:

— За борт захлещет — правь поперек волн. — Смерил его, растерянного, глазами, добавил: — И ори: «Врешь, не возьмешь!»

...«Орали» не только волнам, но и пургам, и морозам под пятьдесят. Помогало. И теперь, спустя десятилетня, в тяжкий час нет-нет да и донесутся голоса из дали лет: «Врешь, не возьмешь!»

И станет легче.

ЦАРИЦА ТАМАРА

На старых гарях, заросших уже столетними соснами, устояла от пожаров веков минувших, от топоров бесчисленных поколений сосна в три обхвата. Как только ни называли ее! И Ровесницей Ермака, и Родоначальницей бора Иринского, и даже почему-то Царицей Тамарой. За красотой и мощностью давно перестали замечать в ней древесину, годную на доски, на дрова... По мешку шишек — семян враз собирал под ней «генерал». В ее тени отдыхали грибники, ягодники. Не проходили мимо без «ух, ты!» мальчишки.

Но вот заболел бывший лесник и умер, и появился в осиротевшем бору человек с бензопилой. «Ух, ты... сколько кубиков в одной!» — только и подумал он, включая мотор. Рухнула Тамара, родоначальница бора, и еще раз осиротел лес...

Впервые вспомнили тогда о хозяине бора не как о «генерале»: «Будь Владимир Иваныч жив, сказал бы: «Не царица, а труженица это великая, мать-героиня. Не один бор на земле российской шумит памятью о ней. Не смей, варвар, пальцем трогать!»

И с тех пор стали вспоминать лесника только по имени-отчеству.

ВЫШЕ ГЕНЕРАЛА

Племянш Абакума Кирьян за тридцать лет ни разу не подал вести о себе. А когда появился к единственной оставшейся в живых родственнице, она сказала:

— Тебя уж забыли все. А борода-т побелела!.. Как у нашего «генерала».

— Ничо! Я всем напомним, — бодро заверил ее Кирьян. — А пенсионер в колхозе — выше генерала: только и делов — указуй да критикуй. И ни уволить, ни понизить. Некуда!

Когда пенсионное безделье Кирьяну осточертело, он доложил председателю: пчеловодом, мол, было дело, трудился. И в кукурузе смыслю, добавил. Чтоб не подумали — к медку тянется.

— Очень хорошо. Спасибо! — обрадовался длинный, как жердь, председатель Першуков.

На правлении зашел спор: одни на пасеку, другие на кукурузу хотят заполучить Кирьяна. Тут встал агроном, из горожан.

— Неизвестно кого, пенсионера, на пасеку?.. Ему медку захотелось, а загубит пчел — с кого полетит стружка?.. А консультантов по кукурузе своих хоть отбавляй. Все умные, все газеты читают.

И то верно. Отказали Кирьяну. Агроном и объявил ему об этом.

«Ах, так!» — сказал про себя Кирьян. И в тот же день наготовил торфоперегнойных горшочков, посадил кукурузу, выставил на подоконники. Поливать стал два раза в сутки. Понятно, приударила кукуруза в рост — хоть потолок разбирай. А не высадишь: по утрам еще ледок хрустит под ногами. Составил Кирьян горшочки на пол, обошлось. К посевной дверь низковата оказалась, пришлось кукурузу через окно спускать. Зато на огороде вдоль улицы враз выросла роща! Когда на колхозных полях кукуруза чуть закустилась, у Кирьяна уже початки молочно-восковой!

Увидел это чудо фотокорреспондент из областной газеты — снимок дал с подтекстовкой со слов Кирьяна. Председатель за позорное отставание от пенсионера и пренебрежение к его опыту схлопотал выговор. Вернувшись из района, он надел на Кирьяна:

— Химичишь? Воду мутишь?! Славы захотел?.. А Кирьяну что? Спокойненько отвечает:

— Не славы, а мамалыги. И зерна для курей.

Так ни до чего они и не дотолковались.

Вскоре приехала агитбригада из Томска. Страда, начальство па полях, и Кирьян за гида. Увидел конферансье ульи в палисаднике, спросил его:

— И в колхозе пасека есть?

— Пасека-т есть, да с сахаром плохо — мрут.

— Сахар? Зачем пчелам сахар?

— А чем кормить?.. Они ж не химики. Пчела — дитя природы, а природа наша — видели? Пойма чуть не до июля в воде. Предлагал я в малинник вывезти — «Ах, как бы чаво не вышло...»

Узнал председатель об этом из частушки на концерте, взбеленился:

— Ты што, как генерал, наводишь критику?

А Кирьяну — что?

— Подымай выше,— говорит.— Я и генералу, доведись до дела, спуску не дам.

Собрал Першуков правление, предложил принять Кирьяна в колхоз и назначить к нему вторым заместителем. По устранению всяческих недостатков и недоработок.

— А согласится? — тихо протянул агроном, разгадав председательский ход конем.

ЗЕМЛЯ РОДНАЯ НЕ ОБМАНЕТ

Увидел агроном у Кирьяна полное лукошко отборных боровиков, ахнул: «В незнакомом бору, а...» — и напросился в попутчики.

Тенью крутился рядом. Но у Кирьяна опять лукошко с верхом отменных груздей, у него — доньшко чуть прикрыто сыроежками. Потом он один прошелся по тем же самым кирьяновым местам — вовсе ничего...

Большой любитель маринованных грибков, решился агроном поговорить с Кирьяном о лесных секретах. Подсел к нему на крыльце конторы, достал плитку шоколада.

— Угощайся,— предложил.— И я заодно подслащу горечь правды.

— По ложбинам да осинникам, припомни-ка, когда мы ходили? — хитровато прищурился Кирьян, хрупнув шоколадом.

Подумал, подсчитал агроном, назвал число.

— Числа — это люди придумали, а природа по своим живет законам.— И, прожевав шоколад, напомнил: — В ведро ходили. В те поры парило, самое время груздю с красноголовиком быть. Всякий гриб свои места, свое время знает. Захолодало ночью — рыжика ищи. Он полянки в соснячках, у дорог обожат. В лесу, в поле — не на бумажки указующие равняться надо, а на землю-матушку да погоду-природу. Лес здешний хоть и не знаком мне, да земля-то наша, родная, не омманет.

Ничего на это не ответил агроном. Дожеввал шоколад и ушел. Обидел его намек.

«Слаба, видать, шоколадка-то, перед горечью правды»,— заключил Кирьян.

ЧЕГО НЕТ — ТОГО НЕТ

Всерьез или нет говорил председатель о заместительстве Кирьяна — неизвестно, только кукурузой и пчелами дело не кончилось. Началась уборка — приехала еще одна агитбригада, из райцентра. И она Кирьяна не минула.

— Во концерт дают! — улыбнулся сатирик-куплетист, когда проходили мимо птичника.

— Еще бы,— не преминул вставить слово Кирьян.— Тыща петушков.

— Кур? — переспросил куплетист.

— Одни петушки нам достались... Инкубаторские,— со вздохом подтвердил Кирьян и оживился: — Да без курочек оно и спокойней: ни тебе драк, ни хлопот с витаминными подкормками. Что зерно, что мякина — петушкам все едино, яйца не нести.

— Я почему спросил о курах? Нельзя ли у вас на ужин яиц купить?

Кирьян огорченно прицокнул языком.

— А вот чего нет — того нет. Для плана они сами в соседнем совхозе покупают!

...После концерта председатель позвонил в управление сельского хозяйства:

— Вы мне навязали одних петушков, кормим их, дармоедов, а ваша же агитбригада — на смех меня... Коль так, не буду я их держать до годового отчета, ликвидирую...

ДВОЙНОЙ ТЯГОЙ...

Был в районе такой деятель — на всякую трибуну избирался первым. Обязательства брал — выше всех соседей. Слыл мастером по разным инициативам и кампаниям. Обстоятельно, солидно расскажет о них с трибуны, в печати, по радио и — завалит, не выполнит...

Наконец все раскусили его, но дружки не дали понизить ниже директора совхоза. А Митрич при начальстве из области возьми и брякни:

— Не дай бог, год нынче выдастся урожайным.

— А в чем дело?.. Хлеб некуда ссыпать?

— Да ведь у нас как? — с деланным простодушием объяснил Митрич.— Урожайный год — директор молодец, герой. Опять вверх может пойти. А подведет погода, хоть в лепешку разбейся — никудышный. Авось, уберут и от нас.

...«Повезло» совхозу: засушливым оказался год, неурожайным.

И так, уверяет Митрич, природа и его критика снизу — двойной тягой — стянули-таки болтуна с директорского кресла.

Теперь, сказали, сидит где-то в конторе, бумажки с места на место перекладывает.

— Выходит, зряплата, хоть и помене, а идет,— вздохнул Митрич.— И двойной тяги, получается, мало. Еще бы кого подключить, а?..



ЖУРНАЛИСТСКАЯ ВИЛКА

Внук деда Осипа Василий, отслужив в артиллерии, к удивлению всех, пошел не по «техническому делу», а в редакцию районной газеты. Находилась она вместе с типографией на бойком месте — у речной пристани, и дед не раз в окно видел, как печатался там их «Кожевниковский колхозник». И уточнил тоном знатока:

— При той, что шлепает газеты, машине?

— Не. Пишу, дед.

Помолчал Осип, глянул недоверчиво. Пропустил через кулак редкую седую бородку.

— В писатели, што ли, метишь?

— Ну почему в писатели? — смутился Василий и скромно пояснил: — Поработаю годика три-четыре, может, напишу что-нибудь стоящее — примут в Союз журналистов.

— Так, так...

Вздыхнул огорченно Осип. Мужичкий житейский опыт ему подсказывал: не пошли впрок годы службы в артиллерии. «Хоть и военная, а техника! Сгодится», — с гордостью разъяснял он, бывало, не только своей бабке. Теперь понял: внук начинает жизнь с каких-то новых, неизвестных ему самому азов.

«Бумажки переписывают... Рази это мужичко дело?.. И ишшо три-четыре года в учениках ходить!»

...Уезжали мы с Василием вместе, на попутном катере, и, ожидая теплохода, я зашел в редакцию. Предложив мне полистать подшивку, он «сел на телефон»: у газетчиков ни простоя, ни безделья не бывает.

— Сельхозтехника?.. А, здравствуйте, Иван Иванович!.. Спасибо, осваиваюсь. А как у вас дела с профессиональным ростом молодежи? Нормально?.. О, даже отлично? Молодцы. Но меня другое интересует: уровень мастерства бывших пэтэушников. Есть такие, кто имеет третий разряд, а может работать и по четвертому, пятому?.. Даже много?

Минутку. Запишу фамилии. Так. А что же, Иван Иванович, вы только что, извините, мозги мне пудрили? Люди доросли до пятого разряда, а вы их держите на третьем?!. Разве это нормально?

Положив трубку, Василий пояснил:

— Вот так всяких болтунов, очковтирателей и приходится брать «в вилку». И третьим вопросом, как третьим снарядом...

Выходит, все же сгодилась артиллерийская наука!

КОЕ-ЧТО О ЛЮБВИ

Заскучав в долгий зимний вечер, зашел дед Осип к Митричу по старой, сохранившейся, наверное, лишь в маленьких глухих деревушках традиции — просто так, побеседовать. Митрич отложил газету, снял очки, пригласил соседа, как водится, в передний угол.

— Что нового пишут в газете? — спросил Осип, раздеваясь.

— Да вот... оказывается, каждая третья семья у нас распадается.

— Разводятся?.. Выходит, разум да ученье не для всех к добру,— заключил Осип.

А Митрич, напомнив, что Иринский Бор за вековую историю не знал ни одного развода, возразил:

— Не-е! Не от разума это. И учатся, выходит, не тому. Я так мыслю: амбиции у молодых ныне у каждого на рупь, амуниции же порой и на грош нету.

Они помолчали.

— Находил я в тайге два скелета сцепившихся рогами лосей,— продолжил Митрич.— Насмерть схватились, защищая каждый свою любовь. Кто из людей способен на такое, тот не рассорится из-за того, что щи пересолила. Или, скажем, из-за тряпок. А лебеди?.. Убьют одного из пары — другой поднимается в небо, под облака — и камнем вниз. Чтoб насмерть. Вот это любовь! И верность. Слышал я, поют,



приплясывая, о чибисе, а не ведают: чибис погибнет от голода, но не сойдет с гнезда, если, случается, подморозит. Или вот... о мужской верности. Самки куличка-плавунчика прилетают к нам на считанные дни: снесут яйца — и обратно в теплые края. Самцы-удальцы одни выводят потомство!.. Так что поучиться бы нынешним умным-разумным у братьев своих меньших...

— Я рази спорю? — вздохнул Осип.

НЕ ЗНАЛА ПРИРОДА...

В тот год весна выдалась ранней и маловодной, сухой. Увидел директор недавно созданного здесь совхоза подсохшее иринское болото, удивился: до сих пор никто не додумался превратить его в луг? Или хотя бы в пастбище?.. Вскорости из-за Оби, с центральной усадьбы, привезли на барже бульдозер, кусторез с фрезами. Произнес директор краткую, но зажигательную речь о покорении природы, молодые механизаторы тоже за словом в карман не полезли: мы-де, если надо, из этого болота футбольное поле сделаем!

— Свести ее, кочку, ноне, что прыщик с лица, не хитро,— встрял в разговор дед Осип.— Однако все на земле — от солнца. И дожди, и снега, и тепло, к примеру. А попробуй-ка достань его, покори!.. Серые мы и понять-то до конца ее, матушку-природу, не то что покорять. Радуемся — бессловесная, все терпит, а она молчит-молчит да как оглоблей по головам!

Говоривший о футбольном поле лишь поморщился: чего, мол, возьмешь с него, дремучего?.. А директор возразил:

— Пустыни, дед, тоже создала природа, а человек и в песках уже сады разводит.

— В пустынях тоже человек повинен,— спокойно возразил дед Осип.— А болота — наши великие и добрые работнички: реки водой круглый год питают, птице и прочей живности приют и прокорм дают. А пообсушим их этак вот,

с кондачка, пообмелим реки — не только всякую живность изведем, засуху сами приведем на дом. Не себе, так детям.

Но для молодых и несколько лет — о, еще когда-то! Чудит дед.

— Ну, дает! Засуха в Сибири...

А Осипу припоминаются рассказы о рыбных озерах, тянувшихся здесь по краю болот, а теперь заросших, затянутых тиной, и на многовековых корнях прошлого мысленный взор его окидывает вековой же ствол дерева будущего. Он молчит, насупясь. А молодежь азартно «добывает» его:

— Да если мы уже и сейчас способны поворачивать реки...

— Да мы...

Улучив паузу, Осип с грустью произносит:

— Буен, дерзок лес весенний. Прет листва — не оборвешь ее в мильёны рук. А придет осень — одна и враз обдерет начисто. Потому как время. С ним не поспоришь. — И, покачав белой головой, тихо закончил: — Солнце и время. Кто покорит их?

Остались стороны каждая при своем мнении. Лишь один попытался примирить:

— Время еще есть. Спросим...

Но Природа не ждет и не спрашивает никого. На другой год зима выдалась особенно снежной, и на болоте, лишенном кочек, в жидкой грязи неуютно стало даже лягушкам. Откуда знать ей, Природе, что это болото у людей числится уже лугом?

ВЫЗОВ

Давно уж отвык дед Осип удивляться новой технике, но громадину-агрегат витаминной муки, делающий «консерв из травы», весь обшарил, осмотрел лично. Потрогал, размял в пальцах зеленые витаминные гранулы, покачал головой: и до чего только не додумаются люди?..



Отойдя в сторону, к болотинке, чтобы не мешать никому, присел на сломанную тракторную тележку. Закурил. Увидел в болотинке кочку с побуревшей прошлогодней ягодой клюквы и аж подскочил молодо:

— А все едино, мудрей человека природа!.. Вот она, клюквинка-крохотулька, и дожди-то ее мочат, и солнце печет, и под снег уйдет, промерзнет насквозь, а весной лишь слаще станет! Всем консервам консерв, и ни машин, ни сушилки ей, ни тары, ни складов не надо. Попробуй-ка, человек, потягайся с ней! Ответь на вызов.

И он удовлетворенно мотнул головой: есть еще над чем пораскинуть людям мозгами, поучиться у нее, матушки-природы. И как бы продолжая давний спор, заключил вслух:

— Учиться понимать ее надо, а не «покорять». Так-то вот...

КОРНИ

Однажды на песчаном кургане за Иринским Бором буря свалила сосну в три обхвата, оголившую под собой... древесные угли. Прознал про то ученый археолог, приехал со студентами. Осторожно снимали они землю, фотографируя каждый слой. Открытая всем ветрам, сосна сотни лет росла с кривизной, однобокая, как флюгер, но многометровые цепкие корни ее в поисках воды и пищи прошивали серо-бурые пласты земли вдоль и поперек.

Что ни пласт — жизнь давно отшумевшая: черепки, зола, наконечники стрел... Не на метры — в глубь тысячелетий уходили корни человеческие.

Археологи утверждают: жили здесь и монгольские, и тюркские, и другие племена. Древние пути-дороги народов неисповедимы. В ноябре 1984 года на Всесоюзной творческой конференции писателей в Тюмени я встретился с хантыйским писателем Айпином и венгром Шандором Ласло Венчиком. Какая неподдельная радость светилась в их

глазах, когда они находили — одно за другим общие слова, корпи!

Верю, пробьет час — человечество откроет, утердит в сознании единые корни жизни на всей планете, и древу с такими корнями будут не страшны земные бури. А космос выведет его в другие миры не разрушителем, а созидателем.

У разума одни» общие корни.

II. УЛЫБКИ ПРИРОДЫ

БОР... У МОРЯ

Дивен Иринский Бор в половодье. От крылец до тайги и дальше, до Киреевского синегорья, катятся, набегая друг на друга, желтые с белыми барашками волны.

— Обь-матушка пришла к Ире в гости, большую рыбку привела в нагул,— говорит дед Осип. Но нет уже ни Иры, ни озер, ни Тагана — сплошное море. Кусты и за Ирой, и на болоте по пояс стоят в воде. И березки на опушке засмотрелись в чистые заводи, размышляют: а не пора ли приодеться, и как?

Вода повыжила из чащоб низинных, потаенных, зайцев, и они, еще белые, таятся по песчаным холмам, рыжим от сухой травы и насквозь открытым.

Птичий грай и гам; веселые песни, радостные хлопоты по устройству гнезд, забавные драки. Первые подснежники в легкой прозелени полян, первые завязи в лесу неодедом. Березовый сок... И едва примолкнут птицы на закате солнца, уляжется ветер — поразит тишина первозданная. Слышно, как бьется сердце.

Неповторима и осень в боровом разнолесье: и дарами своими, и красками. Особенно щедры на них самые поздние щеголихи — осины. И болото, потеряв фиолетовый наряд кипрея, вновь как море — волнами переливается осока на высоких кочках. Не поддается она осени, упорно зеленеет

до настоящего морозца. А и дохнет на росы сиверко, сосны с кедрами не потеряют своей красы и в снежных горностаевых шубах. Болота же вновь — как белое, на миг застывшее от восхищения море...

И невольно вспоминаешь, перефразируя, слова Владимира Маяковского: я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли — Россия...

Родины. Большой и малой. Родного языка.

Земли предков.

Земли детей и внуков. Потомков.

НОЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ

В Иринском Бору все рядом: с одной стороны — лес, с другой — Ира с цепочкой согр и ягодников в заречье, с третьей — луга и озера, с четвертой — болото, за которым синее тайга, и откуда бы ни разветрилось — пахнет лесом. С весны до поздней осени молодежь спит на чердаках, повестях. И только мигнут первые звезды — раскинется туман-занавес и начинается концерт.

«Кря-кря!» — сзывает свое беспокойное потомство крякуха.

«Фюис-с, фюис-с!» — проносятся припоздавшие утки.

«Крекс, крекс... — надолго заводит свою скрипучую шарманку коростель.— Деррь...»

Но все это — солисты; хористки — разноголосые и немолчные — лягушки. «Ква-ва-аа...» — звучит то выше тоном, то ниже. «Буль-буль», — резвится начавший метать икру карась на плесах Иры. Всплеск: потревожили они щуку, вздремнувшую на отмели.

«Жж-жж-жж...» — это подголоски-комары, от которых спасает только марлевый полог.

Первые же лучи солнца зайчиками проскальзывают в щели крыши. И как бы ты ни заслушивался концертом ночью, под воробьиное «чив-чив!» просыпаешься с улыбкой...

ТАЕЖНЫЙ ЯНУС

Ира когда-то называлась просто ир — река; Ташлаир, соседний приток Тагана,— каменная река. Вытекая из-под нависших ив, из перехлестов мохнатых пихт и елей, сквозь которые солнце продирается к воде лишь реденькими серыми бликами, Ташлаир казался чужим, разбойничьим; высекал в притихшем воображении черных скакунов и лучников Чингисхана. Ни зелени в нем, мрачном, ледяном, ни пугливых стаяк рыбной молодежи. Только щуки, пошевеливая плавниками, зорко присматривают друг за другом: чей черед сгинуть в пасти старшего собрата? Берега в космах мхов — ни камня, ни песчинки, ни просвета голой земли. А выше по течению — просторные луга, многоцветное разнотравье с белыми березками и светлые малинники под охраной добрых веселых кедров. Да и сама она, эта речонка, насквозь, до дна открытая: смотрите, люди, чем богата, тем и рада. Но такова сила впечатления от черной хмари низовья, что так и ужились в сознании оба ее образа, словно две разные речки.

РЫБЫ И СЕТИ

Крупная щука нередко рвет старую сеть с ходу. И прежде чем скрыться в глубинах, чуть притормозит. Человек в подобных обстоятельствах мог бы, обернувшись, спросить небрежно: «Там что-то было?» Линь просто выскальзывает из ячеи, оставляя на ней темный ободок слизи: поминайте, мол, как меня звали. Ерш, пытаясь выбраться, запутывается так, что его и не видно сквозь дель: «Не взрадуетесь, что поймали. Еще поисколете о меня руки!» Стерлядь, заплывающая в малые реки из Оби лишь в половодье, наоборот, деликатно стоит у сети, даже если легонько зацепится одним плавником: «Ах, в чем дело?.. Извольте, я подожду».

Люди издревле утверждали: «Нем, как рыба». А подводный мир оказался вовсе не немым, это мы для него —



глухие, и для многих он, непостижимо многоликий, сложный, исчерпан лишь одним словом — рыба...

ЖЕРТВА МОДЫ

Богаты ягодой берега Иры и Тагана. Как запунцовеет на опушках и полянах земляника, так и пойдут: клубника, смородина красная и черная, черника, малина, ежевика, а там и брусника с клюквой. Всех и не перечесать. У всякой свой срок и своя статья. Одна калина до снегов белых пунцовела по опушкам, не брали ее люди, не зная применения. Лишь Петровна любила ее, пареную, и собирала прямо за околицей. А другие — и стар, и млад — при случае повторяли веселую байку:

— Хвалилась калина: «Я с медом хороша!» А мед ей: «А я, калина, и без тебя хорош».

Вернулась из города сестра рыжебородого Митрича — лет тридцать служила в людях, — поведала: головой мучиться стала, так присоветовали ей «сами дохтура» калину...

— Вот-те и калина! — заохали бабы. — От головы пользует!.. Ну, Петровна, ну, травница-мудрица, неспроста к ней никака болесть не льнет.

А при какой хвори не мучают человека боли головные?

Так модная болезнь гипертония сделала и горчайшую, самую непопулярную ягоду калину — модной. Погасли алые костры...

Прилетели дрозды, скосили на голые ветки погрузневшие глаза: что вдруг случилось с их щедрой столовой?

ГЛАЗА ЛЕСНОЙ ПОЛЯНКИ

Идут по дорогам лесной дачи грибники — десятый, сотый... Многие, возвращаясь, рвут с обочин цветы. Одни для букетов, чтоб наставить их в банках с водой от прихостей до кухни, другие «просто так»: сорвут, полюбуются миг — и бросят.

А вот мать и дочь приостановились у развилки. В травяном разноцветье здесь еще недавно радовали взор щедрые россыпи ромашек. Теперь полянка обесцветилась, померкла. Потянулась женщина к двум последним — у кромки леса.

— Мама, не рви! — заставил ее вздрогнуть отчаянный вскрик. — Она ослепнет!

— Кто ослепнет? — недоуменно и сердито повернулась женщина.

— Полянка. Это глаза ее...

И впрямь: словно два желтых глаза в обрамлении белых ресниц умоляли: «Сохраните нас, люди!» И лесная полянка осталась зрячей...

ИНСТИНКТ И ОПЫТ

Кормились на озере три селезня: крупный — кряквовый, поменьше — гоголь и совсем маленький — чирок. Вдруг в прибрежном камыше мелькнул человек. Солидный, знающий себе цену крякаш тотчас поднялся на крыло; чернобелый красавец гоголь поразмышлял чуть — и нырнул. Лишь невзрачный маленький чирок, скосив глаз, не спеша стал отплывать подальше. «Ведь не пальнешь, заряда на меня пожалеешь, — как бы говорила вся его повадка. — А и вскинешь ружье — нырну!»

Только улыбнулся человек: не с ружьем был он — с кинокамерой.

«ВОЗМУТИТЕЛЬ» СПОКОЙСТВИЯ

Ира одна из немногих речек в нашей стране, где живет зверек с красивым и прочным переливающимся мехом — выхухоль.

Теперь здесь заказник.

Случается, глухой ночью под испуганное кряканье заплещутся, забьют о воду крылья. Это внутри дремлющей на



воде утиной стаи вынырнул выхухоль. А он, бедняга, и сам испугался не меньше птиц. Нырнул вновь, и — «Бух! Бух!» — просыпаясь, удирают с отмели щуки.

Всех разогнал, наскоро закусил подвернувшейся кста-ти улиткой и — прямо из-под воды — в нору, домой.

Страшно!

УРОК ЭТИКИ

Принесли ребяташки из леса журавля с перебитым крылом. А чтоб ему веселей было коротать дни лечения, посадили в летний птичник. Куры не тревожили и, казалось, не замечали Журку, и он освоился быстро. Только старый петух изредка делал мелкие пакости: то кукарекнет над спящим Журкой так, что тот вздрогнет, то из-под самого носа стащит рыбки потроха — его лакомое блюдо. И вот однажды, чуть приблизился к нему петух, Журка спокойно, с достоинством, но увесисто долбнул его клювом, поднял голову и, скосив умный глаз, посмотрел на заметавшегося в страхе задиру. Не гневно, а как-то равнодушно-скупающе: «Да, я ранен, потому и здесь, у вашего корыта, — говорил его спокойный, гордый взгляд, — но все равно я не какая-то курица со шпорами, а — журавль!»

Именно так и понял Журку петух и стал держаться от него на почтительном отдалении.

ЕЖИНЫЙ «ЯЗЫК»

Хоть и дикарь сибирский еж, а привыкает к человеку и осваивается в неволе быстро. Поначалу днем и не появлялся на виду, а чуть что — сворачивался в клубок. Но вскоре осмелел: захотел есть — цап за ногу и еще сам же шипит сердито. А однажды воротил, воротил мордочку от закисшего молока — решил, что не поняли его, подумали: не ест — значит, сыт. Подождал он еще немного, а потом зашипел и прошелся всеми четырьмя лапами через блюдце.

Чихал, мол, я на такую еду!..

МОЛВА

На многие километры по лугам и болотам разливаются Таган с Ирой в половодье. Только редкие кусты да сосны на холмах зеленеют среди волн. Раздолье рыбе!.. Но, спадая, вода в одночасье отрезает от рек низины, где остается немало зазевавшихся гуляк, особенно молодежи. А когда лывы пообсохнут — со всех сторон потянутся к ним дикие утки и вороны полакомиться рыбьей молодью.

Однажды в притопленной низинке, па луговой дороге, где и воды-то по щиколотку, скопилось сорок семь щучонок-сеголеток, да еще с десятков налимят. Те и другие — главные речные разбойники, но налиим — житель больших рек — хищничает где-то в глубинах и слывет рыбой добропорядочной, редкой; налимят ребятишки бережно перенесли в Таган. Плывите-де в свою Обь, растите. Щука — гроза озер и малых рек, живет «на глазах», и молва о ней худая; всех шурят единодушно приговорили к сковороде.

Не так ли она, молва, порой обходится и с людьми?

III. СКАЗКИ БАБУШКИ ЭД

ЛЕГЕНДЫ И ЖИЗНЬ

На склоне лет подкочевала к Иринскому Бору хантыйка бабушка Эд да так и осталась в нем. С ранней весны до поздней осени она по привычке жила в чуме и лишь на зиму перебиралась в мазанку-полуземлянку, сооруженную на «помочи» всем миром.

...Бабушка Эд неторопливо набивает табаком трубку; помешав в очаге палочкой угли, достает огонь. Раскуривает. Коричневые морщинистые щеки западают, и по табаку расползается золотистая коронка; лицо скрыли живые, причудливые, как образы волшебных сказок, клубки дыма. Наконец, и припоздавшие расселись, приутихли, сосредоточились. Слышно, как шкуры чума мягко трогает пороша.

— Гром гремит — чуга чельвель, туча ревет. Звезда — кос, коскол — глаз медведя...

По звездам «мудреные старики» предсказывали, что ждать охотнику завтра: мороз, оттепель или буран, ибо медведь — хозяин тайги, он все видит, все знает. Множество обычаев, примет, легенд, песен связано с ним. Ведь он — богатырь, наказанный злыми силами. Но и превращенный в медведя, сохраняет ум, совесть и знание языка «лесных людей». Вот почему и поныне идет порой охотник с пальмой на медведя и негромко, ласково говорит ему: «Не сердись... Ты хотел есть — наш урман кормил тебя. А теперь и нам поесть надо».

И без того тяжкий труд и быт малых народов Среднего Приобья отягощался набегами тюркских племен с юга, междоусобицами. И жизнь врывалась в сказки, фантазия причудливо переплеталась с былями. Излюбленный герой легенд — богатырь. Но в преданиях непобедимыми оставались лишь те из них, которые стояли за дело правое, справедливое.

— Услышала красавица Анга, дочь рыбака — крадутся чужеземные лазутчики к чуму. От мужчин-трусов услышала. И тогда даже она, девушка, почувствовала, как налились руки силой богатырской. Выскочила она навстречу ворогам, вырвала сосну с корнем и побила их...

Это от нее, Анги, говорит предание, повелся у хантов обычай: первым на весеннем празднестве невесту выбирает тот, кто сильнее, смелее и дальше всех топор бросит.

Рожденные жизнью, легенды возвращались, получая вторую, третью жизнь. В этих краях работали лесорубы Василий Мытниченко и Владимир Янышевский. В шестидесятых годах я написал о них брошюру.

— Далеко забросил сегодня свой топор? — осведомлялись они друг у друга.

Как-то спросил у первого встречного, как найти тракториста Василия Мытниченко.

— Василия Петровича? А почему тракториста? Он теперь председатель райисполкома.

— А Янышевский?

— Владимир Павлович? Герой Социалистического Труда!

Далеко, оказывается, летят топоры современных лесных богатырей!

Разными словами, но признались они оба: им помогают в этом и преданья старины глубокой, и извечная мораль и мудрость людей труда. Человек, как дерево, могуч корнями, уходящими в родную землю...

СТАРИК И ЧУЖЕЗЕМЦЫ

Жил-был старый селькуп Осмолка. Жена у него умерла, остался он с двумя дочерями. Рыбачил, юколу сушил, рыбий жир вытапливал. Трудолюбивый, много всего к зиме заготовил. Так думал: «Дочерей пора замуж выдавать — гостей угощать пицци много надо».

А по реке плыл Тунгама, Кучумов лазутчик. Узнал он об Осмолке, завернул к нему с Кривоглазым каким-то.

— Принимай, хозяин, гостей-женихов! — рявкнул у входа, а вместо даров — боевой топор в руках.— Оленьей губы и нельмы хочу!

А Кривоглазый уже убил единственного оленя у Осмолки, отрезал губы, кинул ему:

— Вари!

Жалко Осмолке оленя, чуть не плачет, да что поделаешь? Стар стал, слаб. А от дочерей какая помощь? Сами в страхе забились в угол землянки-карамо. Развел он очаг, поставил котелок, нельму достал вяленую.

— О, что это? — кивнул Тунгама на котел в углу.

— Язевый и нельмовый жир.

— Разогрей! Исполнил Осмолка и это.

— А теперь — убирайся! Пусть дочки мешают в очаге угли, следят за олениной.— И Тунгама дал знак Кривоглазому: убить старика.

Не понял знака, но подумал об этом Осмолка. Поклонился насильнику и сказал дочерям сердито:



— Помойте руки только. Да живо!

Выскочили те. Осмолка за ними и, захлопнув дверь, припер ее рыболовными кольями. Потом бересту, хранившуюся под крышей для растопки, поджег и через дымоход в котел с кипящим жиром бросил. Вспыхнул жир, а Осмолка шестом через дымоход же опрокинул котел. Огонь разлился по всей землянке. С ревом колотят рога в дверь — не поддается.

Так и сгорели заживо.

КАРАЖАГ

Держал одно время хан Кучум своих ясырей на Васюгане: ясак собирали, за людьми следили, страх наводили. На лицах, заплывших от жира, ни глаз, ни носа не видно стало — один рот. Помучились ханты, помучились — где таких прокормишь? — разбежались. На Кеть, на Тым ушли. Голодно стало чужеземцам. И вот старший их, Каражаг, пошел проверять — не остался ли кто?.. Видит, один чум стоит. Зашел. У очага старая женщина сидит.

— Накорми! — приказал.

Муж и сын ее в дальнем урмане охотились — осталась, их ждала.

Сварила женщина глухаря, на стол поставила.

Съел он его, пробурчал недовольно:

— Все?!

— Сейчас рыбы принесу, — сказала торопливо.

Каражаг растянулся на мягкой медвежьей шкуре.

Наварила хозяйка рыбы, не успела поставить — Каражаг уже у котла. А она сонной травы в котел подкинула. Наелся Каражаг и захрапел тут же. Тогда женщина натянула меховые ичиги носками назад и тоже убежала. Проснулся Каражаг — никого нет. Очаг остыл. Вышел из чума, смотрит — след один на свежавыпавшем снегу, только в чум. Видать, из него змей Дябдар унес старуху.

А неподалеку эвенки остановились, с Енисея подкочевали. Убил Каражаг у них оленя. Увидели те, подбежали.



— Почто без спросу убил? Кто такой?!..

Каражаг брызнул слюной от злости: никто еще так не смел говорить с ним. Вскинул руки к небу:

— Абахы, абахы! Это я, бессмертный Каражаг, зову вас...

Эвенки подумали, что он колдун, раз злых духов зовет на помощь, испугались, попятились. Пусть уж ест оленя...

А один с детства глухим был — не знал ничего про духов и так подумал: кричит чужеземец на соплеменников — еще ясак требует. Подскочил к Каражагу и охотничьим топориком раскроил ему череп. И умер «бессмертный» Каражаг, а васюганские ханты с тех пор перестали платить ясак хану Кучуму. И даже кормить ясырей. Сбежали те...

НЕЛЮДЬ

Есть на Тyme белая тайга, а в ней большое, на много верст озеро. Веселые, дружные жили тут люди: поймают рыбы — вместе варят, поют песни, пляшут. По соседству с ними вырыл землянку нелюдимый богатырь. Даже со своим родом не мог ужиться и только жену любил. А та соскучилась по песням, слову живому. Услышала шум, говорит:

— Посмотреть бы, что там?

Нахмурился Нелюдимый, поджал зло губы. Но согласился. «Вдруг напасть собираются?»

— Глянь,— сказал.

Ушла жена и все нет и нет. «Убили!» — подумал.

А Веселые ели хмельной гриб пун и от радости кричали: у одной женщины сразу три сына родилось. Обрадовались они и жене соседа — хотели ей в подарок свежей рыбы дать, пригласили смотреть ловушки. Нелюдимый же взял стрелы железные и подкрался к озеру. Смотрит: на двух лодках плывут, поют. «Убили и — рады», — думает зло. Поднял лук; засвистели стрелы. Вместо песен — стон, плач. Одну лодку прибило ветром к берегу. Смотрит Нелюдимый: жена с его стрелой в груди, мертвая...

Одно слово — нелюдь.



ЗАКОННАЯ САБЛЯ

Давно то было. До верховьев Югана добирались тогда лучники Кучумки — ясак требовали, людей уводили. Все брали. А чуть противился кто — старшой поднимал кривую саблю, так говорил:

— Вот мое право, мой закон! — и рубил недовольному голову.

Бывало, чуть пройдет лед — уже плывут. Грабят, бьют.

Стали юганцы за Каменный пояс собираться, прослышали: там есть Закон, где все сказано, кому и какой ясак платить. Взяли по одной шкурке всякого зверя, какие водятся в тайге, и поехали. Добрались до города. Людей в нем, что белок в урмане. К кому идти, куда? Где, у кого Закон?.. Стали на взгорье, заиграли в зверя и охотника. Одни как бы стреляют из луков, другие зверей изображают. Подивились горожане на игрище, привели толмача. Тот спрашивает:

— Кто такие? Зачем пришли? Объяснили юганцы, подарки отдали.

Приняли горожане гостей, отрядили с ними казаков. Пришли те с ружьями, саблями. Обрадовались юганцы. На берегах Югана повесили черных кобелей, знак такой: заживите — и с вами то же будет.

Будто ветром сдуло разбойников Кучумки. Забыли и дорогу на Юган.

А юганцы поняли: та сабля, что за мирных, добрых людей стоит, — хорошая сабля. Законная.

БОГ ОГНЯ

Старый Ыдат всю жизнь приносил богам жертвы, а удачи — не было. Впроголодь жил. Совсем уж отчаялся, помирать собрался. «Последний раз схожу в урман и все», — подумал. А той зимой соболя много подкочевало. Славно добыл дорогих мехов Ыдат. Поспешил домой с добычей и о богах впервые совсем забыл.

Жена не ждала Ыдата, на рыбалку ушла. Темно в чуме, холодно. Достал Ыдат кремьень и трут — огонь высечь. Бился, бился — не получается. Стал он бога огня просить, на колени встал. Зажегся трут от первой искры... Развел Ыдат огонь, согрелся, чай вскипятил, И вдруг слышит:

— У-у-уу!

Будто на чуме кто-то. «Черт!» — испугался Ыдат.

— Ха-ха-ха! — скрипучий хохот донесся сверху.

«Смеется... Бог огня!» — догадался Ыдат. Бог помог, а он, Ыдат, — забыл. С чертом спутал. Вот он и сердится.

Взял Ыдат подпорченную шкурку соболя, бросил ее в огонь, шепчет:

— Прими. Пасибо. Лучши сополь — тепе!

А бог не унимается. Голос трубный, злой:

— У-у-ууфф!

Вспомнил Ыдат, что не принес богам нынче жертвы и перед охотой. И бога огня хотел обмануть, плохого соболишку назвал лучшим.

— На ишо, на! — дрожащими руками бросает Ыдат одну шкурку за другой.— Старая голова, худая. Запыл! На...

С треском, искрясь, горят соболи меха. В страхе жметсЯ Ыдат, вздрагивая от каждого нового звука.

— Хо-хо-хо! Уу-фф!

Скрипнул за чумом снег. Вошла жена. Бросила к ногам Ыдата убитого филина, сказала:

— На чуме сидел.

«Ай-я-яй! — схватился за голову Ыдат. И как он забыл о филине? — Не узнал... Старый дурак! Думал, бог огня сердится, всех сополишек сжек...»

КАК ПОЯВИЛИСЬ ЛИСЫ-ОГНЕВКИ

Когда-то все лисицы черно-бурыми были. И ели мясо — мышей больше. А одна лиса увидела, как сам хозяин тайги — медведь — ел рыбу, и ей захотелось попробовать.

Но где достанешь? Ходила лиса, ходила по берегу — нет рыбы. Ночь наступила, совсем уж было отчаялась лиса и вдруг видит на столбах лабаз с юколой, с вяленой рыбой. «Ага,— решила она,— спать рыба вылазит на берег. Тут я ее и есть стану».

Взобралась, ест, повизгивает от удовольствия. Оголодала за день.

А за бугром, в чумах, женщины были. Заслышали они лису и окружили лабаз: кто с веслом, кто с палкой. А лиса кинулась в одну сторону, в другую — проскочила. И чуть не попала в зубы собакам. Ладно, дерево рядом было — вскочила. Женщины — к дереву. Однако лука, стрел нет — чем добудешь? Надумали поджечь дерево, наказать воровку. Пускай, мол, сгорит. Очумела лиса от дыма, крутится на сучьях, скулит. А потом метнулась сквозь огонь и опалилась, порыжела. Спаслась, но с тех пор огневкой стала. И рыбу ест только свежую.

Сама ловить научилась...

МЕЧТА БОГАТЫРЯ

Меж Енисеем и Обью места высокие. Так вот там, у гор, стоял чум Большого богатыря. У него и сын богатырем был.

В поздний час обдумывали они: как людям помочь — две реки соединить. Слышат, Гром камнями гремит. Огонь попусту высекает. Посылает богатырь сына:

— Скажи, чтоб перестал, а то думать мешает, зверя-рыбу пугает.

Сын вышел, сказал Грому: «Не реви!» Погом крикнул: «Перестань!» Качнулись, побледнели тучи, а Гром не утихает. Вернулся Молодой богатырь, говорит отцу:

— Не слушается меня. Скажи сам.

Отец снова послал его, наказал:

— Возьми лук, выбей из рук Грома камни.

Натянул Молодой богатырь лук, выстрелил. С треском расколось небо. Выронил Гром из рук свой набольший

камень. Упал он. И хоть была там гора, сразу образовалось глубокое длинное озеро. С одного конца его вода потекла через Кеть в Обь, а с другого — через Малый Кас в Енисей.

А Гром не унимался. Тогда вышел Большой богатырь. Натянул лук, да так и застыл. Это Номи-Торум испугался богатыря и превратил его в камень. И сейчас он стоит. У озера косогор высотой в пятивековой кедр есть, а на нем — каменный человек в земле по пояс. На левой руке — лук, а правую держит так, будто вот-вот стрелу пустит.

Долго так считали: напрасно он затеял с Громом тягаться. Но вспомнили его люди словом добрым: озеро-то соединило Енисей с Обью, и в годы войны с иноземцами по нему проходили караваны с хлебом, рыбой для воинов. Придет час — хороший канал будет.

Кто знает, может, близко и то время, когда скажут Грому: «Не греми», — и послушается Гром человека...

Богатыри зря не мечтали!

ИНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

По-прежнему то ласково, то сурово шумит сосновый бор у Иры, только дивятся люди новые, пришлые: подлесок у сосен... кедровый. Их, эти кедры, породили мальчишечьи дырявые карманы, вечно набитые орехами из кедрачей таежных, с берегов Тагана.

Не так ли и в жизни порой незаметные ростки нового вдруг придают ей совсем иное, подчас неожиданное качество?

Маленький Иринский бор заменял ребятне тайгу и джунгли, моря и дальние страны. Разбитной, но умный цыган Стефан, не однажды проходивший здесь с табором и после войны, изо всей книжной премудрости любил повторять одну фразу: «Счастлив ребенок: и в люльке просторно ему. Но дай срок сделаться мужем — и тесен покажется мир».



Многие годы Иринский Бор считался неперспективным, обреченным на естественную кончину — исчезновение. Но со временем нашлось-таки у него «второе дыхание». Очень уж питательны, целебны травы в междуречье и в лесу: лучших выпасов для совхозного молодняка и не придумаешь!

Вернулся бывший ириноборец пастух Виль со своими помощниками. А за пастухами со стадом потянулись и пасечники, грибовары, ягодники.

Ожила заречная глубинка, снова стала активно трудиться, работать на Продовольственную программу.

— Все по уму...— одобрил Виль.

Иное время, иные люди, иным стал их оком, иные открылись перед ними горизонты. Но то, что впервые увиделось, вошло в сознание, в душу здесь, до конца дней останется в сердце.

С чего начинается Родина?.. Это вечный вопрос, на который каждый человек отвечает сам, заново и по-своему, ибо родная земля неповторима и незаменима. Может высохнуть речка детства, сгинуть выращенное тобой дерево, исчезнуть и след родного жилья, но и тогда полноводная река языка родного сохранит и цвет, и звук, и запах, и смысл всего, с чего начиналась для тебя на земле — Родина. Та единственная, которую не выбирают, она сама выбирает каждого из нас, ее детей и граждан, и, придет час, спросит: «А чем, какими делами ты оплатил мой выбор — свою жизнь?»

Спросит и от имени высохшей речки детства...

Е. ОСОКИН
**ЛЕГЕНДЫ
ПОЛУНОЧНОГО
КРАЯ**



Художник Ольга Гинзбург



В сборник вошли легенды и сказки малых народов Севера, общая численность которых — несколько десятков тысяч человек. В бассейне Оби живут, в основном, ханты, манси, селькупы и кеты; места же расселения ненцев и эвенков занимают огромную территорию — от Кольского полуострова до Сахалина.

Народы Севера издавна жили в тесном общении, экономическом и культурном, и этим объясняется то, что в их устном творчестве встречаются близкие поэтические мотивы, сходные сказочные образы. Старики еще помнят много легенд и сказок. Чаще всего, к сожалению, можно услышать схематические пересказы содержания этих преданий. Некоторые из них ожили в книжке писателя Евгения Осокина: им возвращены утраченные социальные детали, поэтические украшения. Они публикуются впервые и привлекают к себе раздумьем о смысле жизни, о дружбе народов, о любви и счастье, о лучшей доле — о том, чем жил талантливый, но подневольный человек, раскрепощенный с приходом в тайгу новой жизни.

Настоящая книжка является продолжением работы по сбору и обработке устного народного творчества малых народов Севера, начатой в последние годы в Сибири изданием «Сказок старого Тыма» В. Пухначева, «Легенд голубых озер» Н. Бабушкина, В. Величко и др. и «Сказок Севера» Г. Кунгурова.

«Легенды полуночного края» с удовольствием прочтут школьники средних и старших классов, а также и взрослые.

Я. КОШЕЛЕВ,
доктор филологических наук



ЗАКОННАЯ САБЛЯ



ил где-то в южных степях хан Кучум. Потомок самого Чингисхана, сказывали, был. Воины его до Васюгана добирались — ясак требовали, людей уводили. Все брали. А чуть противился кто — старшой татарин поднимал кривую саблю, так говорил:

— Вот мое право! — и рубил недовольному голову.

Чуть, бывало, пройдет лед — татары уже плывут, на конях едут. Ищут охотников, грабят, бьют. Стали юганцы* собираться в Тобольск, помощь просить. Слышали: там есть Закон, где все сказано: как жить, кому какой ясак платить. А у хана ничего нет: увидел — отобрал. Думали, рядили: что взять в подарок? Так сделали: добыли по одной шкур-

* Жители бассейна р. Васюган.



ке каждого зверя, какой водится в тайге. Поехали. Добрались до Тобольска. Незнакомо все — к кому пойдешь, куда? В городе людей, что белок в урмане.

Стали на взгорье, принялись играть в зверя и охотника. Один — охотник, стреляет; другой зверя изображает, пока стрела в него летит, отскакивает. Увидели горожане гостей, столпились у стен. Подивились на игрище, убедились, что не воины пришли, а искусные охотники, и спрашивают:

— Кто такие?.. Откуда?.. Почему в город не входите?

Объяснили юганцы, и горожане повели их к начальнику, у которого Закон.

Пришли. Имена начальнику называют.

— А фамилии? По Закону записать вас надо.

Оробели юганцы. Боязно так вот просто и в Закон попасть. Однако что делать? Нет у них фамилий. Зачем они? Зверь в тайге есть. Рыбы в реке много. Юрта есть, собака. Все есть, зачем фамилии? Старший стоит, чешет затылок, думает, а один шумит, спорит. Так говорит:

— Дайте Закон туда, на Васюган.

Им и говорят: все равно без фамилии никак нельзя.

— Вот ты шумишь много — Шумилов будешь.

Следующего спросили:

— Чем занимаешься?

— Бугдэ, — ответил.

Пикой, значит, охотился. Его Бугдеевым назвали.

Так всем дали фамилии. И в Законе метку сделали.

А потом посадили за стол, налили всем по рюмке водки. Выпили юганцы водку, а рюмки в карманы спрятали.

Дал знак начальник, принесли горожане новые рюмки.. Налили по второй. Выпили, рюмки на стол поставили.

— Почему не взяли?

— Зачем?

— Зачем первые взяли?



— Нашим показать. Тогда поверят, что в Закон попали. Улыбаются горожане.

Стали юганцы отдавать подарки. А на шкурах — ни одной дырочки от дрови.

Рассматривают тобольцы шкурки, спрашивают:

— Стреляли?

— Стреляли.

— Где дрови, где стрелы след?..

Дивятся горожане. Не ведают, что о ружьях юганцы только слухом слышали. Зверьки-то ловушками добыты!

Дал им начальник казаков, семейных; пришли они на Васюган с ружьями, саблями, а коней вскоре — целый табун — отбили у татар.

Обрадовались юганцы. На тропах, по которым ханские воины приходили, на деревьях повесили черных кобелей, что означало: пойдете на нас — и с вами то же будет. Точно ветром татар сдуло. Забыли дорогу на Васюган.

Поняли юганцы: та сабля, что за добрых людей стоит, — хорошая сабля. Законная.



МЕЧТА БОГАТЫРЯ



еж Енисеем и Обью места высокие. Так вот там, у гор, стоял чум Большого богатыря. У него и сын богатырем был.

В поздний час обдумывали они: как людям помочь — две реки соединить. Слышат, Гром камнями гремит. Огонь попусту высекает. Посылает Большой богатырь сына:

— Скажи, чтоб перестал, а то думать мешает, зверя-рыбу пугает.

Сын вышел, сказал Грому: «Не реви!» Потом крикнул: «Перестань!» Качнулись, побледнели тучи, а Гром не утихает. Вернулся Молодой богатырь, говорит отцу:

— Не слушается меня. Скажи сам. Отец снова послал его, наказал:

— Возьми лук, выбей из рук Грома камни. Натянул Молодой богатырь лук, выстрелил. С треском раскололось

небо. Выронил Гром из рук свой набольший камень. Упал он. И хоть была там гора, сразу образовалось глубокое длинное озеро. С одного конца его вода потекла через Кеть в Обь, а с другого — через Малый Кас в Енисей.

А Гром не унимался. Тогда вышел Большой богатырь. Натянул лук да так и застыл. Это Номи-Торум* испугался богатыря и превратил его в камень. И сейчас он стоит. У озера косогор высотой в пятивековой кедр есть, а на нем — каменный человек в земле по пояс. На левой руке — лук, а правую держит так, будто вот-вот стрелу пустит.

Долго так считали: напрасно он затеял с Громом тягаться. Но вспомнили его люди словом добрым: озеро-то соединило Енисей с Обью, и в годы войны с иноземцами по нему проходили караваны с хлебом, рыбой для воинов. Придет час — хороший канал будет.

Кто знает, может, близко и то время, когда скажут Грому «Не греми», и послушается Гром человека...

Богатыри зря не мечтали!

* Номи-Торум — по мифологии селькупов — главное божество.



АНГА



сть на Тьме у Желтого яра безымянный остров. Когда-то жила на нем красавица Анга. Взял с нее отец, умирая, клятву. Обещала Анга выйти замуж за того, кто с Желтого яра забросит топор на остров. Много богатырей добивалось ее руки. Казалось — далеко ли? А вот поди ты — уж кто ни пытался! — падают топоры богатырские в воду.

И стояла на берегу Анга одна, как ночной огонек маянющий...

Однажды пришел на берега Тьма простой юноша — охотник. О состязании с богатырями он не смел и думать. Где уж ему — слабому, не рослому. Но вот увидел он Ангу раз, другой — и полюбил ее. И как ни робок был, а настал час — так решил: или забросит топор на остров, или погибнет на глазах у Анги. Разбежался и так метнул топор, что

вслед за ним и сам полетел с яра в мутные волны. Не видел он, как топор врезался в берег.

Юноша не умел плавать, и поток сразу закрутил его. Бросилась Анга на помощь, но и она плавать не умела...

Их похоронили рядом, на яру, и повелся у хантов Тыма обычай: первым невесту выбирает тот, кто дальше топор бросит.



МЕСЯЦ И ДЕВУШКА



оворят, будто нарисовано что на Месяце. А кто на Месяце нарисует, кто его достанет? Вот как дело было.

Жили на Кети брат и сестра. Рыбаками были. Он снасти ставит, а она рыбу на талине вялит. Однажды вечером пришел к юрте лось — видно, голодный медведь выгнал его из тайги. Устал лось, дышит тяжело. Совсем

близко подошел — не боится. Сестра и говорит брату:

— Убей, поедим мяса.

— Нехорошо, лося в эту пору не бьют. Небесный Лось уже вышел. Увидит — беда будет, — говорит брат.

— Скажи лучше — боишься промахнуться! — засмеялась над ним сестра.

Подумал брат, подумал — послушался. Убил. И сказал:

— Сходи по воду, варить мясо будем.

Взяла сестра берестяные ведра на коромысло и пошла. Весело ей, соскучилась она по мясной пище. Смеясь, запрокидывает вверх голову, говорит:

— Месяц, слышишь, Месяц, я-то буду сейчас мясо есть, а ты нет!

Злоязычная была.

А Месяц тогда совсем молодой, бедовый был. Вдруг опустил он руки и схватил девушку. Она за талину уцепилась, а та с корнем вырвалась. Так Месяц и поднял их. Хоть и далеко унес, а в ясную ночь на нем видно и девушку, и коромысло с ведрами, и талину.

И как выйдет Месяц, девушка смотрит с него на Землю, ищет глазами родную Кеть...



КАК ПОЯВИЛИСЬ ЛИСЫ-ОГНЕВКИ



огда-то все лисицы черно-бурыми были. И ели мясо — мышей больше. А одна лиса увидела, как сам хозяин тайги — медведь — ел рыбу, и ей захотелось попробовать. Но где рыбу достанешь? Ходила лиса, ходила по берегу — нет рыбы. Ночь наступила, совсем уже было отчаялась лиса и вдруг видит на столбах лабаз с юклой, с вяленой рыбой. «Ага, — решила она, — спать рыба вылезит на берег. Тут я ее и есть стану».

Взобралась, ест. Повизгивает от удовольствия. Оголодала за день.

А за бугром, в чумах, женщины были. Заслышали они лису и окружили лабаз: кто с веслом, кто с палкой. А лиса кинулась в одну сторону, в другую — проскочила. И чуть не попала в зубы собакам. Ладно дерево рядом было — вско-

чила на него. Женщины — к дереву. Однако лука, стрел нет — чем добудешь? Надумали поджечь дерево, наказать воровку. Пускай, мол, сгорит. Очумела лиса от дыма, крутится на сучьях, скулит. А потом метнулась сквозь огонь и опалилась, порыжела. Спаслась, но с тех пор огневкой стала. И рыбу ест только свежую.



СОЗВЕЗДИЕ ЛОСЯ*



давние времена народы Севера родами жили. Эвенки — по Кети, селькупы и манси — в низовьях Оби, а по Тыму, Васюгану, Чае — ханты жили. Эвенки кочевали по тайге, питались сырым мясом, живой рыбой. Селькупы строили берестяные чумы, жарили лосятину на вертелах. Ханты жили в небольших карамо**, а мясо варили. Все худо жили и не дружно. Войнишки часто были.

«Чего, однако, ссориться? — думали и тогда люди.— Тайга — не обойдешь, тундра — на оленях не объедешь. Рек — не упомнишь. Рыбы, зверя, птицы — не переловишь».

* Так народы Севера называли созвездие Большой Медведицы.

** Карамо — землянка.

Однажды сошлись в одном урмане три богатыря — эвенк, селькуп и хант. Встретились и увидели лося. Начали вместе гнать — каждый свое искусство, силу выказать хочет. Ходко гонят. А снег глубокий, устал лось.

Оглянулся эвенк: он ближе всех к лосю, значит, всех сильнее. Зачем ему делиться мясом с хантом и селькупом?..

А у ханта был лук со стрелой. Он так подумал: «Пока эвенк не достал лося своей рогатиной, я пущу стрелу и убью зверя»...

Понял селькуп: ничем не взять ему лося. И решил: pošлет хант свою стрелу, эвенк всадит рогатину, а он убьет обоих, и лось достанется ему одному.

Видит Номи-Торум: худым охотникам послал он лося, и задумал перенести всех на небо, камнями холодными сделать.

Селькуп успел только нож вынуть, тут всех и превратил Номи-Торум в созвездие Лося. Четыре больших звезды — четыре ноги зверя. Задняя правая нога чуть приблизилась к передней. Первая звезда в хвосте — эвенк, он вот-вот настигнет лося, чтобы сразить его рогатиной. Вторая звезда рядом — это хант. Близ него есть маленькая звездочка — то котелок. Третья же звезда в хвосте — селькуп.

Каждый видит, никто не жалеет: зачем зло замышлять, худое думать друг о друге.

Вот почему теперь народы Севера говорят: «Лось каждому свою дорогу дает, и места под звездами всем хватит».



ЖАДНЫЙ САРГАЧ



В оховской курье* есть дикий остров. В праздник пошел народ гулять в село Кетское, а Саргач замешкался и, чтоб настичь своих, напрямик отправился, через остров. Парень ничего, храбрый был. Перебрел он курью, взобрался на остров, видит — дверь в земле. Что за дверь? Он раньше тут ходил и другие хаживали — никакой двери не было.

Открыл Саргач дверь, вошел. Пусто. Сени, вроде. Золотое седло на стене висит, а дальше — вторая дверь. Саргач и в нее вошел. Смотрит — красивая женщина за книгой с золотыми застежками. Не молода, однако нарядна. Кольца разные на пальцах. На столе ларец полный золота. А сама грустная.

* Курья — залив реки или озера.

Захлопнула женщина книгу и спрашивает:

— Кто разрешил войти ко мне?

— Увидел дверь — зашел. Кто запретит?

— Вижу, смелый парень. Молодец,— похвалила она.

— Бери, что хочешь... Сколько унесешь, — добавила, а сама по-доброму глядит на него: думает, останется...

Насыпал Саргач золота и в карманы, и за голенища бродней. Еле ноги поднял. Посмотрела женщина на него, посмотрела и говорит:

— Только золотое седло оставь. Ему цены нет.

Простились они. Саргач в сени шагнул, а седло вдруг засияло, заиграло разноцветными огнями.

Жалко стало Саргачу оставлять его. «Ему цены нет»,— вспомнились слова женщины. Загорелись глаза у парня. Взвалил он седло себе на спину, хотел выскочить поскорее, а дверь на улицу исчезла. Туда-сюда, нет двери! Он и седло на место повесил, а выхода все равно не видно. Глазами искал, руками шарил, ногами стучать пробовал — нет двери, да и только. Пришлось вернуться к хозяйке. А та сердито спрашивает:

— Зачем седло брал? Высыпай золото! Хоть монетка останется — не выйдешь!

Выгреб Саргач все золото, выбрался, сам не помнит как. И золота жалко, и страх взял. Вылез, обернулся, а двери уже нет, исчезла. Он за народом бросился. Рассказал.

Пошли люди на тот остров. Нет двери. Никакой приметы нет. Копать принялись. А Саргач вьюном вьется:

— Бери, говорит, золота сколько хочешь, а сама глядит на меня, глядит...

Роют. Земля и земля. Песок, глина. Осерчали люди. Бить Саргача стали. Одни говорят:

— Не ври!

Другие бьют и приговаривают:

— Не жадничай, не жадничай! И без седла б хватило.

Третьи укоряют:

— Эх, ты! Уж кому-чему цены нет, так это доброй душе женской.



ЛЕГЕНДА О СЧАСТЬЕ



давние-давние времена жила мудрая Мать. Много было у нее сыновей. И всех она решила послать на поиски Счастья. А напутствуя их, взяла горсть раскаленной золы и кинула в небосвод. Зола рассыпалась — по небу пролегла звездная дорога. Сказала Мать: «Пускай всем, кто ищет Счастье, и ночами светло будет». И наказала: вспоминайте в трудный час о предках, а в радостный — о потомках.

Остался дома один сын — младший. Высокий, стройный, не по годам сильный. Минули годы. Не вернулись сыновья. И сказала тогда мудрая Мать последнему сыну, Ивану:

— Иди! Нельзя людям без Счастья.

— Далеко ли оно? — спросил Иван, собираясь оставить родной дом.

— Говорят, три тысячи триста и еще тридцать три версты, если прямо идти да своим путем. А чужой тропой — еще дальше...

— Мать, а если на оленях?

— На чужих ногах не приедешь к Счастью, не приедешь, — ответила Мать. — Чужими глазами не увидишь!

— Ладно, пешком так пешком.

«Но куда, в какую сторону идти?..» Зажмурился Иван, покрутился. Взглянул — северная сторона. Отправился Иван на север. Напрямик.

Парень он был не робкого десятка. И смысленый. Дивились люди:

— А как по снегу пойдешь, по озерам, по болотам?

— Сделаю лыжи... Обласок выдолблю...

— Нельзя человеку без дорог, — упорствовали люди.

— А Счастье людское на дороге не валяется, — отвечал Иван.

— И верно, — соглашались люди и снабжали его пищей, провожали советом добрым.

* * *

Долго ли так шел Иван, коротко ли, а только встретил он старшего брата своего, Хита. Еле узнал его: пожелтел он, морщины изрезали лицо. Обнимает Иван брата, а тому и белый свет не мил.

— Не беда ль стряслась? — допытывается Иван. — Аль нездоров?

— Врут люди! — выкрикнул Хит, шевельнув длинным носом. — Нет на земле Счастья! И не было!

Рассказал он, что объехал весь свет, побывал и в жарких землях и в холодных, за морями и за океанами.



— А может, Счастье где-то рядом, и к нему пешком надо идти, своими ногами, брать его голыми руками, — осторожно, чтоб не обидеть брата, начал Иван.

— Хватит! — вскочил Хит, сверкнув глазами. — Слышал!

Не уступал брату Иван, и до того дошло дело, что начали они драться.

— К предкам отправлю! Там ищи Счастье! — процедил сквозь зубы Хит, схватив брата костлявыми руками за горло.

Кто знает, чем кончилась бы эта ссора, но появился вдруг перед ними седой старец.

— Тебе чего, хрыч? — набросился на него Хит, отпуская Ивана.

— Кто ты, дедушка? Здравствуй, — поспешил Иван смягчить вопрос брата.

— Предок я, — ответил старик. — Вспомнили вы меня, вот я и явился.

— Ищем Счастье людское мы, — пояснил Иван.

— Дело доброе... Хочу помочь вам. Два великих дара есть у меня: выбирайте, какой кому по душе: Слово доброе и Сабля самосечная.

— Саблю мне! — схватил Хит появившийся в руках Предка сверкающий клинок.

«Что толку в Слове? — подумал он. — Им не добудешь пищи, не защитишь себя ни от зверя, ни от врага». Ивану осталось Слово доброе.

— Как взять мне его, дедушка? — простодушно спросил он.

— Ты уже владеешь им, — ответил Предок и с тем растворился будто.



Ладно, идут. Иван собирает по пути грибы, орех, ягоду. Хит завидел издали оленя, кинул Саблю:

— Лети! Убей!

Отрезал Хит губы, язык, кусок мяса пожирнее, а тушу бросил.

— Насушить бы мяса, — предложил Иван, разжигая костер, — не съесть нам оленя за много дней и ночей.

— На мой век оленей хватит, — ответил Хит. — У меня Сабля! — И он развалился у костра.

Тепло, сытно. И вспомнилось Ивану слово матери о потомках.

Потомок как тут и был — из дыма явился.

Хит на всякий случай тихонько вынул Саблю. Иван встал.

— Обо мне вспомнили, это хорошо, — сказал. — Пошли вы на дело нужное. Подумайте: за Счастье можно поплатиться жизнью. Другим добудете, а сами умрете.

Не успел Хит рта раскрыть, шмыгнуть своим длинным носом, а Иван сказал:

— Что нас ждет, не знаем, а без Счастья нет нам жизни и пути назад нету.

— Ну, добро. Хочется и мне помочь вам...

— Дай ружье самострельное! — пряча Саблю, выкрикнул Хит.

Покачал головой Потомок: чего уж нет, того нет.

— Есть для вас у меня Три жизни и Язык всего живого...

— Мне Три жизни! — крикнул, вскакивая с места, Хит. — Хочу жить триста лет! Как орел!



— Пусть моим будет второй дар, — сказал Иван. Протянули братья руки за дарами, а Потомок уже исчез.

— Обманул! — крикнул Хит. Нервный стал.

— Обожди, брат, — остановил его Иван. — Разве жизнь человека зажмешь в руке, разве то, что не сказано, услышишь?..

Идет Иван, слышит и понимает язык всего живого.

— Чел-ловек идет! Чел-ловек идет! — оповещает птиц сплетница-Сорока.

— Двое! Двое! Двое! — поправляет ее затаившийся под осиной серый Заяц.

— Ха-ха! Кар-р! — радуется над лесом черный Ворон. — На пути их топь, хмарь... У живых выклюю глаза. Ха-ха! Кар-р!

Хит успокоился, думает: «Ладно. Две жизни у меня в запасе... Пусть даже Иван найдет Счастье, все равно оно мне достанется».

А Иван слушает шум векового леса, клекот старых орлов, вызнает дорогу.

Чем дальше идут братья, тем холоднее становится. Шумит тайга. Стонет. Редет. Впереди, насколько хватает глаз, простирается болото; кое-где на нем растут хилые кривые березки да кедровый стланик.

Измотался Хит, заснул. Иван привалился к торчащим вверх корням Кедр. Но Кедр был еще жив, и вот что рассказал он Ивану:

— Тысячи лет идет кедровое племя на север, наступая на Ледяное царство Хана-султана, укравшего у людей Счастье. Когда-то мы тоже людьми были. Но хотели найти Счастье в одиночку. Разбрелись по всей Земле, перестали



понимать друг друга, враждовать начали... И Номи-Торум превратил первых людей в деревья. Не забывайте нас. Думайте о будущем.

— Не забудем, Кедр, — заверил его Иван, — мы помним о Предках, мы заботимся о Потомках.

И вмиг перед Иваном появились Предок и Потомок.

— Не добыть вам Счастья без Силы людской, — сказал Предок. — Она Злым ханом в цепи окована. И сторожит ее железная птица Кингир.

— Где найти Злого хана? Как отнять у него Силу людскую? Скажите.

— Прямо иди, и нигде не сворачивай... — ответил Потомок.

— И ты встретишь Злого хана. Обязательно, — продолжил Предок. — А вот как у него Силу отнять людскую — не знаю.

— Сам думай! На то голова дана, — закончил Потомок.

Разбудил Иван брата, но тот наотрез отказался идти дальше. «Что ж, вольному воля». Простился Иван с братом, отправился один.

* * *

Брел Хит, брел назад. Буран поднялся, замел след. Сбился Хит с пути — идет куда глаза глядят. На трясины ли, на родник набрел — провалился, вымок весь. Застывать стал. Кинулся костер разводить, а трут отсырел, не горит. К ночи буран улегся — мороз трескотню завел. Дрожит Хит и от озноба и от страха, думает: конец пришел. И вдруг видит лося. Замер, шепчет:

— У-убей!



Сверкнул клинок, прыгнул лось, да разве уйдешь от Сабли самосечной?.. Напился Хит крови горячей, согрелся немного, потянуло его ко сну. И надумал он вынуть внутренности лося, залезть в него. Так и сделал. Тепло в лосиной туше, покойно. Уснул Хит. Разбудили его сны кошмарные, будто душил кто. И верно: ни ногой двинуть, ни рукой пошевелить. Смерзлась туша, накрепко пристыла к одежде, обуви. Хотел Хит сказать Сабле: «Разруби!» Да вовремя понял: ведь вместе с тушей и его располосует Сабля. Думал-думал Хит, и незаметно сон снова одолел его. И не проснуться бы на этот раз Хиту, будь у него одна жизнь. Но Хит проснулся и... почувствовал, что летит по воздуху, услышал шум могучих крыльев. Это железная птица Кингир несла Хита вместе с лосем. Воздух проник в дыры лосиной туши, сделанные страшными когтями. Мучит Хита страх: а вдруг Кингир бросит его на скалы у гнезда? Кончится и вторая жизнь. И Сабля не поможет. Разорвет его Кингир своими железными когтями...

* * *

А между тем стража Злого хана схватила Ивана. Ни один человек не мог пройти дальше без бумаги с печатью ханской. Ведут Ивана мимо загонов с оленями, мимо каменоломен, где толпы таких, как он, вбивают в землю силу свою. Выроют, раскрошат молотами камни, снова зароят. Стража кругом, а во дворце у хана челяди полно. Видит Иван: не возьмешь силой — хитростью надо. Улыбнулся Злому хану, восседавшему в золоченом кресле, поклонился. Так сказал, глядя в хмурое, с черной бородой, лицо его:





— Странник я, иду взглянуть на святое сияние Ледяное, помолиться...

Метнулся вправо-влево холодный взгляд Злого хана, остановился на главном Лакее. И хоть ни словом, ни жестом не поманил он его, тот приблизился, склонился перед ханом: «Услышит великий Хан-султан, что странник шел на сияние его молиться, а ты, о мудрейший, убил его..»

Злой хан кивнул долговязому Лакею, так сказал:

— Дарую тебе жизнь! Но ты топтал землю мою, дышал моим воздухом. Отработаешь долг сполна — получишь свободу, не отработаешь — не взыщи!

Понял Иван: быть ему до конца жизни рабом. Только подумал он так, а ответ хану уже на языке вертится:

— О, мудрейший! Есть дар у меня бесценный, я знаю Язык всего живого. Позволь за землю твою, за воздух открыть тайну.

— И много земли тебе надо? — ухмыльнулся коварный хан, уже решив, что узнает он Язык живого и прикажет убить Ивана: пусть никому больше не выдаст тайны.

Попросил Иван земли со шкуру лося, только с условием: возьмет ее там, где захочет. И чтобы свидетели были — из стражи, от пастухов, от рабов.

Рассмеялся Злой хан, услышав просьбу пришельца. Думает: «Где ни возьмет земли — чума и то не поставит. Моей земли коснется — мне налог платить станет». Широким жестом руки описал полукруг, сказал страже, челяди, всем:

— Пусть возьмет, где хочет. Скрепите договор печатью! — Хан встал, был он коротконогий и толстый.



Составили договор. Пришлепнули печать. Хан, радуясь выгодной сделке, пировать пошел. А Иван достал шкуру лося, разрезал ее на узкие шнуры, связал их и получилась веревка версты две длиной. Принялся обмерять землю. Пошел от реки — захватил и дворец, и дома с пастухами и рабами ханскими, и загоны с оленями. Потом опять повернул к реке.

— Так? — спросил Иван понятых.

— Так. Все верно. По договору.

— Тогда скажите страже, пастухам, рабам — пусть разделят все поровну — и оленей, и деньги, и землю, — а живут во дворце.

Разбежались понятые, сказали как велено. Обрадовались люди, принялись делить богатства и землю.

А Иван вспомнил о брате, пожалел, что нет его рядом. И решил он сначала узнать, где Хит. Вышел к лесу, спросил у кедровки, что бывает всюду, «о человеке, который один с Саблей пошел на юг».

И поднялась по лесам и болотам переключка! Вскоре узнал Иван, что железная птица Кингир принесла на свою сторожевую гору лося, а внутри его — человека. Это, мол, и есть тот, который один повернул на юг.

Побежал Иван на гору сторожевую, подоблачную. До середины не добрался, выбился из сил. Привалился к скале, видит: разрывает Кингир железными когтями тушу лося, а вместе с ней и Хита. А рядом — турсуки* с людской Силой к скале цепями прикованы.

— Убей Кингира! — крикнул что было силы Иван, и Сабля, молнией сверкнув на солнце, напрочь отрубила го-

* Турсуки — кожаные мешки.



лову железного хищника. А как отлетела голова у Кингира, так цепи на турсуках распались сами.

Привстал Хит, соображает: «Где я?» Одно помнит ясно — последняя жизнь у него осталась.

* * *

Рассказал Иван все, что знал, Хиту, привел его во дворец, а сам пошел за турсуками с Силой людской.

Смотрит Хит: рабы охраняют Злого хана, судить его хотят. — Какой суд? Я — суд. У меня Сабля!.. Убей! — махнул Хит на хана, на стражу его, на рабов.

Перебила Сабля всех.

«Буду продавать и Силу людскую, и Счастье, — радуется Хит. — За собольи шкурки и оленей, за деньги и огненную воду. Не будет человека богаче!»

И объявил:

— Я — хан! У меня Сабля!..

Пошел Хит по дворцу, а там — стол накрыт по-хански: вина редкие, яства всякие. И сразу голод дал себя — знать — даже голова закружилась от слабости. Считай, две жизни ничего не ел. Стал насыщаться Хит, пить... Разморило его — так и уснул он за столом.

Тишина мертвая установилась во дворце.

Челядь ханская осмелела, повывлазила. Кто шел, сгибаясь в три погибели, кто на коленях полз на поклон к новому владыке. Спит новый хан без стражи, и Сабля висит рядом. «Какой это хан!..» — изумился главный Лакей, что полз впереди всех и целовал каждый след Хита. Стянул Саблю, шепнул:



— Руби его!

И Сабля отрубила голову Хиту.

Тут он снова схватил Саблю, обернулся к челяди:

— Назад, скоты! Я — хан! Разыскать Ивана! Живым ли, мертвым!

А Иван уже взял турсуки с людской Силой. Заметил он погоню, взмахнул одним турсуком — как ветром сдуло челядь. Увидел это главный Лакей из окна, бросил вдогонку Ивану Саблю самосечную:

— Убей! — приказал ей.

Иван подставил турсук с людской Силой. Стукнула по нему Сабля и разлетелась на куски.

Иван попросил рабов и пастухов показать ему дорогу к дворцу Ледяному.

— Прямо в горы иди, — ответили люди. — Хан-султан сиднем сидит на турсуках, где Счастье людское спрятано. Поят-кормят его черные Вороны, а охраняют — Вода мертвая, Огонь испепеляющий и Ураган, все сметающий...

Выслушал Иван, что надо, запомнил и пошел своей дорогой. Не зря говорится: пуганого пугать — зря время терять.

* * *

Искрится, радугами переливается снег, слепит глаза. Кажется, всего довольно — и тепла, и света. Ан нет! Зло хватает морозец за нос, уши, щеки. Воздуха недостает легким, и ноги заплетаются.



— Можно ли себе взять немного людской Силы? — спрашивает Иван у деревьев.

— Смотря для чего, — степенно проговорили древние кедр.

— Да, да, зачем? — бойко подхватили робкие осинки.

— Хочу добыть людям Счастье.

— Можно, — ответили мудрые кедр.

— Да, да! — весело подтвердили осинки.

— Сколько хочешь! — пояснили угрюмые пихты. Развязал Иван один турсук, взял немного Силы — и как не было усталости! Бежит на лыжах, поет в такт широким шагам своим, и горы кажутся ему холмиками, а холмы — равниной...

И длинная река имеет исток, и длинная дорога кончается. Добрался Иван до гор заоблачных. Жестокий Хан-султан вышел навстречу Ивану. Огромный и лысый. «Какой-то сопливый мальчишка идет на меня, великого Хана-султана!»

— Эй, ты! Хочешь ханский титул? Говори!..

— Я пришел за Счастьем. Верни его людям!..

— Щенок! — брезгливо скривился Хан султан. — Ураган!!! — крикнул он. И откуда ни возьмись, на ровном месте вихревым столбом взметнулся ввысь смерч, разлетелся, подхватил камни, льдины, ринулся на Ивана. Но тот поднял перед собой турсук с людской Силой, и вихрь разделился на две струи, не шевельнул даже волос на голове Ивана.

— Вода!!! — взревел Хан-султан. Мгновенно клокочущий поток ударил из горы и, круша все на пути, понесся вниз. Но Иван опустил турсук к ногам, и разъяренный по-



ПРИМЕЧАНИЯ

«Законная сабля» — хантыйское предание. Записано со слов Андрона Ивановича Шумилова, в 1956 году, в с. Ново-Шумилово, Тегульдетского района.

«Мечта богатыря» — селькупская легенда. Записана Г. И. Пелих со слов Ивана Яковлевича Ермолина, в 1951 году, в д. Максимкин Яр.

«Анга» — хантыйская легенда. Записана со слов Василия Петровича Мытниченко, в 1963 году, в пос. Неготка, Каргасокского района.

«Созвездие Лося» — хантыйская легенда, «Жадный Саргач» — хантыйская сказка, «Месяц и девушка» — кетская легенда, «Как появились лисы-огневики» — эвенкийская сказка. Записаны со слов Василия Филимоновича Сербина, в 1951 году, в д. Юрты Тайные на Кети.

«Легенда о счастье». Написана по мотивам устного творчества малых народов Севера, на основе этнографических материалов, собранных фольклорными экспедициями Томского пединститута.



СОДЕРЖАНИЕ

Н. Александров. Крутой писатель из деревни Крутой 5

П о в е с т и

Тайна Зыбуна	9
Падение Номура	101
Две дорожки Луки Апулькина	207
Алексаха	301

Р а с с к а з ы

Иринский бор	341
I. Годы и люди.....	343
II. Улыбки природы.....	375
III. Сказки бабушки Эд.....	381
Иные горизонты.....	389

Л е г е н д ы п о л у н о ч н о г о к р а я

Законная сабля.....	393
Мечта богатыря.....	396
Анга.....	398
Месяц и девушка	400
Как появились лисы-огневки.....	402
Созвездие Лося.....	404
Жадный Саргач	406
Легенда о счастье.....	408
Примечания	422

Евгений Васильевич Осокин

ТАЙНА ЗЫБУНА

Редактор *Александров Н.*
Корректор *Ярков В.*
Обложка *Васильева Е.*
Верстка *Вялкова О.*

Подписано в печать 13.01.2021 г. Формат 60x84/16.

Издательский Дом «Историческое наследие Сибири»
тел. 8 (383) 221-96-28, моб. 8-913-917-29-28
630091, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 19, оф. 11
e-mail: id-ins@ngs.ru, www.sibnasledie.ru

Отпечатано в типографии «Деал»
630033, г. Новосибирск, ул. Брюллова, 6а.
Тел./факс: (383) 334-02-70, e-mail: zakaz@dealprint.ru